



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК

ВОЛГА

№ 2 2021

Литературно-художественный журнал

16+



Кристиан Хорнеман.
Портрет Людвиг ван Бетховена.
1803 г.



Йозеф Карл Штилер.
Портрет Бетховена. 1820 г.
Коллекция Вальтера Хинрихсена, Нью-Йорк



XXI ВЕК

ВОЛГА

№ 2 2021

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А. Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А. А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В. И. Вардугин – член Союза писателей России (Саратов)
Е. А. Грачёв – член Союза писателей России (Саратов)
Д. Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
В. В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
О. И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В. А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М. А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы (Саратов)
В. Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
Е. Н. Манова – директор музея Н.Г. Чернышевского (Саратов)
А. Н. Тимофеев – член правления Союза писателей России,
председатель Совета молодых литераторов Союза
писателей России (Москва)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД	
Евгений ЭРАСТОВ. Небесный дневник	3
ОТРАЖЕНИЯ	
Наталья ЛЕВАНИНА. Сашка	11
ПОЭТОГРАД	
Иван ПЕЧАВИН. Отчий дом	37
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Заметки разных лет	42
СТАТЬИ	
Елена ЕЛИНА. «Стишаги» Ирины Озёрной	51
ПОЭТОГРАД	
Ирина ОЗЁРНАЯ. Стишаги	54
ОТРАЖЕНИЯ	
Николай КРУПИН. Шнурки	60
ПОЭТОГРАД	
Геннадий ЁМКИН. Из детства	66
СВОЙ ЖАНР	
Александр ГОРНОСТАЕВ. Камни родины	70
ПОЭТОГРАД	
Борис ШИГИН. ...И в счастье забудется грусть	75
ОТРАЖЕНИЯ	
Данила КАТКОВ. Чувство Ласки	78
СТАТЬИ	
Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН. Архетипы Николая Карасика	84
ПОЭТОГРАД	
Николай КАРАСИК. Осенние мысли	89
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Анатолий КРИЩЕНКО. Пророчество денщика	91
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Валерий АРШАНСКИЙ. Беловик и черновик	97
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Александр ДЕМЧЕНКО. Эпоха Бетховена	144
РЕЦЕНЗИИ	
Елизавета МАРТЫНОВА. «Выбор есть всегда...»	160
НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ	
Нина КОРОВКИНА. Очерки частной истории	163
ВОЛЖСКИЙ АРХИВ	
Светлана ДУРНОВА. «Май одел тополя в серебро...»	179
Виктор ПОДРЕЗОВ. Волжский утёс	184



**Евгений
ЭРАСТОВ**

НЕБЕСНЫЙ ДНЕВНИК

Хорошо быть свободным поэтом!
По тропинкам блуждать луговым.
Нескончаемым солнечным летом
На охоту ходить за сюжетом,
За доверчивым словом живым.

Это самая лучшая доля!
Ах, как ухают в роще сычи!
Хорошо ли искать ветра в поле
Или спонсора в русской ночи?

Я хожу по лугам и болотам,
Где камыш до звезды достаёт.
В нашем слове есть тайное что-то –
Восприимчивость к высшим частотам,
Византийский загадочный код.

Я хожу, ощущая с годами
Свой особый, причудливый путь.
...Если песенный дар тебе дали,
Остальное ты должен вернуть!

Разнотравья непризнанный гений,
Захудалый сорняк чистотел
Государственной тайны растений
Мне никак выдавать не хотел.

-
- Евгений Ростиславович Эрастов родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А.М. Горького. Доктор медицинских наук. Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, а также более двухсот публикаций в периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауреат премий Нижнего Новгорода (2008), Нижегородской области им. А.М. Горького (2014), имени Ольги Бешенковской (Германия, 2014), литературной премии имени Марины Цветаевой (Татарстан, Елабуга, 2014), победитель нескольких международных поэтических конкурсов, в том числе конкурсов православной поэзии «Рождественская звезда» (Мордовская митрополия Русской Православной Церкви, 2011), «Цветаевская осень» (Украина, Одесса, 2011), имени Сильвы Капутикян (Армения, Ереван, 2013), «Лёт лебединый» имени Петра Вегина (США, Лос-Анджелес, 2014), «Я не мыслю себя без России» имени Игоря Григорьева (Санкт-Петербург, 2014). Член Союза писателей России.

Он на солнце глядел, как на идол,
Прославляя свою колею,
Но однажды не выдержал, выдал
Тонкоствольную тайну свою.

И, держа словари наготове,
Погружаясь в родной перегной,
С чистотелом мы братья по крови –
Мы повязаны тайной одной.

Повезло мне: тюремных обид
Я не знал и гулял без конвоя.
Синий плат над моей головою
На квадратики не был разбит.

Ты меня миновала, беда,
Злополучный удел доходяги.
Как светла облаков череда!
Как безвылазны наши овраги!

Счастлив тем, что в барыжьем краю
За полушку не продал таланта
И настраивал лиру свою
На болотной травы эсперанто.

Плавунцов бессловесный язык
Был, как русский язык, мне понятен,
И, цветов полевых ученик,
Я носил свой небесный дневник
Весь в закладках от солнечных пятен.

Я хлебнул из кастальской струи –
Ледяной, перевозанной, проточной.
Я везунчиком был, это точно!
Так растите – светлы, непорочны –
Полнозвучные строки мои.

ГАДАНЬЕ РУССКОМУ ПЛЕННОМУ. ВЕНА, 1918.

Скользит под юбкою колено
У австриячки молодой.
«Вы погадаете, Мадлена?
Смотрите, как нависла пена
Над тазом с мыльной водой!»

Мадлене нравится вниманье.
И в предвкушении гаданья
Всю пену вылила в Дунай.
«Тебе, красивый русский Ванья,
Без деньги буду я гадай!»

В России жизнь теперь двоится –
Владимир справа, слева – Лев.
И ваша кровь для них – водица.
О, с ними лучше не водиться!
Ты мог бы жизнью насладиться
В Череповце, у Дамы Треф.

О, сколько зависти на свете!
Кругом шестёрки – посмотри!
Тебе совсем не будет дети,
Но дамы будет сорок три.

А смерть скорей всего от пули.
Ну да, пробита голова.
Казённый дом. Конец июля.
Знамёна. Лозунги. Москва.

Король Червонный. Сколько света!
Священна к родине любовь!
Но у Бубнового Валета
На алебарде ваша кровь.

О Ванья! Не беги из плена!
В Москве крамола и измена,
Там каждый миг грозит бедой!»
«Довольно сказок нам, Мадлена!» –
Воскликнул русский молодой.

В конце июля он родился
И помнил нянюшку в чепце,
Как он читать, писать учился
У дьякона в Череповце.

Он так любил в полях ромашки,
И стрекозу на рукаве
Домашней клетчатой рубашки,
И треск кузнечиков в траве!

Весь мир июльской полон жажды.
Как набухает в поле рожь!
Но было сказано, что дважды
В одну ты реку не войдёшь.

И в мире, где так мало света,
Где никаких не будет тайн,
Он много раз припомнит это –
Гаданье, Вену, Madelein,

Дунай извилистый и мгlistый,
Притихший вальс, и тёмный храм,
И в садике жасмин душистый...
...Вот и закончен путь кремнистый –
Арест, Лубянка, девять грамм.

Душою Божьи, а телом – княжьи.
Здесь бездорожье, одноэтажье.

Штакетник хилый, петух понурый,
Кривые вилы, худые куры.

Рыбачья леска да плоскодонка.
Гниёт подвеска у «жигулёнка».

В раздольном поле одна полова.
У тёти Поли мычит корова.

Нас не погубят американцы.
В заштатном клубе сегодня танцы.

Стопою твёрдой идём мы к рынку.
Засунь-ка, гордый, подальше финку.

Мы телом княжьи, душою – Божьи.
Одноэтажье и бездорожье.

Что, Эвтерпа, ты шепчешь мне в ухо?
Погоди, я достану блокнот.
Вороха тополиного пуха
Буйный ветер по пляжу несёт.

Мы с тобою вдвоём не случайно
В этот час на речном берегу.
Есть меж нами особая тайна,
Я её ото всех берегу.

Трав июньских размах и невинность.
Ежевичный причудливый склон.
Не моя в этом, право, провинность,
Что отметил меня Аполлон.

Не моя в этом, право, заслуга,
Что я пил из кастальской струи,
Что на ухо шептала подруга
Сладкозвучные строки свои.

Очаруй меня сорной половой,
И загробной коврижкой медовой,
И пахучей болотной травой.
На сиринге своей тростниковой
Просвисти над моей головой.

Я деньги на книжку просил у него.
А он на меня как баран на ворота
Смотрел, был не в силах понять ничего,
И чувствовал я неприятное что-то.

Я помню его опечаленный вздох,
И выдох, и щёчек бордовые пятна.
И был для него я не лузер, не лох,
А некий игрок, чья игра непонятна.

И был для него я заштатный хитрец,
Солидных людей разводящий на бабки,
Такой же, как он, прохиндей-удалец,
Для виду одетый в плебейские тряпки.

«Конечно, культура нам тоже нужна, –
Промямлил он вяло, – но всё ж, извините,
(Зачем ты пришёл к нам, какого рожна?!)
Так трудно с деньгами... А впрочем, звоните...»

Звоните, звоните... Стальные стрижи
Безмозглое небо стригут спозаранку,
И в сердце втыкают стальные ножи.
А много ли надо сегодня подранку?

Среди узаконенной русской трухи
Живёшь абы как, не скрывая опаски,
Не в силах отвлечься от той чепухи,
Что в книжках должны появляться стихи
И пахнуть всегда типографскою краской!

Я помню, коллега мой старший, в Кремле,
Над Волгой замёрзшей (а впрочем, звоните!),
Немного смущаясь, показывал мне
На строчки свои, что блестят на граните.

Под снегом белел отрешённо обком.
Снежинки кружились и падали наземь.
И всё мне казалось – меж тем стариком
И этими строчками не было связи.

Он умер недавно. Я тоже умру.
О, как далеко нам до славы народной!
Но как притягательна жизнь на миру!
Как жалко дрожали на зимнем ветру
Тесёмки от шапки его старомодной!

Ау, гонорары! Не стоит тужить,
Что канули в вечность багряные флаги.
Ведь жизнь не закончилась! Можно прожить
Без слов на граните, без книжной бодяги.

За печкой трещит колченогий сверчок.
И что ему мир нуворишей и выжи?
Он песнею счастлив своей, дурачок,
И нет ему дела до спонсорских книжек.

Сугробом мартовским обмякла
Бедняжка память... Что скрывать!
Двенадцать подвигов Геракла –
И те я начал забывать.

А здесь, в музее бесподобном,
Где всюду мрамора куски,
В каком-то трепете утробном
Стоял у каменной доски.

Двенадцать маленьких квадратов –
И в каждом страсть, надежда, пыл.
Я был отличником когда-то
И мифологию любил.

Я, почитатель древней пыли,
В античной мраморной могиле
Стоял, молчание храня.
Мне ощущенья говорили,
Что все квадраты – про меня.

О, сколько времени клепсидра
С тех пор отмерила! Боюсь
И сосчитать... С лернейской гидрой
Я до сих пор ещё борюсь.

Она всё видит и всё слышит,
Стучит в ментовку на подруг,
Она огнём болотным дышит,
Она детей своих пропишет
В чужих квартирах – и каюк.

Не буря в чашке и в стакане,
А горе, слёзы и беда.
Поимку керинейской лани
Я не забуду никогда.

Круглы, вальяжны и здоровы,
Мычат на радость детворе
Чадолюбивые коровы
У Гериона на дворе.

Был путь коварным и неблизким –
Дожди, распутица, туман.
Я видел даже Сан-Франциско!
Смотрел на Тихий океан.

От страха, боли пламеня,
Дошёл по воле Эврисфея
До самых западных границ.
...Но почему-то всех страшнее
Изгнание стимфалийских птиц.

О, я б отдал богатства Креза,
Чтоб никогда не видеть их!
Болят, болят мои порезы
От стимфалийского железа
Их перьев острых и сухих.

Я видел Рим, я видел эту синь
Нерукотворных фресок Рафаэля,
И чудо римских мраморных святынь,
И роскошь итальянского апреля.

Извилистые видел берега,
Причудливые камешки у мыса.
Там пиния изящна и строга,
И талия стройна у кипариса.

А на Востоке, где стоит луна
Ущербная, где дремлет старина
И рвётся ввысь пирамидальный тополь,
Там Рим Второй, там древняя стена...
Я видел и тебя, Константинополь.

Наш Третий Рим страшнее первых двух –
Стрелецких казней сатанинский дух
Был русскими прочувствован и понят.
Наш Вечный Город не для слабаков –
Божественные сорок сороков
И отпоют тебя, и похоронят.

И, как отметил старец Филофей,
В скуфейке старой, вечности трофей:
«Четвёртому не быть!» И как проказы
Боится мир, напичканный трухой,
Не русской смуты, подлой и бухой,
А этой гордой стариковской фразы...

Жуки-плавунцы на поверхности мутной воды
Похожи, увы, на неловких детей на коньках.
На небе бесслёзном косматые тучи седы.
Вот так вот, пожалуй, всю жизнь проведёшь в дураках.

Ребристую щепку течение быстро несёт
Под хлипкую дрожь неприметных прибрежных ракушек.
Не веришь в стабильность и знаешь, что Бог не спасёт.
Ничтожное время, неужто тобою я сыт?

Безбожное семя, постылый седой пустоцвет,
Сорняк придорожный, забывший начала, концы,
Понять не способен, что времени попросту нет,
Есть речка лесная и эти жуки-плавунцы.

Есть речка лесная и ящерицы возле неё,
С глазами навывкате, как у еврейских детей.
Смолою сочится сосновое время твоё,
И времени нету счастливей и нету лютей.

Жуки-плавунцы на поверхности мутной воды.
Шмели шерстяные – подобие снайперских пуль.
Стрекочет кузнечик, и крылья тончайшей слюды
У гибких стрекозок разгладил прилежный июль.

Как всё-таки славно, что я вместе с вами, я здесь,
У вкрадчивой речки, у тихих прибрежных ракушек.
И летнего воздуха нерукотворная взвесь
Мне новые радости, новое счастье сулит.



**Наталья
ЛЕВАНИНА**

САШКА

История в пяти эпизодах

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ, ГЛАВНЫЙ. МАМА

Сашку Смирнова звали по-разному: дворовая ребятня – придурком; учителя, когда изредка приходили к нему домой заниматься, – проблемным ребёнком; врачи, среди которых протекала его жизнь, – больным. Друзей у него не было. Мама заменяла ему всех: и школу, разучивая с ним за компанию учебную программу; и скорую медицинскую помощь – никто лучше неё не мог вывести Сашку из его болезни; и друзей – с ней он мог говорить буквально обо всём. Мама умела всё так объяснить, что Сашка не только понимал, но и сразу успокаивался. Когда стал он догадываться, что с ним что-то не так, и спросил об этом маму – она недолго думая вытянула перед ним свою натруженную руку.

– Смотри сюда. Видишь? И пальцы-то на руках не одинаковые... Что уж говорить о людях. Все разные. Ты – такой. И я тебя *такого* очень люблю.

Это его убедило. А вообще ему надо было только одно – чтобы мама была рядом. Сашка не просто её любил, каким-то шестым чувством понимал, что его жизнь – в её руках. Первое, что неизменно различал, приходя в сознание после невесты откуда налетающих припадков, – её родные встревоженные глаза. Она гладила его, шептала слова ободрения, вытягивала из безумной воронки. Что и говорить, конечно, мама была для Сашки самым главным человеком.

Жили они скромно – на Сашкино пособие и мамин заработок. Очень выручала своя земля. Мама как-то объяснила Сашке, что плохо живётся не тем, у кого мало, а тем, кому мало. Он,

-
- Наталья Леванина (Наталья Юрьевна Тяпугина) – автор около двухсот художественных, научных и литературно-критических работ. Публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Октябрь», «Волга», «Дон», «Волга–XXI век», «Крещатик», «Литература в школе», «Женский мир» (США); альманахах «Саратов литературный», «Краснодар литературный», «Мирвори» (Израиль), «Эдита» (Германия), «Другой берег» и др. Лауреат литературного конкурса им. М.Н. Алексева, Международного конкурса литературоведческих, культурологических и киноведческих работ, посвящённого А.П. Чехову, и др.

правда, ничего тогда не понял, но, как и привык, просто принял на веру и запомнил.

Мама была рукодельницей, она целыми днями на продажу вязала шали, шапки и носки. Спицы мелькали в её проворных руках, а взгляд будто навечно прилип к единственно важному объекту – сыну, который в этот момент либо сидел за учебниками, либо хворал в постели, либо помогал по дому.

Жили они в маленьком бревенчатом домике, доставшемся матери от её бабушки. Раньше это был далёкий пригород Тайги – так назывался их небольшой сибирский город. Со временем дом оказался в окружении дач – с одной стороны, и городских многоэтажек – с другой. Всё это грозило очень скоро лишить их главного богатства – клочка земли, на котором ещё отец когда-то посадил несколько ягодных кустарников и фруктовых деревьев. На этих малых сотках мать и сын умудрялись ещё и выращивать кое-какие овощи.

Это невеликое хозяйство почти целиком было на Сашке. Мама только следила, чтоб он сильно не уставал, и охотно помогала ему, когда утомлялась от вязания сама. Определённо, работа на свежем воздухе была им обоим на пользу. Занимаясь садом-огородом, как, впрочем, и всегда, мать и сын подолгу разговаривали. Им вообще вместе не было скучно.

Но сын рос и взрослел, он, как говорила мама, всё больше стал походить на своего отца: становился таким же высоким, густобровым, чернявым и вообще – парнем видным, если бы не худоба и нездоровая бледность. К Сашкиному совершеннолетию болезнь не то чтобы ушла – от неусыпного маминого ухода и ежедневных лекарств она отступила. Но мать знала, что – временно. Просто сейчас, на пороге нового Сашкиного возраста, хворь коварно затаилась. Хотя – кто знает? На живом ведь всё заживёт! А Сашка в свою восемнадцатую весну, вдруг почувствовав пробуждающуюся силу, и думать не хотел о болезни.

Вот и теперь, любуясь вскопанными грядками, он отдыхал, опираясь на лопату, с наслаждением вдыхая влажный земляной дух:

– Мам, ну как, нормально?

– Молодец, сынок, – ласковой скороговоркой без промедления ответила мать, блаженно зажмурившись и подставляя утомлённое лицо майскому солнышку. – Что бы я без тебя делала?

– Мам, я тут подумал... Знаешь, я хотел бы зарабатывать, – вдруг неожиданно выпалил сын.

Мать встрепенулась:

– Чего это вдруг?

– Это не вдруг. Я долго думал. По радио слышал. Там говорили, деньги – это возможности.

– Вот как! И чего же ты хочешь? – мама пристально взглянула на сына, отложив вязанье.

Сашка продолжил:

– Хотел бы, чтобы мы с тобой, ну, съездили бы куда-нибудь... Хочу купить тебе шубу, а то зимой ты вечно мёрзнешь. И ещё... надо, наверное, нам с тобой купить телевизор, что ли... А то некоторые как узнают, что мы без телевизора живём, так начинают смеяться.

– А пусть себе! – беспечно отмахнулась мама. – Смех – это же хорошо. И зачем нам телевизор? Вон как у нас в саду красиво! Смотри, деревья просыпаются, ирисы вон проклюнулись, скоро зацветут, а уж птицы-то что делают! Как заливаются! Помнишь, как у папы?

И она, мечтательно зажмурившись, продекламировала:

*Ах ты, Машенька-Мари!
За окошком соловьи
Засвистели, засвистели
За окошком соловьи.
Ах, Марусенька-Мари,
За окошком соловьи
Вызывают на свиданье.
Что ль, не слышишь? Выходи!*

Но Сашке сегодня не хочется, чтобы мама уведила разговор в сторону, и он недовольно бормочет:

– Что-то больно много соловьёв...

– Нехорошо, Саша! – пристыдила его мать. – Это ж отец твой родной написал.

– Мам, не уходи в сторону. Просто я вырос и хочу по-настоящему работать! – заупряился сын.

Мать подошла к нему, обняла за худенькие плечи.

– Милый ты мой мальчик! Работать он хочет! А ты разве не работаешь? Вон весь огород, как трактор, вспахал! Кошка не вспашет! Вот погоди, я что-нибудь придумаю, и мы с тобой, может, осенью возьмём и съездим к дяде Косте, в Заволжск. В самом деле, надо бы повидаться, он пишет, зовёт, что-то вспомнил про нас, наверно, старенький стал...

Но Сашка неожиданно упёрся:

– Мам, ты не сердись, но я буду искать работу.

– Успеешь, сынок, наработаешься ещё.

– Ты же сама говорила, что я взрослый. И сильный. Вот и буду помогать...

– А ты и помогаешь.

– Нет, помогать по-настоящему.

У мамы на лбу прорезалась складка – она появлялась, когда мать была чем-то сильно недовольна.

– Тебе чего-то не хватает? Что это ты вдруг про деньги заговорил?

– Просто видел тут, как дворник мёл улицу. Это же совсем нетрудно. Метлой вжик-вжик! Я тоже так смогу. А им, между прочим, две тыщи платят.

– Во-первых, на эти деньги ни шубу, ни телевизор не купишь...

– А мы будем откладывать, накопим...

– ...А во-вторых, ты надорвёшься и наделаешь делов – опять расхвораться.

– Да говорю тебе: не надорвусь! Я правда смогу! Ну почему ты мне не веришь? – настаивал Сашка.

Но мама тоже упёрлась:

– Это летом нетрудно. А зимой да в холод? Снегу-то столько навалит, что никаких сил не хватит!

Однако, видя, что повзрослевший сын обиженно насупился, продолжать не стала. Сказала, там видно будет...

Летом, как обычно, мать и сын занимались своим урожаем: вместе сушили яблоки, варили компоты и варенья, солили огурцы. Дел было много, и про работу Сашка больше не заговаривал, хоть мать знала, что сын от своего не отступит: «Настырный, весь в меня!»

Осенью неожиданно тяжело разболелась сама Мария. Подкосило давление. Она даже слегла, чего с ней давно не бывало.

– Хороший знак, сынок! – утешала она расстроенного Сашку. – Значит, у тебя всё налаживается. Мой организм знает, когда расклеиться. Это

как на войне. Дядя Костя писал, что они там уж в каких условиях воевали, в грязи и холоде, при любой погоде, а никто ни простудой, ни расстройством желудка особо не страдал – не до того было! Когда случается что-то важное, мелочи отступают!

– Ничего себе! Это ты, что ли, мелочь? – возмутился Сашка.

– Да это я просто... вообще...

А вообще жизнь её не баловала. В свои неполные сорок лет Мария Фёдоровна Смирнова постоянно жила в ожидании неприятностей и несчастий, впрочем, не то чтобы не собираясь, а просто не имея права капитулировать. Небольшого росточка, хрупкая, рано поседевшая, с вечной «фигушкой» на затылке, она выглядела бы простой серой мышкой, по которой не задерживаясь скользит взгляд постороннего, если бы не глаза. Они у неё были удивительные, легко меняли цвет и выражение – от небесной открытости до стальной решимости. Глядя в них, даже самый непроницательный человек догадывался о выпавших на её долю испытаниях, преодолеваемых исключительно силой характера.

И в самом деле судьба с садистским упорством испытывала её на прочность. Жизнь не изобретала замысловатых сюжетов, тупо действуя по отработанной схеме: подманивала наивную Машину душу близким счастьем, и в тот момент, когда, забыв обо всём на свете, душа эта устремлялась на седьмое небо, судьба-злодейка не просто опускала её на землю, она прицельно швыряла её в самый безнадежный свой тупик, выбираться из которого женщине предстояло с невозможным упорством и мужеством долгие годы.

Родителей своих Мария не помнила, они, совсем молодые, как-то нелепо погибли – поехали на мотоцикле в лес и столкнулись на повороте с лесовозом. Растила её баба Клава, папина мама, женщина суровая и по натуре холостая. От подкидыша она была не в восторге, но не отказалась. Растила как умела. Умерла она, когда внучке едва исполнилось пятнадцать. Школу Маша закончить не успела, надо было на что-то жить, и она устроилась на железную дорогу, в сортировочный цех. Ей не было и семнадцати, когда путеец Смирнов неожиданно позвал её замуж.

Вообще-то парня звали Пашкой, был он в местных кругах фигурой известной, даже знаменитой – сочинял стихи и печатал их в газете «В добрый путь!», подписываясь именно так: *путеец Смирнов*. Путеец был под два метра ростом, и вообще парень красивый, если не считать кривых зубов, которые он старательно прятал за неулыбчивыми губами. Машу он почему-то сразу выделил, и вскоре в газете появились стихи, после которых молва их и связала. Парень писал:

*Машенька, Мари,
Говорил бы с тобой до зари.
Ты любовью меня одари,
А потом целиком заberi.*

На самом же деле это он сам вскоре «целиком забрал» её в свою комнату в железнодорожном общежитии.

Путеец Смирнов оказался парнем не только даровитым, но и мастеровым. Он сразу затеял ремонт в бабушкином доме, вырубил старый сад и посадил новый. Машу он по-своему любил, почти не обижал, разве что когда был «выпимши». Наутро, извиняясь перед женой, он говорил всякий раз одно и то же: «Где ты видала трезвых поэтов?» А поскольку знакомство с художественной богемой у Маши ограничивалось путейцем Смирновым, она вери-

ла ему на слово и не сердилась. Тем более что через год поэзия вместе с поэтом отошли у неё на второй план – родился сын, которого счастливый отец самолично наре́к Александром: «В честь кого? Догадайся!»

А чего тут гадать, тут растить надо! И Маша с головой ушла в материнские заботы, а муж – в творчество. Теперь каждый вечер после ужина, когда вымытый и накормленный ребёнок сладко сопел в люльке, Паша, отодвинув распашонки и присыпки, пристраивался к столу и быстро, без помарок записывал то, что вытвердил про себя на работе. Потом читал свеженькое утомлённой супруге. Она клевала носом, но, не желая обидеть автора, изо всех сил боролась со сном и одобряла. А разошедшийся поэт пылал:

*В детстве, помню я, читаю
Сказку Шехерезады.
В них красавицу равняют
Со цветком из сада.*

Далее следовали пышные сравнения:

*С виноградною лозой,
Трепетною ланью,
Свежей утренней росой
Иль венцом желанья!*

В конце стиха, как железнодорожный костыль, вбивался вывод:

*Только зрелость полной мерой
Ценит красоту!
И пишу я с полной верой
В свою правоту.*

Потом Мария казнила себя за то, что плохо слушала мужа, мало восхищалась им. Много позже, зачитывая до дыр исписанную Пашей амбарную книгу, они вместе с сыном выучат наизусть все его стихи – то немного, что осталось от путейца Смирнова, неизвестно где и как сгинувшего в бандитские девяностые. Следовательно, который вёл это дело, буднично объяснил безутешной Марии, что, видимо, на свою беду, оказался Павел Смирнов не в то время и не в том месте.

Она лила слёзы над строчками, которые казались ей теперь пророческими:

*Я дежурный станции Разлуки.
Я дежурный станции Печаль.
Люди жмут мне на прощанье руки,
Взяв билет в неведомую даль.
Только я-то люблю больше встречи,
Ненавижу тоскливость разлук.
По душе мне весёлые речи,
Взмах надёжных и дружеских рук.*

Сын и эти стихи – вот всё, что привязывало теперь Марию к жизни.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. РАБОТА

Устроиться дворником близко к дому оказалось непросто. Сашку взяли на работу лишь в начале следующей весны, и то временно, как ему объяснили, вместо заболевшего Палыча. Правда, намекнули, что работа, скорей всего, будет постоянной: Палыч – пенсионер, да и прихватило его здорово, так что вряд ли он оклемается.

И теперь спозаранку Сашка бил на тротуаре ледяные глыбы, образовавшиеся за время болезни его предшественника. Наступил март, но пока был он Сашке не помощник – стояла по-настоящему зимняя погода с ночными морозами и робким дневным негреющим солнцем.

Сашка рад был этой работе, и хоть трудно было просыпаться ни свет ни заря, хоть болели руки от ледяной долбёжки, но у него теперь, как и у всех, была настоящая работа, собственная трудовая книжка и положенная ему заработная плата. Сашка впервые в жизни чувствовал себя не инвалидом, а добытчиком, настоящим мужиком. И неважно, что лом трудно было удерживать в толстенных простёганных рукавицах, сшитых ему мамой; ноги в валенках с калошами на гололёде так и норовили разъехаться – это не портило настроения, Сашке нравилось преодолевать трудности и собственную немощь.

Смеяться над ним было некому: на работу он приходит к шести – весельчаки ещё крепко спали, а тем, кто вставал так же рано, было не до смеху – все спешили по своим делам и на Сашку не обращали никакого внимания.

– А я-то думаю, что за сикараха такая топорщится? – слышался какой-то торопливый говорок за спиной. – Ты, что ль, заместо меня тут?

Сашка и не заметил, как к нему сзади подошёл худенький мужичок в телогрейке и теперь наблюдал за ним с нескрываемым интересом.

– Охолони чуток. Палыч я, – представился он не без солидности.

– Александр, – ответил Сашка, как советовала мама, и остановился, переводя дыхание.

– Едрёны палы! – развеселился мужичок. – Никак профессор? Александр! А по батюшке как?

– Ну что вы! Можно без отчества. Я не профессор – дворник.

– Гора с плеч! – продолжал развлекаться новый знакомый. – А то, понимаешь, думаю, кто это пендётся тут, как курица с самокатом? А это целый Александр!

– А вы тот самый Палыч? – решил уточнить Сашка.

– Силён мужик! – похвалил знакомец. – Смотри-ка, догадался!

– Как вы себя чувствуете? – приветливо поинтересовался Сашка. – Говорили, что сильно болеете.

Палыч сбросил обороты, скроил постную физиономию и отработанной скороговоркой доложил:

– Вертикулёз у меня. Слышал?

– Нет.

Палыч удовлетворённо крикнул:

– То-то и оно! Никто, понимаешь, не слышал. Такая беда. Доктора уж на что – мощА, и то с моим заболеванием не могут справиться. Уколют в обе ягодницы – и гуляй, Вася!

– Какой Вася? – не понял Сашка. – Вы же Палыч.

– Ты что, Александр, с молотилки свалился? Так все говорят! Вася и Вася!

– Не слышал.
– Ну и заместителя мне подобрали! Ты откуда такой малахольный?
– Из дома.
– Разом не из психического?
– Был я там раньше. А теперь – просто из дома.
– Подлечили, что ли? – ухмыльнулся мужичок. – Ты случаем не буйный?
– Ну что вы! – всерьёз успокоил его Сашка. – Просто у меня припадки с рождения.

Но Палыч не унимался:

– Некоторые в припадках-то и того! Замочат, понимаешь, в задумчивости... Их за это даже в тюрьму не сОдют. Подлечат – и гуляй, Ва... Короче, кроши следующих!

– Мама говорит, меня бояться не надо.

– Маме-то что, она привычная!

– А вы что, назад, на работу? – перевёл разговор Сашка. Он сегодня торопился, дел было много, а Палыч явно никуда не спешил. – Вы лечитесь, не волнуйтесь, я справляюсь.

– Вижу, справляешься... как покойник с красоткой... Работник ты, прямо скажем, ни в ноздрю, ни в Советскую Армию. Учить тебя некому, а я, понимаешь, хвораю. А может, так оно и надо? Я-то со всей дури махал, может, и надорвался... Организм сносился.

– У меня пока быстро не получается, – начал оправдываться Сашка, взглянув украдкой на часы.

– Где тебе, извиняюсь, дистрофану. Тут мышца нужна...

Сашка, думая, что его не поняли, решил уточнить:

– Я не дистрофик, я эпилептик.

– Хрен редьки не слаще, – без задержки ответил экс-дворник.

– Извините, Палыч, вы говорите, а я работать буду.

– Деловая колбаса! «Говорите!»! Долби давай, коль невтерпёж, а я пошёл.

– До свиданья. Заходите.

И отдохнувший Сашка заколотил по наледи с утроенной силой.

– Смотри, асфальт мне тут не попорти! – напуговал мастер новичка и удалился неторопливой походкой вдумчиво хворающего человека, ворча себе под нос: – Понимаешь, берут тут всяких...

А Сашка в скором порядке подобрал широкой деревянной лопатой отколотые льдины, соорудив из них аккуратную горку на краю тротуара. Ему надо было спешить: дома ждала мама, которая волновалась из-за каждого его опоздания. К тому же сегодня он решил наконец обсудить с ней одну важную вещь, которая не давала ему покоя вот уже несколько дней.

Мама заволноваться не успела – сын явился почти вовремя, бодрый, поздоровевший. Она, любуясь его румянцем, принялась хлопотать, накрывая на стол, как всегда, выпрашивая всё, даже самые незначительные подробности. Сегодня определённо сыну было что рассказать.

Дожидаюсь, пока каша чуть остынет, Сашка сообщил:

– Знаешь, мам, а ко мне сегодня на участок Палыч заходил.

– Какой-такой Палыч? – не поняла мать.

– Тот самый. Вместо которого меня взяли. Забыла?

– А что ты как его называешь-то? – урезонила мама. – Некрасиво...

Палыч.

– Он сам так говорит.

– Всё равно, он старше тебя, узнай его полное имя-отчество. А то неудобно как-то.

– Узнаю, – пообещал Сашка и заработал ложкой.
– Так что он? – напомнила мать. – Выходит, что ли?
– Нет, говорит, болеет. Он называл чем, да я не запомнил.
– Ну, и как он тебе? – присела рядышком мама.
– Вроде ничего, не понял пока. Я вообще у него не всё понял...
– Это почему же? – заинтересовалась мать.
– Ну, он как-то странно говорит, ну... с юмором, что ли... Слова какие-то непонятные.

Сашка замялся, а потом выпалил:

– Мам, скажи, вот только честно, я похож на ненормального?

Мать пристально на него посмотрела. Не любила она эти разговоры, нормальный-ненормальный...

– Ты нормальный, сынок, – выговорила она твёрдо. – Что за дела? Чего это ты вдруи? Случилось что?

– Ничего не случилось. Просто я хотел бы и дальше себя проверять.

– Ничего не понимаю! Что за проверки? – привычно всполошилась мать.

– Да не волнуйся ты! Вот смотри, ты боялась, что я не смогу работать, а я смог. Боялась отпустить от себя, а ведь всё получилось! И вообще в этом году я только разик всего и болел.

– И слава Богу! – мать привычно перекрестилась на угол, в котором висела её любимая икона Богородицы «Утоли моя печали». – А к чему это ты ведёшь?

– А к тому, – взволнованно сказал Сашка, – что я только недавно понял: оказывается, все рискуют! И здоровые, и больные – все! Рискуют, но живут, работают, ездят всюду, даже женятся...

– Ты влюбился, что ли? – не поняла Мария.

– Да нет, как ты не понимаешь, я про другое! – воскликнул в нетерпении Сашка. – Вчера мастер из ДЭЗа инструктировал, чтоб убрали лучше, а то на соседнем участке женщина поскользнулась, поломалась вся и теперь в суд на них подаёт.

– Я так и знала! – привычно запричитала мать. – Не доведёт тебя эта работа до добра! Уходи, сынок, пока не поздно!

– Что ты, мам, я хорошо чищу, солью посыпаю...

– Так что ещё?

– На соседней улице, прямо на остановке, с крыши наледь упала, людей покалечила.

– Ещё не легче! Господи, Богородица-заступница! Спаси и сохрани! – И мать вновь принялась креститься на почитаемый образ. – Вот страсти-то!

Немного погодя решила всё-таки уточнить:

– Саш, а дворники-то при чём? За крыши-то другие, вроде, отвечают!

– Ни при чём. Я что хочу сказать? Мы что-то неправильно делаем...

– Кто это – мы? – снова не поняла мать.

– Мы с тобой.

– Как это – неправильно? Что ты темнишь, говори яснее!

Сашка взяла мать за руку и потянул к дивану:

– Давай сядем. Да не беспокойся ты! Ничего не случилось! Просто слушай. Я в эти дни много думал. И знаешь, что понял?

– Пока не знаю...

– Нельзя бояться болезни. Вообще ничего не надо бояться. Чему быть – того не миновать.

– Ишь ты какой смельчак выискался!

– Нет, мам, правда, нельзя всю жизнь прятаться за твоей юбкой. Надо быть смелее, что ли... Опасностей много, да они и для всех – опасности. И сосульки на головы падают, и сами люди падают, ломают себе всё, и машины носятся, других сбивают и сами бьются...

– Ну, и что теперь? К чему это ты? – мать опять испуганно встрепенулась.

– Я сегодня, мне кажется, кое-что понял...

– Ну? Да говори же! – мама почти рассердилась. – Затвердил: понял, понял! Что понял-то?

Но Сашка был невозмутим:

– Опасности, мам, есть всегда, но люди, оказывается, про них не думают, они просто живут...

– ...и умирают, – горестно выдохнула мама.

– И умирают, – согласился Сашка. – Но вначале – живут! Полной жизнью.

– И что? Вот тоже – новости! К чему это ты разговор завёл?

– А к тому, что мне, мама, пора взрослеть! – смягчая резкость вывода, Сашка приобнял мать за плечи.

– Да ты уж и так повзрослел, вон какой вымахал!

Но Сашку было не сбить.

– Хочу с тобой договориться, что ты больше не будешь за меня бояться. Ладно?

– Это невозможно... Ну, допустим, и что дальше?

– А я не буду бояться людей.

У матери отлегло с души. Она поднялась, готовая бежать по своим делам.

– И правильно! Чего их бояться! Ну, всё уже? А то мне стирать пора.

Но взрослеющий сын главное припас напоследок.

– Знаешь, мам, ты не обижайся, но я думаю, что к дяде Косте мне нужно ехать одному. Это будет хорошая проверка. Настоящая.

Мария опять опустила на стул:

– Ах, вот ты что надумал! Понятно теперь. А то ходишь вокруг да около!

– И что скажешь?

– Скажу, что это будет не проверка, а смерть моя! Изведуся и помру.

– Мам, нечестно! Мы ж договорились! – запротестовал сын.

– Ни о чём я не договаривалась! – отказалась мама. – А как же твоя работа? Ведь только устроился, так хотел!

– Взрослеть буду прямо с завтрашнего дня. А ехать... пока не знаю, как с отпуском получится.

– Через год и получится. Как и положено. Если Палыч, конечно, не надумает вернуться.

– Вот видишь, не скоро ещё.

– Ну, тогда ладно, – вздохнула она с облегчением, – взрослей, сынок, дома. А там видно будет.

Мать подумала, что за год ещё сто раз всё переменится, не стоит переживать раньше времени.

Между тем Сашка от своего плана отказываться не собирался. Перво-наперво он решил, что будет больше общаться с людьми. Ему надо научиться разговаривать с чужими, ну, хоть с тем же Палычем, а то половину он у него в прошлый раз не понял. Определённо, надо тренироваться.

Случай вскоре представился. Через несколько дней его предшественник вновь объявился. Видно, скучно ему было болеть.

Накануне прошёл дождь со снегом, обещали заморозки, Сашка изо всех сил чистил тротуар лопатой и очень спешил, стараясь ликвидировать снежную жижу до того, как она заледенеет. В пылу опять не заметил Палыча. Тот окликнул:

– Что это ты, стахановец, спозаранку попу рвёшь? Думаешь, медаль дадут?

– А, это вы! – обрадовался Сашка. – Здравствуйте! Как себя чувствуете?

– На западном фронте без перемен, – загадочно обронил хворый.

Сашка, который решил выяснять все непонятности, уточнил:

– Это шутка такая?

Но Палыч шутить был явно не расположен. Более того, сегодня он был как-то особенно мрачен, можно сказать – желчен.

– Посмотрел бы я на того шутника, которому второй раз за месяц телевизор в задницу вставляют.

– Как это? – удивился Сашка, пытаясь по глазам Палыча понять, правильно ли он всё понял, не шутит ли тот как обычно. – Вы это про себя говорите?

– А то про кого же! Не про Папу же Римского! – вскинулся Палыч. – Еле хожу! Всё разодрали!

Далее обрушился поток нецензурных жалоб. Чтобы его остановить, Сашка вежливо поинтересовался:

– Так, нашли, что болит-то?

Палыч переключился на конкретных обидчиков:

– Ищут, следопыты! Ни дна им, ни покрышки! Всё раскорёжили, специалисты хреновы! По частям, понимаешь, идут. Сверху вниз, и наоборот.

– А почему сразу не поискать там, где болит? – недоумевал Сашка, которому искренне было жаль страдающего мужика.

Палыч, однако, был крепким орешком. Он собрался с силами и отчихвостил парня по полной программе:

– Не научный это подход, Александр! Темнота ты непролазная! Организм, понимаешь, как машина. У меня вот, к примеру, есть «Москвич 412», я его за всю жизнь, считай, по винтику раз сто разобрал...

– И собрали? – заинтересовался ничего не понимающий в технике юноша.

– Нет, так лежит! – огрызнулся Палыч. – Конечно, собрал, чудила-мученик! Так вот, если что-то в машине застучало, что я делаю?

– Что?

– Проверяю, понимаешь, коленвал.

– А-а-а...

– Если не в нём причина, лезу в шатун. А уж потом смотрю поршня и пальцы. Кумекаешь? Система! И человек так же. Врачи начали с желудка и дошли до прямой кишки. А что такое кишки? – задрал он к небу указательный палец.

– Что? – опять не знал ответа Сашка.

– И опять-таки, темнота ты беспробудная! Кишки – это мышцы такие. С годами трухлявеют, изнашиваются. Это понимать надо! А их знаешь там сколько?

Поскольку палец болезного по-прежнему указывал в небо, Сашка решил на всякий случай уточнить:

– Где?

– В Караганде! – разозлился Палыч. – Как с настоящим, дурак, разговариваю! В брюхе, где ж ещё!

– И что?

– А то! Пока всю гирлянду проверят, копыта откинешь!

– Так, вас лечат или как? – не понял Сашка.

Палыч неожиданно стих:

– Лечат-калечат. Тут дело такое... А ты, Александр, прямо как я до болезни, пока плакат в коридоре, в больнице, когда на УЗИ стоял, не изучил. Тут я всё и понял! Человек-то ведь – та же машина! Только, понимаешь, свои шестерёнки, особые! Их тоже знать надо! А то в технике я с мальчишек разбираюсь, что хошь налажу и отремонтирую, а с собственным организмом, понимаешь, только на пенсии и познакомился!

– Мама говорит, что себя знать надо.

– А то! Бабы понимают, про что говорят. Они как кошки живучие. Около них и мужику сподручно. Где погладят-пожалуют, где травки какой заварят, где бульончик сварганят. А я один, как шиш на бугре! Вот и погибаюсь!

– А вы похудели... – посочувствовал Сашка.

– Болезнь и поросёнка не красит! – постановил Палыч. – Да я никогда толстым-то и не был. А тут диета, едрёна вошь, кого хошь засушит! Врачи велят есть больше *сетчатки*, а нормальную еду не велят.

– А что это такое – сетчатка? Что-то я про неё слышал... Она разве съедобная? – рискуя вызвать новый всплеск недовольства, поинтересовался Сашка.

– Сетчатка-то? А кто её знает! Кому, наверно, как. Говорят, в отрубях её много. Раньше, понимаешь, отрубями в деревнях скотину кормили... Выходит, и меня туда же! Ну, ничего! – погрозил он кому-то невидимому. – Я стерплю. И это стерплю. Главно – не знаю толком, что лечить! Ещё и пристипому у меня нашли, говорят, увеличенная.

– А это что такое? – совсем растерялся Сашка, который в разговоре с Палычем чувствовал себя полным идиотом.

– Пристипома-то? – мужик поскрёб себя за ухом. – Это железка такая, мужская.

– Так нормально, что не женская, вы ж мужчина.

– Это я пока помню. Хотя если так пойдёт... Ну, хватит о болячках! – оборвал он себя решительно. – А скажи-ка, друг ситный, что это ты как блоха тут распрыгался? Куда спешить-торопишься, долбишь-колотишься?

Снова взявшись за лопату, Сашка пояснил:

– Так заморозки по радио обещали, вот и спешу.

Но и к средствам массовой информации Палыч был сегодня настроен скептически.

– Слушай больше! Это, милый ты мой, колы мэнэ як!

– Это по-украински? – догадался Сашка.

– А кто его знает? – махнул рукой Палыч. – Наверно.

– Я по-украински не понимаю.

– Ты и по-русски не петришь.

– А вы переведите, – настаивал Сашка.

– Это не переводится. Это анекдот такой. Хочешь, расскажу, пока, вроде, на воздухе мне полегало чуток? Ну, слушай и учись. Одного старика спросили, сбываются сны или нет? А он и говорит: «Колы мэнэ як! Колы сбываются, колы нет. Однажды, говорит, мне приснилось, что я с молодухой милуюсь. Проснулся – ан нет! Своя старуха рядом. В другой раз приснилось, будто я пообедался. Проснулся. Лап-лап – е-е-е!» Вот это и есть – колы мэнэ як! Понял?

Сашка неопределённо кивнул. Палыч между тем приступил к глобальным обобщениям:

– И с погодой так же. Ясно?

С этим и ушёл. А Сашка закончил работу и отправился в контору за первой в своей жизни зарплатой.

Столько денег он никогда ещё в руках не держал – целых две тысячи! По дороге домой он зашёл в булочную, купил для мамы её любимых заварных пирожных, большую коробку индийского чая со слонем и полкило шоколадных конфет с тёмной начинкой. Сегодня пируем! – решил добытчик.

Когда он дома всё это выложил на стол, мама прослезилась:

– Кормилец ты мой! Кошка не заработает! – И побежала ставить чайник.

После чаепития они решили, что одну тысячу будут тратить на одежду и питание, а другую – откладывать на Сашкину поездку. Сашка порадовался про себя, что мама говорит о его путешествии как о решённом деле. А что ей оставалось? Сын и вправду вырос, боишься не боишься, хочешь не хочешь, а надо отпускать его от себя. Вон он как изменился! А ведь только месяц и работает. И кто знает, может, и вправду, перерос он свой недуг? Всё в руках твоих, Господи!

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. ПОЕЗДКА

Палыч всё-таки выздоровел и в августе неожиданно вышел на работу. Видя, что Сашка расстроился, явился к нему домой с тортиком, чтоб тот сильно не переживал. Сашку, конечно, уволили. Так что время у него теперь появилось, чего не скажешь о деньгах. Их на поездку не хватало. Но дядя Костя был настойчив, он писал, что у него, как у участника войны, пенсия хорошая, пусть Маша не сомневается и отправляет сына. Деньги – не проблема, он даст, а то кто знает, успеют ли они вообще увидеться, возраст у него солидный, а ему уж очень хочется познакомиться со своим внучатым племянником, им есть о чём поговорить. Посоветавшись, мать и сын пошли на вокзал за билетами.

Ехать до Заволжска надо было почти двое суток. Билет в один конец в плацкартном вагоне съел половину накопленной суммы. Мама пришла в ужас. А узнав, что постельное бельё в поезде стоит целых пятьдесят рублей, просто остолбенела. Когда пришла в себя, решила: бельё Саша возьмёт своё. За неделю до отъезда она развила такую бурную деятельность, что сын всерьёз за неё обеспокоился. Она одновременно вязала дяде Косте пуховый свитер, штопала Сашке носки, перелицовывала отцовский пиджак, провисевший в шкафу больше десяти лет и теперь оказавшийся сыну почти впору. Мама теперь как-то судорожно двигалась, а присев ненадолго, тут же вскакивала, будто вспоминала что-то страшно важное. Она почти не спала и не ела. Без конца повторяла, какие лекарства и когда он должен принимать. Умоляла его быть осторожней. Видя такую исхудавшую, взволнованную мать, Сашка и сам разволновался. Откровенно говоря, он уже почти жалел о своём решении. Во всяком случае – сомневался. Но отступать было поздно. День отъезда стремительно приближался. Наконец он наступил.

Мать, собрав всё своё мужество, посадила сына в подошедший поезд и долго махала ему рукой, будто прощалась не на месяц, а навсегда. Сашку это ужасно расстроило, но он изо всех сил улыбался, чтобы внушить маме хоть немного бодрости.

Купе, в котором было его место на верхней полке, оказалось заполненным до отказа, там шумно трапезничала компания из шести человек – мужчин и женщин средних лет. Они вели громкий разговор, оживлённо обсуждая какую-то Галку, которая, вот дура, упустила денежного мужика, проворонила своё счастье.

Все полки и проходы были забиты клетчатыми сумками невероятных размеров. На Сашку его соседи не обратили никакого внимания. Он с трудом пристроил свои вещи под стол и взгромоздился на пыльную верхнюю полку. Потихоньку успокоился и осмотрелся. Под потолком было душно и неудобно, зато оттуда было видно и слышно всё, что происходило в вагоне. Сашка начал было смотреть в окно, но от бесконечного мелькания у него закружилась голова, и он то ли потерял сознание, то ли неожиданно заснул. Очнувшись от грубого тычка. Около него стояла толстая тётка в форме, с железными зубами. Она тыкала в него твёрдым, как кувалда, кулаком.

– Эй, парень, билетики предъявим! Пьяный, что ли? Задрых – отъехать не успели. Постель брать будем?

Сашка протянул проводнику билет и вежливо отказался:

– Постель у меня своя, спасибо.

– Как это своя? – прямо-таки взвилась тётка. – Ишь, чего выдумал! Умник! В поездах положено брать нашу, а нет – так я тебе ни матраса, ни подушки не дам!

– А сколько ваша стоит? – на всякий случай поинтересовался струхнувший пассажир.

– Сорок пять рублей, восемьдесят семь копеек.

Тут Сашка вспомнил, как изменилось мамино лицо, когда она узнала эту цену, припомнил, как бережно она выгладила ему в дорогу простыню и наволочку, – и окончательно отказался:

– Нет, не надо!

Компания внизу затихла, прислушиваясь. Тётка в форме заорала что-то несусветное про *голь-шмоль*, что *ездют тут всякие...* Сашка окончательно растерялся. В разговор неожиданно вступил один мужчина из компании:

– А чего это вы, мамаша, свой матрас вдруг пожалели? Вот уж сокровище! Их выбрасывать давно пора. На помойку. Слезай, парень, – скомандовал он Сашке, – сейчас мы тебя устроим. Что забрался, как петух на жёрдочку?

– Как это вы устроите? – вскипела проводница. – Ишь, раскомандовался!

– Не гони волну, мать! – остановил её другой мужчина. – Не видишь, парнишка пришибленный?

– Я из-за всех пришибленных не собираюсь по миру идти!

– Это надо! – вступили женщины. – Придумали тоже: восемьдесят семь копеек! Сдача-то капает!

– Ага, накапает здесь! – уже сбавив обороты, огрызнулась проводница. – Это не у вас в торговле!

Это был неверный ход. Даже те, кто до этого молчал, вдруг всколыхнулись:

– Что ты про нашу торговлю знаешь? Иди, женщина, от греха подальше, не шуми!

– А вот мы сейчас начальника поезда вызовем, узнаем, что это за порядки у вас такие? Может, она сама их тут придумала? – предположил тот, кто первый вступился за Сашку.

Но служивую тётку голыми руками было не взять:

– Зовите быстрее, он вас как раз и высадит.

– Это за что? – оживилась компания.

– За пьянку и дебош! – отрезала проводница.
Но не на тех тётенька напоролась. Компания подняла шум на весь вагон:
– Совсем офанарела! Это пиво-то – пьянка?
– А дебош мы тебе сейчас точняком устроим! По заявкам!
– Братцы! А пиво-то из их ресторана! У них брали!
– Вот там его и надо пить! – не сдавалась проводница.
– Тебя не спросили, где нам чего пить! Обнаглели совсем! На всём наживаются!

Проводница, поняв, что всех ей не переспорить, ворча, удалилась. А компания, только что дружно отбившая Сашку, скомандовала ему:

– Чего притих? Слезай, не бойсь!

Сконфуженный Сашка спустился со своей верхотуры и оказался в центре стола. Заступники принялись угощать его курицей гриль, сушёными кальмарами из пакета, плеснули в пластмассовый стаканчик пива. Ничего этого Сашка прежде никогда не пробовал. Он отколупнул кусочек курицы, пожевал, не почувствовав вкуса. То же и с кальмарами, будто деревяшку во рту повалял. Пиво из вежливости допил до конца.

Между тем его соседи вновь напустились на еду. Они ели и пили с большим аппетитом и в огромных количествах. Теперь, бросив неведомую Галку, принялись обсуждать порядки на железной дороге вообще и в этом вагоне в частности. Тема оказалась благодатной. Они наперебой вспоминали случаи из своей кочевой жизни, кто-то припомнил рассказы родителей, которые при советской власти покупали студенческие льготные билеты и путешествовали по всему Советскому Союзу чуть ли не на одну стипендию. Стипендии были, конечно, невелики, но и билеты ничего не стоили. «Мой адрес – не дом и не улица! Мой адрес – Советский Союз!» – затынуло купе дружным хором. Народ в вагоне, судя по одобрительным взглядам, был с ними полностью согласен.

У Сашки то ли от пива, то ли от обилия впечатлений вновь закружилась голова. Нетвёрдым шагом он направился в туалет, где его вырвало. Ополоснув лицо холодной водой, он некоторое время приходил в себя, стоя у открытого окна. Наружу старался не смотреть. Мелькающие за окном по-прежнему вызывало тошнотную карусель. Когда вернулся к себе, обнаружил, что пир закончился, стол чист, а на его полке лежат отвоёванные трофеи – подушка с матрасом. Одна из женщин предложила ему помощь, но он, поблагодарив, сам застелил себе постель и улёгся. Вскоре он опять заснул.

Когда от резкого толчка Сашка открыл глаза, за окном была уже ночь. Судя по всему, поезд остановился на какой-то большой станции. На перроне в свете фонарей суетились люди. Из динамика разносился гнусавый женский голос, нудно повторяющий одно и то же.

Вчерашней компании внизу уже не было, а новые пассажиры, стараясь не будить спящих, в потёмках отыскивали свои места и потихоньку устраивались.

Сашка лежал на своей полке и думал. Вот он и едет! Один! До поездки он больше всего боялся, что будет привлекать к себе внимание, что люди будут показывать на него пальцем, что он растеряется и не будет знать, как вести себя. А тут выяснилось, что напрасно он боялся, людям нет до него никакого дела, все заняты собой, своими проблемами, все ведут себя не обращая на других никакого внимания.

И ещё. Люди такие разные! Надо как-то научиться их различать. Есть добрые. Вон как за него вступились! А что он им? Но есть и такие, как проводница. И чего это она злая такая? Как вообще живут такие страшные

тётки? Им самим-то как? Неужто хорошо, когда все тебя не любят? Бр-р-р! От одной мысли о ней Сашку передёрнуло.

«Ну, ничего, как-нибудь доеду, – решил он про себя. – Потихоньку. Кто меня тут видит? Кому я нужен?»

Поезд тронулся, и под его жёсткий перестук Сашку снова уболтало, и он заснул.

Весь следующий день Сашка, свесившись со своей полки, с любопытством рассматривал пассажиров и делал свои маленькие открытия. Дети без усталости носились по проходу, на бегу легко знакомясь друг с другом. Взрослые тоже развлекали себя как умели – кто-то читал, кто-то играл в карты. Почти во всех купе попутчики перезнакомились и теперь оживлённо, как старые знакомые, беседовали. И когда только успели так близко сойтись? Ведь некоторые совсем недавно вошли!

Что ещё поразило Сашку: люди много ели. Они так азартно жевали, грызли, хрустели и хрумкали, будто еда для них – не средство для поддержания сил, а нечто гораздо большее и важное. Кажется, для многих – это незаменимое удовольствие, а для кого-то – просто дурная привычка. Некоторые за едой убивали время, а кто-то не терялся – за столом знакомился и развлекался.

Полных людей в вагоне было много. Сашке показалось, что толстяки и толстухи уминают за обе щеки, не слишком волнуясь, как это смотрится со стороны...

И снова мама права: меньше надо думать о том, что думают о тебе другие. Она как-то прочитала ему из журнала высказывание одного психолога: мол, чужим людям надо разрешить думать о тебе плохо. Просто разрешить – и не тревожиться. Это, мол, к тебе не относится. Это проблема тех, кто так думает. Мама, как всегда, тут же перевела ему на понятный язык: «Не зря говорят: на чужой роток не накинешь платок. – И добавила: – Свою голову на чужие плечи не наставишь!»

Сашку тогда эта мысль поразила. Он всегда болезненно реагировал на неодобрительный взгляд, смешок, а уж тем более на нехорошие слова. Ему казалось, чтобы жить по этому рецепту, требуется слоновья шкура и такая же самоуверенность. Ничего этого у Сашки не было, и он продолжал вслушиваться и всматриваться в окружающих, обмирая от возможного неодобрения. Но, похоже, все остальные действительно существуют иначе – они просто живут, не оглядываясь на чужое мнение и не терзаясь от того, что кому-то что-то может в них не нравиться.

Сашка размышлял о природе их беспечности. Что это – здоровье? сила? уверенность, что всё ты делаешь правильно? Или отсутствие привычки видеть себя со стороны и сравнивать себя с другими? Ответов у него не было. Тем более когда речь шла о чём-то совершенно невероятном. Как в случае с его новым соседом снизу.

Весь день Сашка с удивлением наблюдал, как этот молодой ещё человек с необъятным животом вдумчиво набивал свою безразмерную утробу. «Как хлебороб – закрома родины», – буркнула женщина в очках с боковой полки. Занятие это, судя по всему, было непростое. Беспokoйно оглядываясь по сторонам, чтобы невзначай не пропустить ресторанных корабейников, парень поглощал всё, что притащил с собой, а также всё, что предлагал дорожный ресторан по ходу движения. Очень скоро опустошёнными банками, стаканчиками, бутылками, фантиками и пакетами покрылся не только стол, но и вообще всё пространство вокруг. Проводница полы подметать

не думала, Сашкино купе она и вообще игнорировала, а его новый спутник в своём обжорстве был неутомим. Если не спал, то ел.

Это зрелище вызывало у Сашки ужас. Они с матерью всегда ели очень мало. К тому же не всякая еда согласовывалась с их лекарствами, а потому в питании мать и сын были не только умеренны, но и осторожны. А тут такое! Через некоторое время, проглотив всё, что было можно, толстяк, свесив живот чуть не до полу, примостился на своей полке боком и захрапел на весь вагон. И тогда Сашка по-настоящему испугался: вот теперь парень и умрёт! Переварить такое количество представлялось Сашке делом невозможным. Таких утроб он никогда не видел! А когда ему показалось, что храп переходит в булькающий хрип, он просто уставился на соседа, чтобы не опоздать к началу неминуемой агонии и тем самым, возможно, спасти ему жизнь.

Но всё обошлось. Через час толстяк проснулся, залил в себя ещё несколько чашек чая с бубликами и вскоре вышел из вагона, оставив после себя настоящую свалку. Сашке, несколько месяцев профессионально занимавшемуся уборкой и вообще приученному матерью к чистоте и порядку, смотреть на это безобразия было трудно. Он недолго думая спустился вниз, собрал весь мусор в большой целлофановый пакет, валявшийся тут же, и вынес всё это добро в мусорный бак, впрочем, и без того заполненный до отказа. Что и говорить, мусорил народ тоже от души!

И ещё Сашка заметил, что люди, потакая своим желаниям, без всякого стеснения предаются вредным привычкам. К примеру, не только мужчины, но и многие женщины без конца сновали в тамбур, возвращаясь оттуда в густом табачном шлейфе. Исключения не составила и эта молодая пара, разместившаяся на боковых местах в соседнем купе. Женщина, судя по округлившейся талии, ждала ребёнка. Вначале Сашка решил, что молодая жена ходит с мужем в тамбур просто за компанию, а потом со своей верхотуры почти с испугом обнаружил, что у неё есть своя пачка, и в этой компании дышит она не только мужниным, но и своим дымом. Сашка никак не мог понять, почему родители травят ещё даже не родившегося ребёнка? Он вглядывался в слегка припухшие глаза будущей мамы, наблюдая сверху её любовное воркованье с мужем, и признавал, что, видимо, никогда не научится он понимать людей, то, как они лёгким, естественным способом совершают самые чудовищные вещи. А поскольку никто, кроме него, на это не реагировал, он окончательно решил, что ему, видимо, никогда не разобраться ни в людях, ни в их поступках.

Сашку в поезде, как маленького ребёнка в люльке, постоянно укачивало, и он в течение дня то неожиданно провалился в дрему, то так же неожиданно пробуждался, впитывая всё новые впечатления. А ночью ему не спалось.

Вот снова поезд дёрнулся и остановился. Через некоторое время раздался железный стук – это обходчики простукивали колёса. Под этот звук он вдруг вспомнил своего отца, который тоже работал на железной дороге. На память неожиданно пришли отцовские строки:

*Вдоль по рельсам бегут поезда.
По асфальту машины бегут.
И везут народ туда и сюда.
И зовут вперёд дороги, зовут.*

Как там дальше? Это мама знает всё назубок. А он сейчас помнит только начало и конец:

*Переезд, переезд, переезд.
Здесь работа моя и мой крест.
Это жизни моей переезд.
Переезд, переезд, переезд.*

Как в воду глядел! Работа и стала его крестом. Бедный, сгинул, как и не жил! А ведь и тридцати не исполнилось! Мама теперь больше всего плачет о том, что и могилки-то его нет, некуда по-человечески прийти, поговорить. Тоже – бедная! Наверно, сейчас не спит, беспокоится о сыне. Ничего, завтра утром, как приеду, отправлю прямо с вокзала телеграмму, чтоб не волновалась.

Наконец поезд, будто нехотя, тронулся. Сашка обеспокоился: что-то часто он останавливается, не опоздал бы завтра, а то неудобно получится: дядя Костя старенький, придёт встречать, а тут ждать надо... Если придёт, конечно... Хоть бы пришёл!

От этих мыслей его вдруг отвлék жаркий шёпот, доносящийся с верхней полки напротив. Эти двое сели, а вернее, легли, когда он спал. В темноте Сашка почти ничего не видел, но чувствовал – там что-то происходит. Непонятно только – что? По соседству, на расстоянии вытянутой руки кто-то шебуршился, чмокал и постанывал. Что это они там делают? Неужели вот так, среди людей, можно *этим* заниматься?.. Сашку бросило в жар. Нет, какой он испорченный, тут наверняка что-то другое! Он, видимо, опять что-то не понял. Ну, и мысли у него в голове!

Между тем, то ли полагаясь на то, что в вагоне ночью все спят, то ли просто не в силах сдерживать себя, парочка вела себя всё более откровенно. Наконец угомонилась.

Осторожно, чтобы не выдать своего присутствия, Сашка повернулся на другой бок и в свете редких мелькающих фонарей с трудом рассмотрел нарушителей спокойствия. На подушке лицом к лицу, перемешав молодые гривы, лежали двое. Хотя в вагоне августовской ночью было душно, эти сцепились друг с другом так крепко, что если бы один из них стал падать с полки, другой неминуемо бы полетел вместе с ним. Впрочем, вряд ли им это грозило. Молодые люди были так молоды и худы – просто подростки! – что места для них было предостаточно.

Сашка был в недоумении: что это такое было? Может, ему показалось? А если нет? Тогда как они утром посмотрят людям в глаза? Определённо, этому должно быть какое-то объяснение. Только поймёт ли он его – вот вопрос!

Сон не шёл к нему. Впрочем, кажется, не только к нему. Внизу, прямо под ним, кто-то тихо разговаривал, то переходя на едва слышный шелест, то срываясь на взволнованный свист. Судя по всхлипываньям и сморканьям, это были женщины. Что-то им мешало заснуть. Между тем состав по заведённой ночной привычке, даже не успев набрать скорости, вновь дёрнулся, лягнул и остановился. В наступившей тишине Сашка невольно подслушал обрывок чужого разговора:

– ...Они все теперь наглые! Эгоисты. И Ритка моя такая же. Знаешь, она меня использует...

– Да отстань ты! Что с тебя взять? Нищета школьная! Придумаешь тоже!

– Вот всё и взяла. А когда нечего стало брать, и думать забыла. Даже не звонит!

– Так некогда – работает, замужем, ребёнок...

– Ну и что? Позвонить-то можно? Говорю, ненавидит она меня! Я же чувствую... Приедет раз в год в отпуск – в первый же день и разругаемся!

– Слушай, ну что ты разошлась? Успокойся! Вы же вместе ругаетесь? Не одна же она!

– Так всё не так и не ладно!

– А может, вы обе хороши штучки? Может, и ты изменилась?

– Да я на неё всю жизнь надышаться не могла... Что у меня есть-то? Ты же знаешь – ничего нет, старьё одно, рухлядь!

– Это точно. Если честно, как ты сама сейчас к Ритке своей относишься? Если по-честному...

– Скажешь тоже! Как можно к единственной дочке относиться?

– Мил, ты себя слышишь вообще?

– Так ведь мне обидно – не то сказала, не так посмотрела...

– Слушай, подруга, если бы к тебе так твоя мать цеплялась, ты бы стала ей звонить каждую неделю?

– Что ты равняешь! Тогда и телефон-то не было! Да и вообще всё было другое. Мать и не требовала никогда. Раз в месяц письмо отправишь – и хорошо.

– А может, мать у тебя умнее была? Она что, писем не ждала или не беспокоилась, не скучала? Всё то же самое!

– Всё равно другое. А теперь осталась я, как старуха у разбитого корыта. Только у той старухи старичок был добычливый, а я совсем одна.

– С ума ты, Милка, сошла! Одна! В школе тебя уважают. Родня есть. Племянница с мужем, я же помню, приезжала, когда в прошлом году, помнишь, в больницу ты попала. И меня ты не считаешь?

– Плохо...

В этот момент поезд всё-таки надумал двигаться и будто нехотя дёрнулся. Вскоре его колёса стали выстукивать свой обычный дорожный ритм, почти напрочь заглушив этот ночной разговор. Через некоторое время со вздохами и словами: «Утро вечера мудренее» – улеглись и женщины.

А Сашка ещё долго не мог заснуть. Ворочался, сбивая постель, и никак не мог понять, почему это самые родные люди причиняют такую боль? Почему не жалеют друг друга? И как эта дочь, эта неведомая Ритка, сможет жить дальше, если, не дай Бог, конечно, с матерью что-нибудь случится? И что вообще может быть драгоценнее матери? Тут опять его ошпарила мысль о том, что и он – хорош субчик! – пожертвовал материнским спокойствием, а значит, её здоровьем, а потому, может быть, и жизнью ради своего каприза. Чем он лучше той Ритки? Права женщина, все дети – эгоисты! Господи, хоть бы обошлось! Вот беда-то!

Сашку разбудило жаркое южное солнце. Кто-то поднял тяжёлую занавеску, и яркий свет бесцеремонно врзался ему прямо в глаза, отчего они раскрылись почти помимо его воли. Лёжа с открытыми глазами, он потихоньку приходил в себя под ровный стук колёс и уютный перезвон чайных ложек в стаканах. Внизу кто-то чаёвничал. Ему вдруг тоже захотелось пить. А который час? Почти десять. В двенадцать тридцать поезд прибывает в Заволжск, если не опоздает, конечно, а то ночью, кажется, больше стоял, чем ехал.

Он спустился со своей верхней полки, с удовольствием разминая затёкшие конечности. Поздоровался с двумя пожилыми женщинами, которые дружно пили чай с пирожками (и вправду – утро вечера мудренее!), и отправился приводить себя в порядок. Через некоторое время Сашка под косы-

ми взглядами проводницы (жалко, что ли?) набрал бокал кипятка и присел с краешку стола утолить жажду.

– Что это ты, милый, пустой кипяток-то гоняешь? – спохватились его соседки. – Вот бери чайный пакетик. У нас много. А то, может, кофе хочешь? Утощайся пирожками, не стесняйся! Тут с капустой, а эти – сладкие. Какие любишь?

– С капустой, – ответил Сашка, протягивая руку за румяным пирожком.

– Ну, давай знакомиться. Я – Елена Степановна. А это – Людмила Петровна. А тебя как?

– Саша. А вы угощайтесь моим вареньем. Яблочное, – предложил Сашка, подвигая женщинам баночку с домашним вареньем.

– Сам, что ли, варил? – не поверили спутницы.

– Вместе с мамой.

– Молодец какой! Вкусно! – одобрила одна из них. – Мил, попробуй! У меня совсем по-другому получается.

Мила попробовала и тоже похвалила:

– А как вы его варите?

Пока Сашка бесхитростно раскрывал все секреты приготовления яблочных долек в собственном соку, сверху свесились две пары босых ног.

– Опа! – сказала Мила. – Доброе утро, товарищи!

«Товарищей» смутить было трудно. Они что-то пробормотали в ответ и обрушились со своего лежбища. Под пристальными, специфически учительскими взглядами два худых лохматых существа ретировались в туалет, а потом ещё куда-то. Во всяком случае, Сашка больше их не видел. Соседки о своих ночных наблюдениях тоже помалкивали. Как молчали они и на тему «дочки-матери». Говорили о домашнем консервировании, всё более удивляясь Сашкиной осведомлённости в этом вопросе. За чаем и разговорами незаметно прибыли в Заволжск. Сашка распрощался со своими спутницами и, похватав вещи, выпрыгнул на перрон.

ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ. ВСТРЕЧИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Было жарко. В глаза било яркое солнце. Народу на перроне было много. Все суетились и гомонили. От резкого света и громких звуков у Сашки опять закружилась голова. Он даже слегка струхнул – это коловращение было ему слишком хорошо знакомо. Но вдруг из бешеного вальса он был извлечён сильной рукой какого-то странно знакомого человека. Этот высокий седоватый мужчина подошёл к нему и без лишних слов вывел на привокзальную площадь, где возле какого-то памятника стояла новенькая «Ока» – как позже выяснилось, подарок местного правительства ветерану дяде Косте к юбилею Победы.

Мужчина был неразговорчив, сообщил только, что дед (так он звал дядю Костю) сегодня нездоров и ждёт Сашу дома. Довольно скоро они подружили к унылой пятиэтажке, в одной из окон которой на первом этаже мелькнуло чьё-то лицо.

– Ждёт, не лежит... – кивнул встречающий.

– Извините, я забыл узнать ваше имя, – спохватился Сашка.

– Узнаешь ещё... – буркнул мужчина и повёл его в квартиру.

В темноте маленькой прихожей Сашка с трудом рассмотрел сутулого старика, который сдержанно похлопал его по плечу и пригласил в комнату. Комната была заставлена старыми вещами, пропахшими лекарствами, пылью и одиночеством.

Дядя Костя выглядел так, как выглядят заброшенные старики восьмидесяти лет – бледный, немощный, с ввалившимися глазами и седыми космами. Между тем с первого взгляда было видно, что старые привычки в нём сидят крепко. В прежней жизни он был каким-то начальником и до сих пор сохранил и командирский тон, и понимание того, что людям он нужен больше, чем они ему.

На Сашку смотрел с интересом.

– Хозяйка моя ушла, осенью пять лет будет. Один веду хозяйство, вот Павел объявился, помогает иногда...

– А куда ушла хозяйка? – не понял Сашка.

– На тот свет, голубчик! – хмыкнул тот, кого дядя Костя назвал Павлом. – Куда ещё старики уходят?

– Мой отец тоже ушёл... правда, на работу... но тоже не вернулся.

– Да уж... – пробурчал дядя Костя. – В жизни всякое бывает. Молодые иногда возвращаются, если не померли, конечно!

Он похлопал по спине заробевшего Сашку.

– А ты давай располагайся, не стесняйся! Родные люди должны родниться! Кушать хочешь? Я, Сашок, тебе ванну набрал, кастрюлями грел и таскал, мойся быстрее, а то остынет – у нас всё лето горячей воды нет, вот ведь беда какая!

Пока Сашка смывал с себя дорожную грязь, дядя Костя с племянником накрывали на стол, о чём-то приглушённо переговариваясь. Когда вымытый и переодетый Сашка появился в комнате, там был только хозяин.

– А где дядя Павел?

– Дядя, – хмыкнул дед. – Придёт ещё, в своё время... А пока давай-ка к столу, уж больно ты худ! Откормлю тебя тут немного. А ты мне о вашей жизни расскажешь. Как будете...

– А мы не бедуем. Мы с мамой хорошо живём.

Сашка уписывал за обе щеки жареную картошку с луком, не забывая цеплять на вилку удивительно сладкие, сочные помидоры. Таких он в своём городе никогда не ел!

– Нравится? Что значит – на солнце вызрели, не то что у вас – в валенках созревают! Знаю я! Налегай на витамины, у нас, на югах, овощи и фрукты – язык проглотишь! А в августе ничего не стоят! Рюмочку выпьешь?

Сашка помотал головой.

– А я выпью. Впереди у нас разговор почище мексиканского сериала, едрёна вошь, приготовиться надо.

Сашка не всё понимал, а потому просто с аппетитом ел, поглядывая на дядю Костю.

– Ты уж, поди, на деушек заглядываешься? Пора-а-а! Сколько тебе? – поинтересовался раскрасневшийся после водочки старичок.

– Скоро девятнадцать. А про деушек... Я-то интересуюсь, да что толку?

– Это почему же? – не понял дедушка, который, судя по сохранившимся боевым повадкам, в этом вопросе хорошо разбирался.

– Дел много, времени не хватает. Да и болею.

– Ну, паря, на больного ты не похож. Эти бабы кого хошь в больного запишут. Моя вон тоже меня всё лечила. А где она? И где я? Вот и соображай! Слушай их и дели на шашнадцать! Времени у тебя здесь – завались!

Такой красавец! Наша порода! Найдём тебе невесту! – заверил он твёрдо, как о решённом деле. – Эх, года не те! А то бы составил тебе компанию! Я не пропускал...

– Правда? А как? – заинтересовался раскрасневшийся от вкусной еды и интересного разговора Сашка.

– Как природа велит! Ты же мужик, Сашок! Красавец! Что за вопросы! Пойдёшь на проспект и выберешь, какая глянется! Наша порода не знает отказу!

– Так просто? – не поверил Сашка.

– А чего тут сложного? Дело молодое! Вот отдохнёшь с дороги – и вперёд! У нас этого добра хоть носом ешь! А пока – мёртвый час. Днём у меня железный отдых, ты либо сам спи, либо мне не мешай!

– Договорились.

– А коли так – разбирай диван и на боковую! Посуду потом уберём.

Сашка неожиданно быстро уснул и проспал почти три часа. Когда проснулся, дядя Костя уже сидел на кухне с газетой, а посуда чистой горкой громоздилась рядом.

– Ну, слава Богу, проснулся, а то я уже думал, ты на ночь пошёл. Что, в дороге-то не спал, что ли?

– Наоборот – всё время почти спал. И не знаю, что случилось. Я дома редко днём сплю, только когда болею.

Дядя Костя стал собирать на стол, махнув между делом ещё пару стопочек.

– У меня спокойно, вот ты и разоспался. Давай-ка, Сашок, чай гонять!

Пока они чаёвничали, за окном совсем стемнело.

– Ну что? Готов? Иди и без подружки не приходи! – сурово напутствовал его дядя Костя, который, судя по всему, взбодрился чересчур. – Деньги-то есть?

– Есть.

– Ну и кути давай! Не думай об этих вонючих бумажках! Прорвёмся!

В обычной жизни в тёмное время Сашка на улицу никогда не выходил. Мама не отпускала. Но то в обычной жизни! Да и дядю Костю надо слушаться, он ведь знает, о чём говорит! Значит, надо идти и знакомиться. И Сашка пошёл.

Дядя Костя был прав – красивых девушек в Заволжске было действительно много. Город располагался вдоль Волги, повторяя её изгибы. Главная улица, которую дядя называл проспектом, была как основное русло, в которое отовсюду впадали речки улочек и ручейки переулков. Если никуда не сворачивать, а передвигаться, не упуская из виду этот самый проспект, то заблудиться в городе было практически невозможно. Даже Сашке, который вообще-то ориентировался не очень. К тому же сегодня он, определённо, был не в себе. Нет, он чувствовал себя хорошо, просто, видимо, предчувствие скорого счастья, о котором уверенно говорил дядя Костя, так взволновало его, что он вёл себя чуть более раскованно, чем обычно – шёл, размахивая руками, не прятал глаз от прохожих, в том числе и от девушек. И что странно – они тоже обращали на него внимание. Дядя Костя был прав. Сегодня он действительно найдёт себе подругу! И опять-таки, всё не так страшно, как говорила мама, – вот идёт он один по незнакомому ночному городу и чувствует себя прекрасно! Более того, грудь распирает не только отвага, но и предчувствие какого-то удивительного начала, новой страницы в его жизни. Он любовался этим в общем-то ничем не примечательным районным городком, приписывая ему и его обитателям самые редкие качества.

Молодёжь между тем кучковалась малыми группами – человек по пять-семь. Парни и девушки, видимо, по какой-то местной привычке сидели с ногами на скамейках, с дежурной бутылкой пива в руках и непременной сигаретой в зубах. Подойти к такой компании даже новому Сашке было затруднительно. Поэтому он стал приглядываться к одиноким девушкам, которых здесь тоже было немало. Время от времени они подходили к тормозящим машинам, видимо, пытаясь снять частное такси. У некоторых это получалось, они садились и уезжали, но не все. У кого денег было поменьше, поговорив, возвращались на старое место, наверно, пасуя перед непомерно заломленной ценой. Сашка был возмущён алчностью местных водителей. Да будь он на их месте, бесплатно повёз бы таких красавиц, да ещё и счастлив был! Особенно вот эту, рыженькую, в короткой кожаной юбке. Он уже минут десять за ней наблюдает, а она всё никак не может уехать, всё возвращается и возвращается к обочине.

– Эй, парень, любви хочешь? – вдруг поинтересовалась эта рыжая простуженным голосом.

Он был изумлён её красотой и пронизательностью. И честно признался:

– Да. А как вы догадались?

– Я такая... догадливая. У тебя деньги есть, герой-любовник?

– Вам на дорогу? Конечно, я дам.

– На какую, блин, дорогу? – не поняла красотка.

– Ну, не знаю, домой, наверно.

– Ну, давай. На дорогу так на дорогу... А сколько дашь?

Сашка вспомнил, как дядя Костя назвал деньги «вонючими бумажками» и посоветовал презирать их.

– А сколько надо? Я ваших цен не знаю.

– У нас, как и везде, чем больше – тем лучше! Сколько при себе?

– Все. Тысячи две с чем-то...

– Не густо... Пошли, красавец, знакомиться будем.

– Куда – пошли?

– Ко мне. Посидим...

Девушка махнула какой-то машине на обочине. Та подъехала, дверь распахнулась. За рулём сидел парень в кепке, надвинутой на самые глаза. Она пригласила Сашку:

– Садись, не бойся.

– Я и не боюсь. А вы далеко живёте?

– Не очень.

В машине было темно и тесно, сильно пахло табаком, на заднем сиденье прямо в уши из колонок бухала громкая музыка. Сашке стало не по себе. Девушка на переднем сиденье о чём-то тихо переговаривалась с водителем. На него они, казалось, не обращали внимания. Машина неслась довольно быстро, вот уже и город, судя по огням, остался позади.

Вскоре машина притормозила у обочины. Шофёр обернулся и, не разлепляя губ, процедил:

– Ну что, сам деньги отдашь или отвесить по кумполу?

– Зачем вы так? – обиделся Сашка.

От такого поворота событий у него засосало под ложечкой. Перед глазами вдруг всё поплыло – обивка машины, рыжие волосы девушки, кепка шофёра. Чувствуя неладное, Сашка забеспокоился, ему надо было вытянуть-ся, нужен был свежий воздух. Срывающимся голосом попросил:

– Надо выйти. Нехорошо мне.

– Сейчас выйдешь. Что за дела?

Парень за рулём вдруг резко на него замахнулся. Но ударить не успел. Малахольный пассажир неожиданно издал такой дикий вопль, что кровь у всех застыла в жилах, потом он резко дёрнулся и забился в неудержимых конвульсиях, изо всех сил колотясь башкой о дверцу. Зрелище было то ещё! Парень и девица, не ожидая такого поворота событий, с матом повывискивали из машины. Через некоторое время, обнаружив, что парень затих, решили проверить, что там, в машине, и, приоткрыв дверцу, нашли пассажира вытянутым на сиденье со странным, перекошенным судорогой лицом. Вокруг рта у него пузырилась кровавая пена.

Они с трудом выволокли из машины окаменевшего Сашку, не забыв предварительно обчистить его карманы, и умчались в город, оставив парня на краю заброшенного поля.

...Очнулся Сашка только утром. Он долго не мог понять, не только где он, но и – кто он? Он лежал в траве и вначале довольно долго водил глазами по сторонам. Это было утомительным занятием, потому что всё вокруг не имело чётких границ и сливалось в одном муторном кружении, уносящем в беспамятство.

Очнувшись вновь, Сашка обнаружил, что хоть бешеный вальс внутри и не утихает, но в нём самом проклюнулось желание остановить эту карусель. Однако ничего не получалось. Каждый предмет по-прежнему был зыбким и неуловимым. Опять потребовалась передышка.

Через некоторое время Сашка почувствовал, что надо попробовать сосредоточиться на чём-то одном, зацепиться за что-то надёжное, и принялся делать то, что в его положении было делать легче всего – смотреть в небо.

Это был верный ход. Небо, несмотря на всю свою призрачную лёгкость, оказалось величиной постоянной. Оно было, как на детском рисунке, высоким и синим. Однако вскоре от этой синевы у Сашки начало резать глаза, и он снова закрыл их.

Когда же он вновь вернулся к небу, то обнаружил, что по нему теперь разлетелись нежные акварельки облаков, приглушая прежнюю пронзительную синь. Причём выяснилось, что облачка эти перемещаются плавно и неторопливо, совсем не страшно, будто подгоняемые каким-то не слышимым на земле ласковым вальсом. Это был тихий вальсок, а не прежняя бешеная карусель.

Его мягко кружило, то приближая к реальности, то относя от неё. Нет, сообразил Сашка, небо ему сейчас не помощник! Так незаметно можно отлететь незнамо куда!

Он перевёл взгляд на высохшую, потрескавшуюся землю и поначалу ничего, кроме пожухлой травы, не заметил. Однако, приглядевшись, обнаружил, что уже давно вовлечён в бойкую жизнь полевых насекомых. Муравьи, пауки и букашки хлопотливо преодолевали его тело как могучую преграду, не задаваясь вопросом о её происхождении. Они деловито карабкались по его рукам и ногам, безрассудно забирались в сандалии, рискованно путались в волосах. Определённо, эти трудяги вряд ли помогут ему, просто не будут тратить на него своё драгоценное время.

Как это мама говорила? Рассчитывай на себя, сынок! Вот – мама! МАМА! А где же она? И что я тут делаю?

Ход был верным. *Мама* оказалась тем сигналом, что приостановил его выморочный дрейф и подтолкнул к действию. Вот только к каким?

Сашка наморщил лоб. Что-то больно стянуло кожу. Он что, поранился? Захотелось воды – напиться и освежиться. Но где её взять? Мама всегда говорила: если сам не справляешься – не бойся обращаться за помощью к людям. Ну что ж, решил Сашка, надо искать людей и воду.

Решил – и, утомившись, вновь забылся. Когда снова прояснело в голове, обнаружил, что мир вокруг стал почётче. Теперь он улавливал какие-то летящие звуки. Не сразу догадался, что, видимо, рядом проходит трасса.

С трудом поднявшись на ватных ногах, раскачиваясь из стороны в сторону, Сашка двинулся к дороге. Собственно, до дороги было несколько шагов. Однако передвинуть ноги и, самое главное, удержать себя на них оказалось совсем непросто. Небо вдруг перестало быть надёжным ориентиром и так и норовило со всего маху шлёпнуться на землю!

Стараясь удерживать равновесие, Сашка с трудом выбрался на дорогу. Дурнота не отступала. Очень хотелось пить. Ноги не держали. Скоро как подкошенный он рухнул на обочину.

Редкие машины проносились мимо, они не только не останавливались, но даже сильнее газовали при виде этой странной фигуры. Выглядел Сашка действительно ужасно. Парадный костюм его был весь в крови, пыли и репейниках. Волосы из-за слипшейся крови торчали в разные стороны. Лицо было чем-то наподобие маски – кровавый ручеёк на лбу засох и сильно стянул кожу в верхней части лица, к подбородку прилипла засохшая пена, а прикушенный язык так сильно распух, что не помещался меж зубов.

Просидев некоторое время на обочине, Сашка подкопил силы, вновь поднялся и побрёл, раскачиваясь, вдоль дороги. Водители гневно сигналили спятившему бомжу, сующемуся под колёса.

Скоро Сашка опять изнемог, пот ручьями стекал по лицу и спине, сильно болела голова. Он свернул в придорожные посадки и укрылся в тени дикой смородины. Он не знал, сколько проспал и было ли это забытьё сном, но когда открыл глаза, то почувствовал, что сил определённо прибавилось. А главное, начинало яснеть в голове.

Память потихоньку возвращалась к нему. Сашка вдруг понял, что он не дома, вспомнил железную дорогу и что он куда-то и зачем-то ехал. Ни названия города, ни цели поездки он припомнить не мог. Зато неожиданно как молния мелькнула мысль, которая буквально подкинула его на месте: *он не отправил маме телеграмму!* Должен был и не отправил!

Сашка бросился к дороге. На самом деле никуда он не «бросился», а хаотично поплёлся, стараясь совладать с непослушными ногами и опять рискуя угодить под колёса. На его счастье, мимо проезжала скорая помощь, которая и прихватила готового пациента, доставив его в местную больницу.

Там его на следующий день и отыскал дядя Костя, который поставил на ноги все городские службы. Старик уже сто раз пожалел, что задумал это гостеванье, ему не по возрасту и не по здоровью такие встряски. Одним словом, как только через неделю Сашка более или менее оклемался, дядя вручил ему билет на поезд и велел передавать привет матери его Марии.

Дядю Павла Сашка больше не видел. А ведь, собственно, ради него и задумал дядя Костя этот вояж. Он планировал открыть глаза Сашке, конечно же, ни на какого не на дядю, а на отца его, Павла, который в трудные времена предательски слинял от смиренницы-жены с больным ребёнком на руках и растворился в необъятных просторах родины после того, как узнал, что болезнь у сына – серьёзная, а Мария наотрез отказалась отдавать ребёнка в специальный интернат. Время было тяжёлое, денег на железной дороге платили мало, а возвращаться в дом, где ждали его два беспомощных существа, поэту-путейцу становилось всё труднее. И однажды он просто не вернулся. Бежал, ретировался, капитулировал. Работал буровиком в Западной Сибири, ловил рыбу на Дальнем Востоке. Стихов он больше не писал, новой семьи не завёл, ничего не заработал – ни квартиры, ни дома,

мотался по общежитиям и съёмным углам, единственное, чем обзавёлся, – подержанной «пятёркой». Вот почему, когда в стране начались юбилейные мероприятия к 60-летию Победы, вспомнил он о своём родном дяде Косте из Заволжска, а вернее – о его наследстве. Дядя Костя был заслуженным ветераном, с квартирой и деньгами, а Павел – его единственным кровным родственником, не считая Сашки, конечно.

Дядя Костя презирал племянника за малодушие и предательство, был не в восторге от его появления, не хотел ничего ему оставлять и вообще помирать не собирался. Между тем дядя Костя был стар и нуждался в уходе. И, как все стареющие и слабеющие люди, стал он проявлять чудеса хитрости и изворотливости. Он на полную катушку использовал Павла, что не помешало ему организовать приезд Сашки и запланировать его встречу с беглым отцом. Дядя Костя постоянно намекал Павлу, что с наследством возможны варианты, что в случае чего он всё завещает несчастному ребёнку, если тот не полный идиот, конечно!

Ничего из задуманного дядя Костя выполнить не сумел. Случилась беда с Сашкой, а потом, глядя в его ясные глаза, дядя просто не смог сказать ему всё, что планировал. Простодушие Сашки было безгранично, его не поколебало даже имя «дяди» – Павел. Бог с ними со всеми, пусть живут как жили, – решил ветеран, который и сам всё больше нуждался в Павловой поддержке. А далёкие Сашка и его мать определённо были ему не помощники.

ЭПИЗОД ПЯТЫЙ. ДОМОЙ

Обратная дорога была совсем другой. Ехал Сашка опять на верхней полке, правда, постель он на этот раз взял – не было сил объясняться с проводником – мрачным, заспанным мужиком. К тому же и деньги у него были – дядя Костя вручил ему конверт с пятью тысячами рублей.

Как всегда после припадка, Сашка был рассеян, часто засыпал и видел какие-то странные сны. То рыжая девица, хохоча, тащила его по полю, а у него не было сил сопротивляться ей. То дядя Костя что-то терпеливо объяснял ему, а он не понимал ни слова. То дядя Павел принимался подкидывать его вверх, как маленького ребёнка. Сашка смеялся, но боялся – глаза у дяди были какие-то странные. Почти во всех снах присутствовала мама, она будто со стороны смотрела на него и грустно качала головой.

Сашка сильно тревожился о ней. Он хорошо помнил мамин наказ о том, что плохие мысли надо гнать, что наши страхи притягивают несчастья. Но ничего с собой поделать не мог. Два дня и две ночи он напряжённо думал о том, что же, собственно, произошло? И стоило ли его знакомство с жизнью таких жертв? Да, он захотел и поехал. Оторвался, как лист, и, подхваченный холодным ветром, чуток покружил над землёй. И понял столько же, сколько бы понял тот самый лист. Да, он познакомился с дядей – но до полусмерти перепугал его. Посмотрел в дороге на разных людей – и что же узнал? Что все люди разные и разобраться в них непросто? А что, разве раньше он этого не знал? Вот ведь открытие, в самом деле, и ради него он рисковал здоровьем матери!

Чем больше он об этом думал, тем чудовищней казалось ему его выходка. Сашка молил Бога, чтобы с мамой ничего не случилось. Он боялся себе представить, что могло с ней произойти за эти дни волнений и тревог,

когда даже небольшое его опоздание с работы вызывало у неё бурю переживаний.

И вот в один из таких невыносимо острых моментов он вдруг со всей очевидностью понял, зачем ему нужна была эта поездка: мало просто любить. Надо жизнь дорогого человека беспрестанно беречь. Именно так и поступала его мать. И ему следовало думать не о каких-то неведомых открытиях, а о спокойствии родного человека. Оказывается, это совсем не просто, потому что человека всё время что-нибудь искушает. А результат искушения – вот оно, раскаяние! Ах, как стыдно, как жжёт внутри!

Задолго до своей остановки Сашка выбрался с вещами в тамбур – ни лежать, ни сидеть он уже не мог. Поезд подходил к станции мучительно долго. Наконец остановился. На ватных ногах Сашка спрыгнул на пасмурный перрон. Его никто не встречал. Он стоял, не в силах сделать ни шага. Казалось, все дурные предчувствия ожили и веригами повисли на его ногах. В голове билось одно: «Опоздал! Беда! Доездили!»

Вдруг его окликнул знакомый голос:

– Прибыл, лягушка-путешественник?

Сашка закрутил головой и увидел... Палыча! Тот быстрым шагом направлялся прямоком к Сашке.

– Опаздывашь, едрёна матрёшка! А я, понимаешь, за тобой.

– А где мама? – похолодевшими губами прошелестел Сашка.

Палыч, между тем, не был похож на гонца с дурными вестями. Он, подхватив Сашкин чемодан, бодро доложил:

– Она и прислала. Дома ждёт. Задал ты ей перцу. Еле выходил её. Потом расскажу. Да не бойсь, всё в порядке, я же в медицине разбираюсь. Пошли, я на машине.

– Что с мамой? – не мог взять в толк Сашка.

– Да говорю же, всё в порядке, болеет, – успокоил Палыч.

– А почему она не пришла? – как сомнамбула бормотал прибывший.

– Да ты слышишь меня, что ли, али как? – осерчал встречающий. – Говорю, дома она, а я тебя сейчас со всеми удобствами к ней и доставлю. На своей машине.

– На той самой? – зачем-то решил уточнить Сашка, который постепенно приходил в себя.

– На ней. Ну, как съездил-скатался, друг ситный?

Сашка неопределённо пожал плечами.

– Вот и я говорю: в гостях хорошо, а без гостей лучше. Мать у тебя, Сашка, скажу как на духу, – редкий екзеньпрял. Будешь расстраивать – убью самолично!

– Что это вы раскомандовались? – удивился вдруг Сашка.

– Потому как – проникся!

Они вышли на привокзальную площадь. Только теперь Сашка огляделся по сторонам и обнаружил, что за время его отсутствия в родном городе многое поменялось, будто прошла не пара недель, а по меньшей мере пара месяцев. Было прохладно, сеял мелкий дождь, деревья сменили пыльную зелень на золотое убранство. Поменялось время года. Дома стояла осень. Спокойная и торжественная. Только теперь, под уютный говорок Палыча Сашка перевёл дух. Кажется, обошлось. Ну, всё! Дома!



**Иван
ПЕЧАВИН**

ОТЧИЙ ДОМ

Памяти Михаила Муллина

Стыд ли, срам ли души наши точит,
Или это русская хандра
Чёрной кошкой заскребётся ночью
И терзает душу до утра?

А пока что жизнь даёт нам фору.
Краток путь, но души-пустыри
То чадят, как глупые моторы,
То горят, как в полдень фонари.

Кто же так судьбою нашей вертит?
Мы не догадаемся вовек.
Тяжко жить нам в чёрно-белом свете
Без царя и Бога в голове.

То звездами бредим, то крестами.
Оглянись: увидишь в срезе лет,
Как шумит пожухлыми листьями
Дерево ушедшему вослед.

Как в изломе рук и корчах тела
Женщина из прошлого глядит.
Вся она, как ветер, поседела.
Вся она туманами пылит.

Не с того ли день горит углями
И клубятся зноем зеленыя?
Срок придёт. Мы уплывём полями
Дымом от вселенского огня.

-
- Иван Петрович Печавин родился в 1942 году в Баку. Детство и юность прошли на Урале. Окончил филологический факультет Балашовского педагогического института. Работал учителем русского языка и литературы. Публиковался в журналах «Аврора», «Нева», «Волга», «Волга—XXI век». Автор книг «Мой посёлок», «Слушаю степь», «От Джиды до Волги», «Яблокопад», «Северные картинки» и др. Член Союза писателей России. Живёт в селе Любимово Советского района Саратовской области.

ОПОРА

Белым-белы осыпались, слетели
Цветы, томя щемящей белизной.
В их шорохе, в шумящей их метели
Прощанье с уходящею весной.

С чего ж туман лёг к моему порогу?
Он сердце жжёт и леденит с чего?
Когда слетали лепестки, с тревогой
Услышал слово, что черным-черно.

В такие дни и петь, и плакать впору.
В даль вглядываясь, вслушиваясь в звон,
Я всё-таки почувствую опору
Родной земли, которую рождён.

Царит азарт в толпе, как в тире.
В каком расхристанном году,
Чужой и лишний в этом мире,
Я, как и молодость, уйду?

Уйду просёлком, косогором,
Зелёным полем впереди.
И ты, любимая, с укором
Мне вслед, прощаясь, не гляди.

Моя любимая, усталость
В твоих глазах не оттого ль,
Что приносить хотел я радость,
А причинял одну лишь боль?

Какая светит нам погода?
Какой намечен разворот?
Я думал, что обрёл свободу,
А вышло всё наоборот.

Я думал, что умом и делом
Смогу принять грехи отцов.
Но сник душой и высох телом.
Взял посох свой – и был таков.

Я отродясь бежал столь шибко,
С собой и с властью не в ладу,
Я сделал множество ошибок,
Готовясь к Божьему суду.

И вот пришёл тот суд Всевышний
В доспехах правды и огня.
И ты, любимая, увидишь
Лжецов, что предали меня.

ПРАЗДНИК В СЕЛЕ

Всё чинно и ладно, солидно и в полном порядке –
Столы тяжелы от душистой и сытной еды.
Здесь мало чего с магазинного встретишь прилавка.
Всё больше свои громоздятся на блюдах плоды.

Хозяин побрит. И одет непривычно в обновку,
Немного смущён и с гостями особенно мил.
Мужчинам полней наливает прохладную водку
И женщинам сладкой настойки налить не забыл.

Вот кто-то запел. На селе земледельческий праздник.
Пустынны поля. Элеваторы холят зерно.
И ветер ометы бодает телком несуразно,
И гнёт деревца, и стучится знакомо в окно.

Мужские басы раздаются всё громче и громче.
И женские мягко вливаются в лад голоса.
Примокли детишки, укромный обжив уголок,
Полны любопытства их жадные к жизни глаза.

Вот песню сменяет игривая русская пляска.
Стучат каблучки. Гармонист раскалён добела.
И павой плывёт, будто вышла из дедовской сказки,
Мария Ивановна – знатный механик села.

А в ночь над деревней, как часто бывает над Русью,
Большая Медведица вновь охраняет поля.
Вот праздник прошёл. И наполнился тихой грустью
На дальней окраине колодезный скрип журавля.

ЛИСТОПАД

Осенний лес врачует тишина.
И звон стволов речист и многозначен,
И воздух, как вода в ручье, прозрачен,
И день высок, как тонкая сосна.

Щекой горячей к дереву прижмусь,
И влажная кора остудит кожу.
Между ветвей метнётся знаком плюс
Какая-то пичуга. И не гложет

Остывший ствол стервятник-короед.
Свернулись и попрятались личинки.
Отстукал дятел пышные поминки
По ним, оставив на осине след.

С берёзы облетевшая листва –
Она лежит как юбка из сатина.
Пустынный берег, жухлая трава,
И воздух чист, как после карантина.

В природе увядания пора.
И здесь, в тайге, и с тополей Заволжья
Летит кругами лист осенний, схожий
С полётом журавлиного пера.

Пора и мне бы, переступив рубеж
Мальчишества, попристальной взглядеться:
Не гложет ли живая ветка сердца
Под бременем дорог, тревог, надежд?

Пора и мне бы подвести черту
Под всем, чему я отдал эти годы:
Служил ли честно своему народу
Иль только тешил праздную мечту?

Пора... Пора... Замшелый лик болот
Подёрнут чернью ледяной водицы.
Стихает день. А мне идти вперёд,
Чтоб срезать путь и всё ж не оступиться.

В. Евсейчеву

Ты не спеши захлопнуть ставни
За стайей серых журавлей.
Ещё душа не перестала
Жить ожиданьем лучших дней.

И не исчерпаны глубины
Любви к родимой стороне,
Где нам с тобой посередине
Стареть в малиновом огне.

Будет солнышко вовсю палить.
Будет падать снег и снова таять.
Важно на земле не наследить.
Важно хоть какой-то след оставить...

Люблю косить траву широким взмахом
Над лоном речки по крутым буграм.
Из-под косы вспорхнёт в испуге птаха,
Когда роса стекает по ногам.

Пырей и донник, клевер и осока,
И крупными соцветьями кипрей,
Прощаясь с речкой, падают на солнце,
Чтоб молоком пролиться в январе.

Я вытру пот с оржавленной литовки
И осилком железо наточу.
И вдруг пойму, что нет былой сноровки
И многое теперь не по плечу.

И всё-таки терзать себя не стану.
Что было – отболело и прошло.
Коси, коса, пока трава в тумане,
Пока от дум тяжёлых руки не свело.

ОТЧИЙ ДОМ

Привет тебе, мой отчий дом,
Уют родительского крова!
Я часто думаю о том,
Что возвращает в детство снова.

Где выгорает на корню
Высокий тополь, с ветром споря,
Где я колени преклоню
В дни свадеб и людского горя.

Где катит время не спеша,
И радость, и утраты чуя.
Твоя пречистая душа
Меня и судит, и врачует.

Искал я правду для судьбы.
И что со мною нынче случилось?
Враз постарел – такая жалость,
Стал я колюч, как чернобыл.

Я вижу сны про отчий дом,
Жизнь без него проходит мимо.
Но даже тополь под окном
Прошелестел святое имя.

Я знаю: ждут меня всегда
Твои обветренные стены,
И никакие перемены
Не тронут моего гнезда.

Привет тебе, мой отчий дом.
Пусть я вернусь ещё не скоро –
Моя надежда и опора
За тем скрываются углом.

Привет тебе, мой отчий дом...



**Вячеслав
АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

ЗАМЕТКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Эти заметки и наблюдения сделаны мной в разные годы при различных обстоятельствах, но очевидно, что они не случайны. Сама судьба порой подталкивает к осмыслению, казалось бы, рядовых событий окружающей нас жизни. Те явления, мимо которых раньше проходил не замечая, вдруг высвечиваются, выделяются, бросаются в глаза и становятся чем-то очень важным и значимым для тебя. И такие моменты хочется осмыслить и запечатлеть для себя и для других. Думается, что многие могут вспомнить подобные ситуации. Но всё же, не претендуя на оригинальность, попытаюсь рассказать о них в своих заметках-зарисовках, которые со временем почему-то не тускнеют в моей памяти.

РОДНОЙ ГОРОД

Родной поволжский город – серый песок на улицах моего детства и патриархальная тишина. Те же сосны и распушившиеся шишки под ними. Знакомые с детства дома, посеревшие от времени, ставшие маленькими, словно игрушечными.

Постаревшая школа – вокруг высокие тополя, которые мы всем классом сажали тридцать два года тому назад, и разросшийся сплошной высокой стеной кустарник вдоль тротуара.

А люди? Знакомых лиц на улицах практически не видно. Если и встречаются, то с очень смутными, еле различимыми чертами, стёртыми временем – они едва видимы, еле-еле узнаваемы. Когда-то, где-то я встречал этих людей, но – увы и ах! – сейчас уже не помню.

Забывость и заброшенность. Тщета существования. Иных уж нет, а те...

Даже могилу друга детства на старом, давно заброшенном кладбище уже в который свой приезд не могу разыскать. Родные могилы – бабуси и отца: у него посажены цветы, а у бабушки –

● Вячеслав Николаевич Архангельский родился в 1951 году в г. Мелекесе (ныне Димитровград) Ульяновской области. Окончил отделение истории искусств Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Искусствовед. Был предпринимателем. Курировал малый и средний бизнес в администрации Екатеринбурга. Кандидат экономических наук. Публиковался в журнале «Урал», «Волга–XXI век».

вся ограда завалена прошлогодней прелой листвой вперемешку с рыжими сосновыми иголками. А рядом – полусгнивший деревянный крест её любимой няньки – они лежат за одной, сваренной из прутьев арматуры оградой.

Всё просто и уныло. Тишина и ненужность этого места подчёркивается горами мусора на заросших травой тропинках. Шумит лес над могилами, и... время неумолимо утекает, с каждым годом убыстряя свой бег.

А в мире живых – борьба за существование, за хлеб насущный. Безысходная печать убогости и сирости лежит на всём, несмотря на какие-то жалкие атрибуты цивилизации: импортные автомобили на дорогах, теле-, видео в домах, компьютеры в конторах фирм и организаций.

По утрам в маминой квартире, что на втором этаже серой панельной пятиэтажки, меня будит сумасшедший сосед за стенкой. Он очень деятелен: стук падающих на пол досок, шум и треск передвигаемой мебели, хлопающие двери, – всё свидетельствует о том, что человек занят то ли ремонтом, то ли собирается переезжать на другую квартиру. Но это не так.

Соседская дверь, выкрашенная в коричневый с подтёками цвет, раздрызана и разбита, вверху и снизу закреплена на резиновые уголки. Но самое противное – это запах, запах затхлости, плесени и псины – давно не чищенного и неухоженного жилья. Когда возвращаюсь с прогулки и звоню в свои двери, сосед реагирует значительно быстрее, хотя звонка у него нет и в помине. Дверь со скрипом приоткрывается, и в образовавшуюся щель, источая все эти «ароматы», выглядывает остроносое, всё в седовато-серой растительности лицо; мутные, как с большого перепоя глаза отрешённо блуждают по мне, и тут же дверь захлопывается...

Но мне кажется, что я когда-то видел этого постаревшего и поседевшего человека: его лицо, и глаза, и нос мне знакомы... И я начинаю вспоминать...

Так это же Герка Белоусов, мой одноклассник и товарищ, неисправимый скептик и заядлый спорщик, постоянный слушатель всяких «зарубежных голосов», первым узнававший всякие крамольные новости про аресты диссидентов и приносивший их нам в школу. А как мы с ним ожесточённо спорили о возможности существования у нас в Союзе двухпартийной политической системы – двух компартий – одной правящей и другой, находящейся в оппозиции. И это в конце шестидесятых годов. Сказалось, конечно, влияние передач «Голоса Америки», и предлагали они слепок с устройства своего же государства. Ничего более умного, да и смешного к тому же, не могли придумать ни забугорные идеологи, ни наши инакомыслящие...

И вот теперь я узнаю, что эта светлая когда-то голова отчего-то затуманилась. Потом мне рассказали, что сразу после школы Герка поступил в какой-то институт, проучился два или три года, а после у него, как это сейчас говорят, «съехала крыша» – то ли из-за пьянки, то ли просто перегорел, не рассчитав свои силёнки. С тех самых пор он живёт со своей матерью – женщиной вполне здоровой и с образованием, получает какую-то мизерную пенсию по инвалидности. А поскольку натура у него деятельная (хотя правильнее будет сказать – шевбутная), то без дела он сидеть никак не может. Кто к ним заходил, говорят, что в их однокомнатной квартире страшный бедлам: обои со стен содраны, вся мебель старая и разбитая, а спят они потому прямо на обшарпанном грязном полу, на каком-то тряпье...

Вот такие пироги с коврижками. В местной желтоватой газетке прочитал заметку о женщине, любительнице кошек, живущей в квартире, из которой семнадцать лет не убрали мусор, и потому даже тараканы все сбежали, не смогли жить в такой грязи и вони... И это тараканы-то?

И ещё одна встреча. На автовокзале, провожая своего брата, встретил Славу, соседа по дому, где мы жили раньше. Инвалид с детства, с врождённой или приобретённой болезнью, связанной с расстройством в координации движений. Говорили, что он переболел полиомиелитом, а тогда даже привок от него не делали. Смотреть на него было тяжело: ломаная, постоянно меняющаяся мимика лица, перекошенный и слюнявый рот, скрюченные и паралитически дёргающиеся пальцы рук. На первый взгляд – полный урод и дебил, но это совершенно неверный вывод.

Его я знаю давно, с самой ранней детской поры. Слава всегда отличался рассудительностью, ну а в шахматы играет просто очень здорово – я, например, выигрывал у него крайне редко, в основном побеждал он.

Мы зашли в закусочную, я заказал по сто граммов водки и какую-то немудрёную закуску. Водку налили в одноразовые пластиковые стаканчики, но мой тёзка попросил обычный гранёный стакан. Я догадался, что он просто сомнёт ненадёжную полиэтиленовую тару и не сможет нормально выпить.

В два приёма опустошив наши ёмкости, мы поговорили с ним «за жизнь». Как инвалид с детства, Слава получал пенсию в 232 рубля – это было по тогдашнему курсу не больше десяти долларов – даже на хлеб не хватит. Вот и собирает он на автовокзале пустые бутылки и жестяные банки из-под пива, сдаёт – тем и кормится. Родители у него уже старенькие, а как живут у нас пенсионеры – давно и всем известно.

Славе уже стукнуло пятьдесят, он на два года старше меня. Его знают все водители междугородных автобусов, и он всех их знает по именам. На жизнь свою он не жалуется – всё путём... Эх, Россия-матушка...

Самый младший из моих братьев подрабатывает у частника, клепающего шлакоблоки для строителей. Экономика просто потрясает: за один блок хозяин платит работнику восемь копеек, а продаёт по три с полтиной – это не прибыль, а уже сверхприбыль. Частник этот настоящий эксплуататор, стыдливо при этом жалуется на непомерные налоги, а брату, чтобы заработать 80 рублей, надо сделать тысячу шлакоблоков в смену.

Второй брат – токарь самого высокого разряда, за гроши пашет на такого же прижимистого хозяина. Выжить помогает только постоянная халтура, да и то приходится половину левого заработка отдавать мастеру – за покрытие.

Третий мой братишка держит совместно с женой зал бодибилдинга и фитнеса, а до этого работал реализатором в коммерческом киоске – продавал ночами палёную водку. И это человек, закончивший с отличием политех, преподававший в институте – «без пяти минут» кандидат технических наук.

И у всех – нехватки-недостатки, куча проблем со здоровьем. Вот и приехали мы: люди, имеющие высшее образование, хорошие специальности, не могут найти работу с достаточной зарплатой, чтобы хватило прокормить семью.

Да и у других, посмотришь, проблем не меньше. Спивается народ, глотая всякую дрянь, гибнет под машинами, в пьяных драках и бандитских разборках. Так погиб мой двоюродный брат Витька – мебельщик-краснодеревщик, мастер «золотые руки»... И кому он только мог помешать?! Ушёл утром на работу – и пропал. Рыбаки нашли его раздутое тело только по весне, когда растаял лёд на реке, – без лица и рук, так что хоронили его останки завернутыми в одеяло, а сверху положили костюм с рубашкой и ботинки...

Картина в моём родном городе получается совершенно апокалиптическая. А ещё надо добавить чудовищную ситуацию с экологией, постоянные радиационные выбросы, ужасающую заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний. Так, тринадцать лет назад умер мой отец, а теперь, похоже, умирает моя мать...

9 мая 1999 года

ИНОГДА ВОЗНИКАЮТ АССОЦИАЦИИ

Иногда возникают ассоциативные видения и всплывают фрагменты каких-то картин – и не объяснишь, откуда, с чего? Вот видится огромное «чёртовое колесо» (кстати, а почему именно «чёртовое?»), или колесо обозрения: среди ровной как стол степи – медленно вращающееся, и в кабинках, висящих всегда строго вертикально по отношению к земле, предстают люди не люди, скорее картинки – эпизоды из их жизни. Вот тут: дети и родители, а дальше – юноша и девушка, пожилая пара, военные и ещё кто-то неразличимый. Всё движется как в калейдоскопе, то и дело меняются мизансцены. Сразу у меня возникает какая-то очень яркая и оригинальная мысль-вспышка, но почти тут же она гаснет, исчезая без следа, и становится так пусто, темно и грустно, что хоть волком вой...

Порой мне кажется, что жизнь духа, мысли и вообще интеллекта затухла.

Всё поросло тиной-ряской, болотная жижа не колыхнётся даже от сильного штормового порыва ветра – такую вязкую массу можно сдвинуть только общим сотрясением или взрывом изнутри.

Недавно вычитал, как группа высоколбых учёных вывела алгоритм человеческой жизни и хронологии рода людского. У них получилось, что история как бы закончилась, а жизнь человеческая, разбитая на периоды, выглядит так: самый продуктивный период – всего 30 лет – с 15 до 45, и только половина из них (с 15 до 30) – возраст дерзаний и свершений, возраст творчества. Вторая половина жизни – это зрелость, когда индивид пожинает плоды предыдущего «творческого периода». А что же после 45? Оказывается, полный провал, хотя до старости ещё лет 25–30, есть физические силы, но отсутствуют творческий запал и потенциал, и этот период практически равен предыдущему зрелому периоду...

Так что же делать человеку в это время? Как жить? И, главное, – чем жить? Дети выросли, всё устоялось в семье и т.д. и т.п. Получается, что нечем жить, да и незачем, хотя появляются внуки – новые заботы, ну а жизнь духа – как же быть с ней?

Об этом высоколбые ничего не сказали – нечего было сказать, не знают они. То есть, по их мнению, время спрессовалось (историческое время) и изменяется уже не через эпохи, столетия, десятилетия, а ежедневно, ежедневно и уже ежеминутно. Человек не успевает следить за изменениями и вписаться в новую реальность. Он как бы выпадает из общего исторического контекста, а живёт по своему внутреннему, биологическому времени – оно и диктует ему стиль поведения, привычки.

Но такой дисбаланс и временной разрыв неминуемо отразится на прогрессе – ведь скоро пожилых людей в мире будет большинство, и они предложат человеческому сообществу свою доктрину жизни – неспешной, тщательно продуманной, просчитанной – без суеты и излишних эмоций. И, может быть, это пойдёт нам на пользу – станет меньше агрессии, жесто-

кости и насилия, голода и нищеты, а человечество наконец достигнет состояния равновесия и гармонии. И дай-то Бог, чтобы так оно и было.

12.05.02

НАБЛЮДЕНИЯ ПАССАЖИРА

Еду в трамвае, смотрю на витрины магазинов, рекламные плакаты, на цветочные часы-ежедневник, показывающие 21.06 – эти цифры выложены жёлтыми крупными бархатцами на сером фоне мелкого гравия. Любуюсь, как солнышко, по-утреннему слабенькое, ещё совсем не греющее, играет бликами на зелени шелестящих листьев лип, что растут в два ряда в сквере, тянущемся прямо посередине широкого главного проспекта нашего города. И мне хочется его назвать по-другому, по-немецки: «унтерденлинден», то есть «под липами». А липа как-никак – это дерево моего детства. Душистая, мягкая древесина, практически без сучков, всегда легко пилилась двуручной пилой, когда мы с отцом заготавливали на зиму дрова. А ещё легче – раскалывались липовые чурбачки под ударом топора: замах, удар – и ровненькое поленце отлетает в сторону...

Но не о том речь – это так, к слову пришлось. А трамвай едет дальше. Вот показался большой рекламный щит на здании, когда-то принадлежавшем киностудии, кстати, памятник архитектуры в стиле конструктивизма – типичный образец, как и гостиница напротив. С рекламы на вас смотрит бледное, заросшее пятнами серой недельной щетины лицо; какой-то вздыбленный ёжик волос на голове; но главное – глаза: почти выкатившиеся из орбит глазные яблоки выдают натуру совершенно порочную. Этот тип явно не в себе, и, что он рекламирует, обрядившись в итальянское шмотьё, непонятно. Кажется, что он чем-то одурманен, обкурился какой-то гадостью и теперь смотрит на окружающий мир совершенно отрешённым и презрительным взглядом циника и наркомана...

А вот в центре сквера на зелёной лавочке расположилась колоритная тройца бомжей с большими и грязными полиэтиленовыми пакетами у ног, набитыми какой-то ерундой: бутылками, сплюснутыми жестяными банками, листами картона, – всё это они куда-то сдают, получая сущие гроши. Но удивляет не это, а то, как тихо и чинно они раскладывают на расстеленной газетке бесплатных объявлений свой нехитрый закусон: чёрный хлеб, дешёвая ливерная колбаса; как буквально священнодействуют, бережно открывая пузырьочки «боярышника» – фунфырики. Всё идет по какому-то давно заведённому и только им одним понятному ритуалу – без суеты и дёргания. Ни ссор, ни шума, ни криков – мирно и культурно. Они живут как могут – эти «ревизоры помоек» и «санитары урн», вечные подвальные скитальцы.

Их собрат (кварталом ниже – всего через одну остановку трамвая) мирно посапывает, подложив под щеку по-детски соединённые вместе ладошки, прямо на куче прошлогодней листвы, собранной рабочими из южных республик. Ему хорошо. Он наверняка видит сон и, судя по умиротворённой физиономии, вспоминает что-то доброе и светлое: как воскресным солнечным утром мать печёт вкусные пироги – это всегда даёт человеку ощущение спокойствия, довольства и сытости. Хотя сам он сейчас почему-то спит рядом с лавкой, в каких-то трёх-четырёх метрах от грохочущих по рельсам трамваев и автомобилей, несущихся сплошным потоком, коптящих небо сизыми клубами выхлопных газов.

Чуть выше спящего бомжа на бетонных столбах висят вертикально вытянутые листы бумаги, на которых чёрным по белому указаны номера сотовых телефонов, владельцы которых предлагают определённого рода услуги, и какие – всем понятно. Это стало таким же обычным явлением, как пыль на дороге.

Опускаю голову и вижу чьи-то пальчики, высывающиеся из блестящих, чешуйчатых (под кожу крокодила) босоножек. Пальчики загорелые, с облупившимся местами розовым лаком на ногтях – сразу видно, что совсем недавно ступали по жаркому песочку турецкого или египетского пляжа.

А у нас здесь хоть и лето, но оно по-северному хмуро и неприветливо. Даже солнышко какое-то подслеповатое – светит, но не греет. Да и народец подкачал – так себе, мрачноватый и неразговорчивый. Про улыбки я вообще молчу – её нашим землякам не выдавить из себя ни под каким соусом. Правда, где-то в глубине души мы все ждём праздника, весёлого словца, живого, заразительного смеха, чтобы можно было так же непринуждённо рассмеяться в ответ доброй шутке или просто чему-то хорошему, нечаянно всплывшему в памяти.

Утром в трамваях почти не слышно разговоров, только изредка попискивают и наигрывают свои нехитрые мелодийки мобильники. Все говорят невидимым своим собеседникам примерно одно и то же: «Сейчас еду в трамвае, минут через пятнадцать буду» или «Стою в пробке и, скорее всего, опоздаю».

Параллельным курсом с нашим трамваем ползёт вереница машин, за их стёклами, как в своеобразных движущихся витринах, сидят люди, у них своя «застекольно-закопная жизнь»: кто-то курит, нервно теребя руль, кто-то говорит по телефону, а некоторые, врубив музыку по сильнее, балдеют в этой длинной, еле двигающейся очереди машин. И зачем люди мучаются, непонятно, а главное – отравляют себя и других удушливым газом сгоревшего бензина. О чём они думают? Ведь совсем скоро и дышать-то будет совершенно нечем. Пора кончать с этой безумной гонкой и всерьёз подумать о будущем своих детей и внуков, наконец. Что же останется им?

Загаженный мусором и грязью город, с отравленным воздухом и непригодной для питья водой. Ведь почему-то ушли из многих домов вечные спутники и соседи человека – тараканы? Потихоньку исчезают комары, а там, глядишь, очередь дойдёт и до птиц, питающихся разной мошкой, а там – рукой подать – до человека дело дойдёт... Грустно всё это, господа.

Убегают по трубам в канализацию тысячи тонн и кубометров питьевой воды, а что останется потомкам? И потому бомжи, не едущие на авто и прибирающие отходы, объедки, грязную тару, гораздо больше порой делают добра для горожан, чем наши коммунальные службы.

Человек должен жить на природе и в согласии с ней. Быть ближе к земле. Но, глядя, как потребительски люди относятся к своим дачным шести соткам, пытаюсь выжать из них все соки, становится не по себе. Не для-ради желудка и живота своего мы живём! Не всё же измеряется количеством собранных мешков и закупленных банок!

По утреннему городу бежит трамвайчик. Люди едут на работу по каким-то своим делам. Нас много, но мы все одиноки в этом множестве, оставаясь наедине со своими мыслями, болями, проблемами. А объединяет нас в такие моменты какое-то пусть и временное человеческое сообщество – пассажиров одного вагона, автобуса, сотрудников отдела, организации, семьи, страны, наконец.

О БОМЖАХ И НЕ ТОЛЬКО

Перед Новым годом морозы немного отпустили, засверкало солнце и лёгкий свежавывающий снежок позакрыв безобразно грязную, укатанную до блеска наледь на дороге и тротуарах. Природа решила немного прибраться перед праздником, чтобы он прошёл не на таком уныло-сером фоне.

Я не спеша направлялся к почте заплатить за квартиру и телефон через дворы, в одном из которых рядом с обшарпанными мусорными баками, на дощатом ящике сидел мужик, заросший седой, грязно-серой, спутавшейся бородой, в старом драповом пальто с каракулевым воротником и каком-то сплюсненном лохматом чёрном берете, отдалённо напоминающем шапку. У его ног горел небольшой костерок, сверху прямо на лицо падали солнечные лучи, мужик покуривал папироску и, судя по его раскрасневшейся физиономии, был доволен жизнью.

От него при мне отошла благообразного вида чистенькая старушка с маленькой пластиковой бутылкой минералки в руке. Она была явно обижена – хотела, видно, пожалеть убогого и сирого бомжа, а то и пригреть, но тот посчитал, наверное, этот её жест для себя унижительным и послал старушку подальше.

Можно себе представить, как эта молодящаяся ещё бабуля, живущая в одном из домов напротив, проснувшись поутру и выглянув в окно, увидела эту душеспительную картину: у костерка возле помойки притулился какой-то пожилой мужичок. Наверняка что-то наподобие жалости или сочувствия шевельнулось в ней, а может быть, она вспомнила своего давно схороненного мужа или просто возмечтала о каком-то шансе для себя на старости лет – это уже неважно. Она просчиталась, и бомжу его свобода была, очевидно, дороже тепла и уюта убогонькой однокомнатной камеры, в которой «мотала свой пожизненный срок» эта старушенция.

А в другом дворе, но также возле мусорных баков, стоял другой бомж, и он тоже, судя по туго набитым полиэтиленовым пакетам и приличной кучке барахла, уже отобранного из мусора и аккуратно сложенного, был доволен удачным днём.

Перед Новым годом народ наш становится на удивление щедрым и начинает выбрасывать на помойку много ценных и полезных вещей. Тут были: шерстяное одеяло и крепкие ещё мужские ботинки, почти новая большая алюминиевая кастрюля и ношеное, но вполне прилично сохранившееся женское пальто и, конечно, горы стеклотары – бутылок, банок и баночек разного калибра...

Жизнь действительно познаётся в сравнении, подумалось мне. Кому-то, для того чтобы быть ею довольным, нужна вот такая малая малость. А другим – сытым, упакованным со всех сторон, устроенным в тепле и довольстве людям – этого мало, и всё они чем-то недовольны. Где-то их обошли, урвали большой куш, один купил навороченную иномарку, а у другого денег хватало только на «жигуль», и проч., и проч. Кому-то бы из них познать хоть частицу того существования, что ведут эти несчастные, выброшенные на обочину жизни и обосновавшиеся на помойках люди.

Не все созданы для борьбы, не каждый может найти своё место в нашем ожесточённом мире. Многие просто не способны противостоять тому духу нездоровой соревновательности и дикой конкуренции, каковым пропитано всё и вся в теперешней жизни. Некоторые сразу отдают пальму первенства молодым, нахраписто-наглым хищникам, что рвут из их рук самые лакомые и жирные куски добычи.

О тех, кто не может позаботиться о себе сам, должно побеспокоиться государство – просто дать им кров и пищу, а уж они в свою очередь по мере своих сил и возможностей отработают те крохи с барского стола, что будут выделены на их содержание.

Почему бы не использовать труд и способности этих людей на уборке территорий, на озеленении города и других общественно-полезных делах? Зачем сознательно и целенаправленно загонять их в тупик? Они и так обездолены...

Даже самый смиренный и законопослушный, очутись он в такой ситуации, озверевает и станет люто ненавидеть всех устроенных и благополучных без разбора. А это уже страшно!

Когда же насытятся давно уже сытые и поделятся с голодными? Наступит ли такое время и когда?

Об этом мечтал и проповедовал две тысячи лет назад Иисус Христос. Ради этого и во искупление грехов человеческих добровольно пошёл на мученическую смерть, чтобы дать нам, грешным, шанс обрести жизнь праведную и вечную...

06.01.02

ЭТЮДЫ ИЗ БОЛЬНИЧНОГО ОКНА

I

На сосновой ветке под раскидистой лапой примостилась промокшая и грустная ворона, укрывшаяся от дождя. Но вот капли стали доставать её и тут. Она, стряхнув их, смешно подёргивая головой, перелетела на другую ветку – пониже и поближе к стволу, здесь дождь уже не мог до неё добраться. И она ещё – хитрая бестия – пристроилась с подветренной стороны, и сосна надёжно прикрыла её с тыла.

Ну вот, теперь не надо суетиться – летать в поисках пропитания, что-то искать, от кого-то убежать – дождь на какое-то время решил все её проблемы и заботы, заставив успокоиться, смириться и ждать перемены погоды к лучшему. Да, мудрая эта птица – ворона, недаром говорят, что живут они по триста лет – опыт просто громадный!

Всё-таки какая благодать – хороший летний дождик с негромко и беззлобно ворчащим вдали громом, свежим воздухом, навейным лёгким порывом ветра; после тридцатиградусной духоты – какое это облегчение, какая нечаянная радость для изнурённых жарой больных людей. Всё-таки есть Бог на земле и на небе. Слава Тебе, Господи!

Я смотрю на ворону, на капли дождя, падающие на жестяной отлив снаружи, и брызги от них, и радуюсь, что боль хоть немного отпустила. Подставляю ладонь под дождь, высовываясь из открытого настежь окна своей палаты на пятом этаже нейрохирургического отделения огромного серого корпуса областной больницы, – и мне впервые за несколько последних суматошных дней и бессонных ночей хорошо и покойно. Я живу, я дышу! И хочется, чтобы этот неспешный дождик, его убаюкивающий шорох никогда не кончался – так сладко засыпать под врачующий душу, тихий шелест отвесно падающей небесной благодати...

И, если придётся, хотел бы умереть именно так: под мерный и ровный шум грибного августовского дождя, овеваемый прохладным, легко пьющим-

ся свежим воздухом, дыша полной грудью, без боли, без суеты и жалости к себе, своей брэнной телесной оболочке... А потихоньку, как бы засыпая, не спеша уходя с земли туда – прямо в гущу белоснежных сияющих облаков, где так много света, безграничного простора и свободы!

II

Напротив моего окна – серый, мрачноватый куб операционного блока. Стена почти сплошная, и есть только два окна на уровне третьего этажа. В одном видно, как медсестра готовит хирургический инструмент, выкладывая на белые салфетки. А потом, после операции, приносят все эти разные никелированные пинцеты, скальпели, зажимы, скобы и кучей сбрасывают их в большой бак с каким-то раствором и закрывают наглухо круглой крышкой. Большого я не могу разглядеть – угол обзора не позволяет.

Над этим окном – вентиляционная решётка – небольшая квадратная ниша. А вот дальше, немного правее и выше, в стену врезан другой более крупный прямоугольник высотой в целый этаж – мощная вентиляция, подающая воздух непосредственно в операционную. Наверное, именно через эту решётку улетают в небеса и выше души умерших во время сложных операций людей – больше им выхода нет – только через это забранное мелкоячейстой металлической решёткой отверстие.

Этажом ниже на белый свет смотрит второе окно, там – ординаторская, где собираются перед операцией или после одной хирургии, в основном молодые мужики. Кто-то из них пьёт кофе, другие сразу вынимают телефоны и начинают шарить по интернету, проверяют входящие звонки, электронку и другие гаджеты. Кому-то звонят, но их разговоры мне не слышны.

Любопытно наблюдать, как своей независимой от конкретных людей жизнью существуют и двигаются в пространстве их ноги и руки. У одного ноги будто бы танцуют – два шага вперёд, потом два назад, и снова – вперёд, а затем вбок, разворот – и опять двинулись вперёд. То же самое с руками, напоминающими порой каких-то грациозных длинношеих существ – плавно поднимающихся и опускающихся, а то и скреживающих свои пальца-крылья. Иногда они резко падают вниз на колени и успокаиваются на некоторое время, отдыхая от своего полёта. Мне не видна верхняя часть туловища, и потому приходится только догадываться о том, кому могут принадлежать эти быстрые, обутые в лёгкие тапочки ноги или руки с тонкими, изящными, как у пианиста, пальцами.

А сегодня я с интересом следил за молодым, лет 30–35, парнишкой-хирургом в белой спецовке и бахилах, у которого выдалось воскресное дежурство. Он пришёл в ординаторскую, сел на топчан, потом налил себе в фарфоровую красную кружку чёрный кофе и тут же закурил сигарету, часто и ритмично поднося её к губам, изредка делая большой глоток напитка. И было видно по его мятущимся, не находящим себе места рукам и всей напряжённой фигуре, что он интенсивно обдумывает, что и как будет делать там, в операционной – наверняка неотложка привезла какого-то срочного и тяжёлого больного, и его уже готовили к операции... В выходной день, когда никого из коллег нет рядом, он остался один на один с проблемой, которую ему и решать.

Он курит – затяжка за затяжкой, залпом допивает кофе, тушит в пепельнице окурки, резко встаёт и быстро уходит. Удачи тебе, хирург! А пациенту твоему – здоровья!



Елена
ЕЛИНА

«СТИШАГИ» ИРИНЫ ОЗЁРНОЙ

Читателю вряд ли нужно представлять Ирину Озёрную – литературоведа, театроведа, публициста, бескомпромиссного защитника животных. Дочь саратовского поэта Бориса Озёрного и радиожурналистки, чьи передачи помнятся многим, Розы Озёрной, Ирина – филолог по образованию, занимает весьма заметную нишу в российском литературном процессе. Её публикации, посвящённые Юрию Олеше, украшают страницы лучших литературных журналов. Обладая выразительным и лёгким пером, Ирина Озёрная пишет ярко и талантливо. Её книги, статьи, посты в соцсетях всегда актуальны, доказательны и художественно безупречны. Человек литературы и театра (многие годы завлитства в московском театре «Эрмитаж»), Ирина Озёрная давно сама стала заметным литературным явлением. Её выступления перед публикой в разных городах нашей страны и за её рубежами, теле- и радиопрограммы с её участием всегда надолго запоминаются нестандартным видением конкретных ситуаций и окружающего мира в целом. Открытость, памятьливость на литературные словечки и цитаты, артистизм – всё это надолго остаётся с читателем и слушателем Ирины Озёрной. Сама она признаётся, что её жизненным эпиграфом стали есенинские строчки:

*В грозы, в бури,
В житейскую стыннь,
При тяжёлых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство.*

Улыбчивость и простота, сквозящие во всём написанном Ириной Озёрной, удивительным образом сопрягаются с её силой и несгибаемостью в отстаивании дорогих ей идей и людей. Именно эта подчёркнутая бескомпромиссность заставила автора сугубо литературных и литературоведческих трудов заняться прикладной публицистикой, позволившей перейти от слов к делу.

-
- Елена Генриховна Елина – доктор филологических наук, профессор, руководитель приоритетных проектов и программ Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (с 2018 года).

Стараниями Озёрной и её сподвижников поставлен новый памятник Юрию Олеше на Новодевичьем кладбище. Имея всего лишь один, но такой неоспоримый ресурс, как разящее слово, замешанное на праведном гневе, неопровержимых фактах, абсолютной точности формулировок, Ирина бросается на защиту тех, кому сегодня плохо, кто стал заложником несправедливых решений. А колоссальный потенциал её коммуникативных возможностей помогает Ирине Озёрной привлечь на свою сторону очень многих.

Кажется, Ирина Озёрная родилась поэтом, и именно этим обстоятельством определена её долгая и счастливая жизнь в литературе. Лирическая исповедальность, нескрываемая субъективность, выразительная эмоциональность отличают тексты научной и публицистической прозы нашего автора.

В 2015 году «Библиотека Иерусалимского журнала» издала сборник Ирины Озёрной «По ходу жизни», куда были включены поэтические тексты, квалифицированные самим автором как «стишаги». Эта удачная контаминация – стихи как шаги – определяет и другие стихотворные произведения Ирины Озёрной, которые продолжают появляться на белый свет, радовать нас игровой стихией, неожиданной рифмой, перемещениями из яви в сон, оживающими иллюзиями.

Музыкальность её поэзии была подтверждена известным московским композитором Стефаном Андрусенко, который написал музыку на четырнадцать стишагов Ирины Озёрной, создав тем самым цикл «Иерусалимская сюита» для сопрано и баса, фортепиано, скрипки и контрабаса. А саратовский композитор Сергей Ткачёв переложил на музыку «Романс» Ирины Озёрной, взятый в репертуар уже несколькими исполнителями из разных стран.

Хочется предложить читателям журнала «Волга–XXI век» тетраптих «Скоморох и Русалка», а также несколько стихотворений Ирины Озёрной из коллекции её стишагов. Читайте Озёрную медленно и обязательно вслух. Вы ощутите магическую притягательность её слов, смыслы которых будут меняться и расширяться на ваших глазах. Вы увидите смены картин, как смены театральных мизансцен, почувствуете маятник времени (фольклорная красна девица вместе с завалинкой, ладанкой и конём – и вдруг счёт банковский, жена и дети). Эти переходы от вполне бытового «ушастого» окна через пространства и глубины морей и гор, от подмигивающей такой живой Русалки к скульптурной её копии позволяют представить масштабы любовного чувства. Но и чувство это каждый проживает по-разному: «Я ему Космос, а он мне – так!» Вечное противостояние «мужского»-«женского» в «Скоморохе и Русалке» словно качается на морских (или житейских?) волнах. Кто прав в этом так и не состоявшемся любовном поединке? Возможно, Русалка, которой отдано три четверти тетраптиха? Тоска по неисполненной мечте, стремление к воплощённой грёзе, близость и невозможность счастья – может, стихи об этом?

Ирине Озёрной пишется о любви как страдании, как о невозможности совпасть – то время, то пространство становятся помехой. В «Эпilogе» (к чему? к страстной привязанности? к жизни без любимого?) смысловой доминантой оказывается мотив потери, которая особенно тяжела при неисчерпанности отношений. Поэт в своих лирических признаниях («Тебе») проходит через тоску несовпадения, невстречи, вечной надежды и вечного ожидания: *«Всю жизнь жду тебя – / Мечтаю встретить – / И не встречаю пока...»*

И всё-таки представленные в подборке стишаги при всей их элегической грусти несколько не меланхоличны. Смена ритмических рисунков, внутренние рифмы и ассонансы, качественная литературная отделка радуют чита-

теля. Неожиданно прорывается некрасовское стихосложение с характерным чередованием рифмовок в «Прощальном»:

*Надену платье прошлое
Тридцатилетней давности,
В цветочек сельский, чёрное,
Фонариком рукав...*

Думаю, всем, кто прошёл или проходит через муки и откровения сильного чувства, кому дороги ритмы и созвучия поэзии первой трети XX века, кого манит причудливый мир ещё одного, но такого неповторимого, затейливого, остро талантливого русского поэта, стишаги Ирины Озёрной точно придутся по душе. Потому что шёпот, всхлип, горький вздох, плач, выдох горя – любая грань любовного переживания всегда единственна и неповторима.

Пусть долго живёт поэзия Ирины Озёрной и благоденствует их чудесный автор, возвращающийся в родной Саратов своими мыслями и своими стихами.



**Ирина
ОЗЁРНАЯ**

СТИШАГИ

*Моим саратовским друзьям,
всем вместе и каждому по отдельности.*

Вновь саратовский причал
Проводник мне прокричал
Или лётчик, иль наводчик
Что на нас с тобой стучал
В прошлой жизни между прочим
Было всё у нас, что хотим
И не хотим. И не прочим
Не пророчим наперёд
Мы с тобою вновь хохочем
Попирая тонкий лёд
Через Волгу путь недолгий
А на небе самолёт
Он умчит меня вперёд
Влево, вправо путь мой правый
Путь мой вовсе не за славой
Оказался очень славным
Новый взгляд, но тот же рот
Произносит: по-во-рот
Новых мыслей огород
Авантюр невпроворот
Вечно театральный ход
Жизни нашей хоровод
Здравствуй, лысогорый мот
Желтоглавый садовод
Город детства, дружбы, песен
Был всегда ты интересен
Но однажды стал мне тесен
Как обшивка детских нот

-
- Ирина Борисовна Озёрная – поэт, прозаик, биограф и исследователь творчества Юрия Олеши. Автор книги «По ходу жизни» (2015); составитель и комментатор сборника Ю.К. Олеши в серии «Библиотека всемирной литературы» издательства «Эксмо» (2013). Автор многих публикаций в российских и зарубежных изданиях: «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Огонёк», «Минувшее», «Иерусалимский журнал», «Дерибасовская-Ришельевская», «Современная драматургия», «Театр», «Литературная газета», «Литературная учёба», «Литературная Россия», «Известия», «Новая газета», «Независимая газета», «Московские новости», «Всемирные одесские новости» и др. Член Союза писателей Москвы.

Переросших свой черёд
И рискнувших и рванувших
В неизвестности полёт
Здравствуй, город прежних нот
Вот.

СКОМОРОХ И РУСАЛКА

тетраптих

СКОМОРОХ

Так край уха окна,
Русалкой отмеченный
Мелом, поднятым ею со дна –
Круглолицым, стремительным
И судьбоносным,
Как первый встречный –
Обернулся бескрайностью
В нашей жизни волнах.

Русалка, Русалка, я тебя не забуду!
Влюбиться скоропостижно так –
Мне на роду...
Русалка выглядывает из-под лестницы откуда-то,
И хохот её заплёскивает скомороховую беду.

Приплыли! Ну надо ж так!
На скульптуру Русалки,
Выставленную в музее,
Неотрывно гляжу,
А она подмигивает,
Меня ей не жалко.
Как болван цепенею
И не отхожу.

Русалочка, – говорю ей, –
Что же мне делать?
Всех забыл! Как же дети?
Дети, дом и жена?
А Русалка в ответ очередные сети
Забрасывает, мол, она лишь одна.

И стою истуканом под рыбий хохот,
Холодный хохот, жгущий, как плеть,
Но вдруг слышу музыку горького вздоха –
И слова: «Отпускаю. Иди себе петь!»

И любовь её глаз обнимает душу.
И свободы ветер несёт к горам.
Между ними и морем обрёл я сушу,
Где не душно петь и так любитесь нам.

И пою в горах под аккомпанемент моря,
И слышу в волнах его, веселящихся вскачь,
То смех зелёный, то выдохи горя,
То шёпот, то всхлипы, то радость, то плач.

И дети мои поют со мною,
И жена машет весело морю рукой...
Но однажды я снова увидел: с волною
На ушастом окне возник след меловой.

РУСАЛКА

1

Вот уж право, какой чудак...
Нет, не чудак, а дурак, дурак!
Я ему Космос, а он мне – так!
Ему сонм журавлей, а он мнёт синицу!
Вон тискает её, тискает, потому что боится!

Меня боится,
Огня боится,
Моря боится,
Неба боится!

Море и Небо – одна страсть,
Любовью звать.
От неё бежать-не-убежать –
Море предать,
Небо предать,
Дар потерять.

Ну и пусть себе топает!
Хвостом махну,
Повою на Луну,
Охолону
И пойду ко дну.

А там у меня,
Там у меня –
Море Неба и Огня,
Неба и Огня...
Помни меня!

2

Тут Русалка хвостом махнула
и ушла в глубокое море.
Синее море.
Зелёное море.
Море цвета морской волны...
Здесь напрашивается рифма «горе»,
но трюизмом не тронешь струны.
Не заголосит она, не заплачет,
не затараторит в пиццикатном бреду...

Да и не сразу Скоморох озадачен
был. Не сразу въехал в свою беду.
Лишь когда синица из рук улетела,
умахнула за море, огляделся он вдруг,
а вокруг, а вокруг-то одно заборье,
выжженный лес да примятый луг.
Пеплом усыпан песок пустыни,
и цвета пепла его голова...
Не поётся, но море по-прежнему сине,
за которым синица, куда ушла
Русалка... «Русалка, я тебя не забуду!
Влюбиться скоропостижно так –
мне на роду!»
Русалка выглядывает из-за облака откуда-то,
и хохот её заплёскивает скомороховую беду...

3

Обернуся красной девицей
И усядусь на завалину.
Сокрою я губки бантиком
И заворожу коня.
Не спасёт тебя ни ладанка,
Что висит на шее ладно так,
Ни молитва, ни счёт банковский –
Не минуешь ты меня.

ЭПИЛОГ

Кругом возможно Бог

А. Введенский

Вот нас и нет... Всё так непрочно,
И иллюзорно, и порочно –
Я про пороз, не про порок,
Предел нирваны нашей в срок.

Я до сих пор пьяна тобою...
А может, водкой и травой?
Хотя мы, точно перебрав,
Не преступили грань забав!

Две одинокие планеты
Летят, блаженством тем согреты.
Блаженством *тем*, каких касались
Два разума, не отключались
На тему главную, спасались,
И, опасаясь друга друг,
Найдя друг друга и теряясь,
Теряясь и теряя, маясь
Без друга друг,
Вновь зарекались не зарекаться –
Бог вокруг!

ВЫБОРИАДА

Обласканный музыкой невероятно –
вдоль, поперёк и наискосок –
уходишь ты в прошлое безвозвратно,
пуле для поцелуя подставив висок.

Пуле дня, пуле ночи, пуле утра и вечера.
Пуле, убившей любовь и доверчивость.

Но музыка без любви –
это небо без звёзд и солнца,
задыхающееся от ветра
сокрушительного в ночи.
Это голос, придушенный злым царедворцем,
наступившим на горло шута: «Кричи,

а не пой!» И не льётся она теперь и не вьётся,
а лишь бьётся, кашляет и орётся.

И корчится в сомнительном роке жизнь
без любви. Не тужи, Скоморох, не тужи...

ПРОЩАЛЬНОЕ

Надену платье прошлое
Тридцатилетней давности,
В цветочек сельский, чёрное,
Фонариком рукав,
С резинкою на талии,
С оборками купечьими,
Большим квадратным вырезом,
И бусы подберу
К нему, давно истлевшему
В тридцатилетней давности.

Приду к тебе забытому
В тридцатилетней давности,
Развязно так, бессмысленно,
Бездумно вдруг приду.
Спрошу: тебе, мол, нравится
Наряд мой прошлый ситцевый?
Красива ль я в нём юная
В свои сто двадцать пять?

Зелёными зеницами
Обид не приукрашивай,
Всё стёрто вихрем лиховым,
Всё напрочь сметено.
Всё прощено, что прожито,
И ничего не страшно нам,
И за колючим облаком –
Небесное авто.

ЭЛЕГИЯ

Ветшает тело,
 Усмиряя тень,
 Крошится вечер
 Ночью беспощадной,
 Мой дом как гроб –
 Он временный и постоянный,
 Причал конечный,
 Краеугольный ромб.

Краем угла
 Я втисну отраженье
 В речное зеркало,
 Но, не поверив мненью
 Воды, я краем угла
 Агу автопортрет.
 Но я не рисовальщик, нет!
 И потому, не веря углю,
 Я снова забиваюсь в угол.

И кто и как я? До каких пределов
 Мне в беспределье дали делать дело?
 И дело ли оно или обман
 Словесный – буквами на нитку
 Нанизанный? Уходит караван
 Зернистых слов в подземную калитку
 Или взметает журавлей агитка,
 Курлычущая слов моих канкан?

Прибудет завтра или всё – вчера?
 Финальный тур, последняя игра.

ТЕБЕ

Я ночью закутываюсь в тебя,
как в одеяло.
 Днём ношу тебя на себе,
как одежду
 Надёжную, прочную, неброскую
– смолоду.
 Читаю и перечитываю тебя,
как любимую книгу.
 И пишу тебя с природы
всю жизнь.

Всю жизнь жду тебя.
 Мечтаю встретить.
 И не встречаю пока.



**Николай
КРУПИН**

ШНУРКИ

Мы свернули с асфальтового шоссе на просёлочную дорогу. Справа большой лесной массив, деревья местами вплотную подступают к дороге, местами большие опушки. Слева от дороги поля, засеянные подсолнечником и зерновыми, встречаются овражки с высокими старыми вёслами и кустарниками.

Был конец мая – зелёная, голубая пора начала лета. Послеобеденное время. Ещё вовсю светило солнце, но тени от деревьев и кустарников заметно вытянулись. В машине нас четверо: я с женой и наша дочь с сыном, полуторагодовалым худеньким мальчиком с большими, не по-детски серьёзными глазами. В открытые окна машины вливался запах весеннего леса, молодой листвы, прелых прошлогодних листьев; тянуло прохладной свежестью. Я ехал медленно, хотя дорога уже просохла и колея хорошо накатана. Спешить было некуда – до села, где жил мой дядя, оставалось три километра. Когда-то давно я жил в этом селе, и всё мне было здесь знакомо: лес, овраги, поля..

Я проехал поворот, обогнул поросли молодого клёна и... остановил машину. На дороге стояла косуля с двумя детёнышами.

– Стой! – воскликнула жена. – Не двигайся!

Увиденное так поразило мою жену, что она не заметила – я и так остановился.

– Посмотрите, какая нежность! Какая красота! Именно КРАСОТА, – почти шептала жена, видимо, боясь спугнуть косуль.

Животные были совсем близко, шагах в двадцати от нас. Козлята смотрели на машину равнодушно, не чувствовали опасность. Косуля, увидев машину, вздрогнула, но страха в глазах тоже не было. Несколько секунд они стояли на дороге не двигаясь. Ярко-рыжий окрас, белые пятна «к месту» – действительно красивые животные. На фоне весенней зелени эта троица притягивала взгляды. Козлята ещё совсем молоденькие, видно, что недавно стали на ноги. Да и сама косуля молодая, возможно, что эти детки – её первый или второй приплод.

-
- Николай Дмитриевич Крупин родился в 1954 году в селе Смольково Иса克林ского района Куйбышевской области. В 1977 году окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер-механик». В 1984 году окончил Куйбышевский государственный университет по специальности «Историк». Трудился рабочим, инженером, преподавателем.

Публиковался в журналах: «Русское эхо» (Самара), «Чайка» (США), «Смена» (Москва) – первое место в литературном конкурсе за 2018 год, «Урал» (Екатеринбург), «Эдита» (Германия), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Вторник» (Москва). Автор двух прозаических книг. Живёт в г. Самара.

– Смотри, сынок, это косули. Мама и её детки. У меня есть ты, и у неё есть детки. Смотри, какие они милые и беззащитные – прям, как ты у меня.

И дочь, нежно прижав сына к себе, поцеловала его в щёку.

Животные спокойно перешли дорогу, потом пошли по опушке леса и скрылись за деревьями.

Весь остаток дороги мы только о косулях и говорили. Жена восхищалась их красотой, дочь озаботила меня вопросами: а как они выживают одни в лесу, а чем они питаются зимой?..

Я попросил жену и дочь никому в селе не говорить, что мы видели косуль. На вопрос, почему нельзя, пришлось, повысив голос, повторить просьбу ещё раз и пообещать, что расскажу позднее. Когда? Зимой.

Я не хотел расстраивать жену и дочь: если о косулях узнают местные охотники, они их выследят и пристрелят. Саму возможность убийства животных неземной красоты и к тому же беззащитных мои женщины не приняли бы. Думаю, что, услышав такое, они стали бы просить меня чуть ли не дозором стоять около леса и охранять косуль от злых браконьеров.

Дядя обрадовался нашему приезду.

– Как тебя зовут? – обратился он к моему внуку. – Молодец! А что такой худой?

И уже обращаясь к нам:

– У меня правнук такой же худой как шнурок. Шнурки вы, да? – это он снова к малышу. – Ничего, были бы кости, а мясо нарастёт.

За лето я много раз приезжал в село. Если ехал с женой, специально притормаживал на том месте, где видели косуль.

– Вот здесь! Потихе, потихе. Кажется, вон они...

Ей так хотелось снова увидеть косулю и её козлят.

Как-то уже в середине лета я ехал к дяде один. По привычке «в том месте» притормозил. И увидел: дорогу перебежала косуля. Она мельком посмотрела на машину, было заметно – она напугана. За ней бежал подросший козлёнок. Один. Значит, другого уже нет. Убили люди, загрызли волки или собаки?

– Звери! – с досадой и горечью выдал я из себя.

Жена и дочь всегда спрашивали меня, когда я уезжал в село один, видел ли я косуль. Обычно я говорил, что не видел, и это было правдой. А в этот раз солгал: «Нет, не видел, наверное, они ушли пастись в другой лес».

В начале сентября я увидел косулю, одиноко стоявшую далеко от дороги. Едва увидев машину, она бросилась бежать и скрылась за деревьями...

...В конце ноября по служебным делам я заехал в одну торговую фирму. Знакомый мне продавец обслуживал двух покупателей. Попутно между ними шёл разговор. Было видно, что все трое хорошо знают друг друга и находятся в дружеских отношениях. И внешне они похожи: крепко сбитые, уверенные в себе мужики лет тридцати-сорока.

Я невольно прислушался к разговору.

– На выходные где были? – интересовался продавец.

– К Витьку ездили.

– Ну и как?

– Приехали, короче, к нему, а он нам говорит: «крупняка нет». Как нет? Почему не позвонил? Вчера же говорил: «всё ништяк». А он, короче, говорит, что с утра приезжал один важный человек из налоговой с компанией и всех, считай, крупных косуль перестреляли.

Я понял, о чём речь: Витёк заведует каким-то охотхозяйством. Платишь деньги и стреляешь диких животных.

– Короче, говорит, одни шнурки остались. Ну, не зря же тащились туда за двести километров, поехали к лесу грязь месить. Подстрелили пять шнурков, а что там – шкура да мосолочки. А мы с собой ящик «Абсолюта» привезли...

Я вышел на улицу. Слушать этих хозяев жизни было невмозможу.

Минут через пять они вышли – самодовольные, уверенные в себе и в своих поступках молодые мужики. О чём-то бестолково гогоча, направились к своей машине.

Разговаривать с продавцом я не мог, хоть и знал его несколько лет и всегда парой фраз перекидывались. «Вы не заболели?» – спросил продавец. «Всё нормально. Пока».

Я вышел на улицу, сел в свой автомобиль.

С неба – дождь попеременно со снегом. Бесконечное тёмно-серое облако над городом давило на душу. И этот услышанный разговор. Нельзя быть таким сентиментальным, ты же мужчина – я уговаривал и упрекал себя. Но спокойствия не было. Вспомнил, как полгода назад видел огненно-рыжую косулю с козлятами среди яркой весенней зелени. Вопросы жены и дочери: видел ли их ещё раз? А что с ними, как ты, папа, думаешь?

Завёл мотор, а ехать никуда не хотелось. И перемешиваясь, толкаясь, в голову полезли мысли. Убийство из ружья «гуманнее» для косуль, чем клыки волков и собак? Домашнюю свинью заколоть варварским способом можно, а дикое животное убить мгновенно пулей нельзя? Косуля красивое и нежное животное... Шнурки – это беззащитные и нежные создания. И козлята, и... люди. На жестокости держится мир?.. Как отгородиться от неё? Завести мотор машины и сидеть в кабине? Внук пойдёт в детсад, потом в школу. Как сделать так, чтобы он не был шнурком, но и не был, как те двое с ружьями наперевес на маленьких козлят?..

Вспомнил, как когда-то давно – в ту пору было мне лет тринадцать – ехал с отцом на его служебном «уазике» вдоль леса. Не того леса, где видел косуль, – другого. Ехали утром. Самый разгар лета.

Он лежал в высокой траве, в тени деревьев. И мы бы проехали мимо, не заметив его, но, услышав шум мотора, он вскочил на ноги и побежал. Это был большой и красивый лось. На голове рога, как большая чаша с длинными и острыми зубцами по краям.

– Смотри: лось! – воскликнул отец и прибавил скорость.

Наверное, он думал, что я никогда не видел лося, и хотел мне его показать.

Мы ехали так близко от него, что я увидел глаза животного – в них испуг и растерянность. Он вращал глазами: то смотрел прямо перед собой, то косил глаз в сторону машины. Деревья по краю леса росли плотно, и лось не мог с ходу, с разбега вбежать в него. И ещё я заметил, из подбрюшья брызгала какая-то жидкость, я понял: от страха лось стал мочиться.

– Сбавь скорость или остановись, – попросил я отца. – Видишь, как он нас испугался.

Лось пробежал ещё метров пятьдесят, оглянулся в нашу сторону и стал пробираться в чащу леса.

Я не помню, куда мы ездили с отцом, как прошёл тот день. Помню только испуганного лося, большие глаза его, полные страха, и мочу, брызгавшую во все стороны от его тела...

...Пошёл снег, быстро залепил со всех сторон стёкла машины. «А ведь у меня истерика. Всё потому, что я ничего не могу сделать. А что делать? Запретить людям убивать животных для забавы? Тургенев, Пришвин были

охотниками. Да мало ли писателей-гуманистов стреляли животных для забавы. Хемингуэй даже специально в Африку ездил, чтобы позабавиться...»

Эти писатели меня понемногу успокоили. «Дворники» расчистили снег на лобовом стекле. В конце концов это же древний инстинкт человека – инстинкт охотника. Вся эта история забудется и только изредка будет всплывать в памяти, как эпизод с лосем. Так забываются через несколько дней страшные и неприятные сны. Я вышел из машины, почистил щёткой боковые окна и поехал домой.

В тот майский день дочь фотографировала косуль. Самый удачный снимок распечатала, вставила в рамку и повесила в своей квартире на кухне над столом.

Когда пропал первый козлёнок, я стал смотреть на эту фотографию с грустью. Теперь мне будет ещё больнее смотреть. Но это пройдёт. Всё проходит...

Эта проблема – взаимоотношение человека и дикой живой природы – на какое-то время озаботила меня. Часто думал об этом. И сделал для себя очень радикальный вывод: человек, для забавы убивающий красивых и беззащитных животных, живущих на воле, не способен любить. В широком смысле любить: жизнь, других людей...

Я бы не стал писать об этой истории с косулями и «шнурками», если бы у неё не было продолжения...

Прошло два года. Дочь стала встречаться с молодым мужчиной.

(Тут надо сказать, что дочь была в разводе. С мужем развелась во время беременности. Алименты он присылает регулярно, к праздникам – подарки, а вот на глаза мой бывший зять не показывается. Это мне непонятно – интеллигентный, душевный парень. Почему он не хочет видаться с сыном? Или не может? На мои вопросы дочь отвечала коротко: не знаю.)

Привела его к нам – своим родителям – знакомиться. Видно сразу – крепко стоит на ногах человек. Про таких говорят: как за каменной стеной. На вид симпатичный мужик, ухоженный, подтянутый. Работает на заводе начальником средней руки. Дочь после спросила с надеждой: «Ну как он вам?» Ей так хотелось, чтобы её избранник понравился нам.

– Нормальный парень, – сказал я.

Дочь хотела услышать не эти слова. Она натужно улыбнулась: «Ну, хорошо».

Как-то принесла нам большой кусок мяса. «Это, – говорит, – кабан». – «Откуда кабан?» Сказала, что кабана подстрелил её жених – он охотник. К этому времени дочь была знакома с охотником три или четыре месяца. Завела с нами речь о замужестве. Конечно, было сказано: решай сама. Я видел, что этот её жених – человек приземлённый. Такие мужики поначалу производят впечатление на женщин: хозяйственные, решают бытовые и материальные проблемы, в случае чего и от хулиганов защитят – не спасуют. Но потом оказывается, что не могут они дать женщине главного: нежности, душевного внимания, да и деспотичны бывают в браке такие мужчины. В целом это не значит, что он плохой, но он не для моей дочери – я это чувствовал, а сказать как-то не решался. Да и что сказать? К тому же он ей понравился: красивый мужик, говорит, что её любит; мужчина должен быть в семье.

Внука решили оставить в городе, а дочь с женихом рано утром поехали в село к моему дяде. С дороги дочь звонила, что всё хорошо, погода хорошая: солнце, тепло, но не жарко – шла вторая половина августа. А после обеда дочь уже возвратилась. Меня в это время дома не было. Жена потом

рассказывала, что пришла дочь «совсем не своя». «Что случилось»? Дочь прошла в комнату и расплакалась. Вот что произошло в этой поездке.

Я всегда ездил в село короткой дорогой. Но был ещё один путь – дорога подлиннее, но места живописные. Эта дорога шла вдоль леса, здесь на больших опушках раньше косили сено для домашних хозяйств, поэтому дорога была всегда хорошо накатана. Однако пришли иные времена: домашней скотины у селян почти не осталось, покосы бросили, и дорога заросла травой. Лет пять назад я пытался проехать на своей легковой машине и сильно пожалел: радиатор забивался травой, машина перегревалась, и я едва доехал до села. На этой дороге мы с отцом и подняли того лося. Лесного зверья в тех местах было много. Причин несколько: далеко от человеческого жилья, большой лесной массив тянется несколько десятков километров; здесь исток реки, с высокого лесистого холма протекает по глубоким оврагам несколько ручьёв. Большие поляны с высокой травой; чуть ниже леса, по направлению к реке, старые лесопосадки.

Вот по этому пути и решили ехать к дяде моя дочь со своим спутником. Ехали на старом японском джипе: большие колёса, большой клиренс – это не моя легковушка. Видно, жених заранее посмотрел на карте, где расположено село и, как охотник, выбрал именно этот маршрут.

Кто первым увидел стайку косуль, из рассказа дочери понять было невозможно. Тем более о случившемся я услышал в пересказе жены. Думаю, что первым увидел охотник. Когда дочь воскликнула: «Смотри!» – он уже резко затормозил и остановил машину. Косули, их было четыре, подняли головы и насторожились. Охотник осторожно вышел из машины и стал что-то брать с заднего сиденья. Дочь не сразу сообразила, в чём дело: кабана он не при ней убивал.

– Ты чего? – спросила она его, пока ещё ничего не подозревая.

И увидела в его руках ружьё.

– Не смей!

Дочь быстро выскочила из машины. Громко хлопнула дверью. Косули встрепенулись и побежали. Охотник вскинул ружьё. Раздался ружейный выстрел. В нескольких метрах от машины картечью срезало траву – дочь сумела пригнуть ружейный ствол к земле.

– Ты что?! – жених матерно выругался, громко и зло: инстинкт мужчины-охотника победил чувство любви к женщине (если оно было)...

И я представил: дочь схватила сумку и пошла по дороге. Куда? К моему дяде в село она не могла пойти. Что ей там делать? Она пошла назад к асфальтовому шоссе. Жених догнал её. Но что он мог сказать? У него было твёрдое убеждение: это бабский каприз, и его спутница встряла в чисто мужское дело. Ответом ему было слово «отстань». Видимо, он не ожидал такого поворота, ещё сильнее взбесился и, дав по газам, погнал джип в город. Дочь пошла в сторону шоссе, иногда бежала. Было страшно: вокруг ни души, и странные крики и шумы из леса. До города доехала на попутке.

Было жалко дочь, обидно за неё. Жена успокаивала – может, всё образуется, наладится. Только вот налаживаться было нечему, что должно было случиться – случилось.

Дочь убрала фотографию с косулями в шкаф. Я ещё тогда подумал: а ведь охотник видел эту фотографию и наверняка спросил, а где это снято. И моя дочь, наивное существо, подробно рассказала, где...

– Пап, наверное, тех косуль, что мы видели тогда, убили охотники?

– Вряд ли, дядя бы сказал, в деревне такие дела без внимания не проходят.

Думаю, дочь мне поверила.

С начала сентября зачастили дожди. С началом осенней распутицы в село к дяде на легковушке не проедешь – непролазная грязь. Потом зима.

К дяде я приехал в начале мая. Вечером сидели с ним за столом: выпивка, закуска, разговоры всякие. По сотовому телефону мы созванивались. Но что это за разговор по телефону? Когда обо всём переговорили, дядя, что-то вспомнив, вдруг оживился:

– У нас ведь тут в прошлом году ЧП случилось. Ну, не совсем у нас... Ты, чай, Некрасовку-то помнишь?

Я утвердительно кивнул – деревеньки этой не было уже лет тридцать.

– Выше к лесу дорога была, по ней отец твой любил ездить. Где-то в начале сентября дело было. Кто-то услышал, что стреляли около леса. Ну, стреляли и стреляли – мало ли охотников. А потом словно взрыв, и дым около леса поднялся. Что такое? Наши мужики подъехали, видят: джип на боку лежит, горит. И человек внутри кабины, уже неживой, обгоревший. Милиция приезжала. Разбирались. Потом до нас слухи дошли: мужик молодой сгорел, городской. Одну косулю застрелил, видать, за другой погнался да перевернулся. Вот те и охота!

– А когда, ты говоришь, это было?

– Да вот, в начале сентября... или в августе? Точно, в конце августа. Там как раз пшеницу убирали.

На следующий день с утра я пошёл к лесу. Мне не нужны были объяснения дяди, где случилась трагедия – я знал, куда шёл. Поднимался я к лесу по оврагу. Склоны его были зелены травой, выпустили листья липы и вётлы, что росли по обеим сторонам оврага, ярко желтел горицвет. По руслу оврага из леса слабым ручейком ещё бежала талая вода.

Склоны оврага стали сужаться. Вот он, лес. Справа от меня большая опушка.

Я как их заметил, замер, только бы не спугнуть. На краю опушки, с противоположной от меня стороны, стояли, вытянув головы в мою сторону, четыре косули: две взрослые особи и два шнурка. Они тоже замерли. Мы так и стояли: пять-десять секунд.

Сам не знаю, что со мной произошло: я не просто громко – дико закричал и, размахивая руками, побежал в сторону животных. Как они испугались! Метнулись рыже-огненные молнии и скрылись в редком ельнике. Так и надо! Бойтесь людей!

Я остановился. Тихо вокруг. Перед моими глазами зелёная опушка. Долго смотрел на неё. Когда закрывал глаза, чудилось: стоят около ельника четыре красавицы-косули...



Геннадий
ЁМКИН

ИЗ ДЕТСТВА

ЗИМНЕЕ

Евгению Юшину

Просто шторы раздвинь на оконце,
Если ты удивляться готов:
В лапах сосен качается солнце,
И чешуйки летят со стволов.

Посветлу не сходил до колодца –
Со звездой зачерпнёшь воды,
Честно веруя в первородство
Приютившей тебя избы.

Ночью чёрным изысканным фетром
Стынет небо. Трескуч мороз!
И просвечены лунным светом
И стволы, и чешуйки берёз.

Рассветёт.
Ты задуешь лампу
И, раздвинув шторы, увидишь:
Освещаая сосновые лапы,
Поднимается солнце выше!

-
- Геннадий Максимович Ёмкин родился в 1961 году в г. Арзамас. Российский поэт, прозаик. Автор четырёх поэтических сборников. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Михаила Юрьевича Лермонтова (2016), лауреат премий журнала «Русское Эхо», литературного альманаха «Арина», Нижегородской писательской организации за лучшую поэтическую книгу (2014), победитель XXVII Международного литературного конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце» (2020). Живёт в Сарове Нижегородской области.

Я из детства запомнил, что лето –
Весь малиново вышит закат,
Синий сумрак дрожит, и при этом
Звёзды первые тоже дрожат.

Вечер тихий, густеющий долго...
И заметишь, как будто бы вдруг:
От росы вся одежда промокла
И малиною пахнет от рук

Так, что даже ни в чём не повинный
Мой февраль, оглянувшись назад,
Вспоминает, как пахнет малиной
И малиново вышит закат.

По шумным листьям дождь шуршит.
Тепло. Июнь. Начало лета.
Как за строкой строка бежит?
Я не могу сказать об этом.

Обычный полдень. Дождь шуршит,
И липы, наслаждаясь, млеют...
Спросить об этом у души
Я почему-то не умею.

...Рука погладит лист слегка,
Затем перо само летает.
Как за строкой бежит строка,
Господь об этом, верно, знает.

ЦЕПНАЯ

Собаке снится речка, не иначе...

Евгений Семичев

Собака дачу чью-то охраняет,
За миску супа на цепи живёт.
Проходишь мимо – хрипло так залает.
Глаза не злые...
Кто её поймёт?..

А может, лает только для порядка?
А зарычит, так это за еду?
Мол, этот дом, забор, калитка, грядка –
Всё под охраной! Строго на виду!

А ночью спит, бедняга, чуть не плача,
Что цепь крепка, не оборвать вовек...
Собаке снится доброе, собачье,
О чём совсем не знает человек.

Она, наверно, снам собачьим верит,
Совсем как дети верят в чудеса.
И ночью в ней совсем ни капли зверя
И отчего-то влажные глаза...

Очнётся, смотрит в небо и вздыхает –
Там нет цепей, не звякает засов,
Созвездье Лебедь плавно так летает,
Но мчит и мчит созвездье Гончих псов!

Опять уснёт.
А веки нервным тиком
Всё дёргает до заревои поры –
То Волосы созвездья Вероники
Метут в глаза ей целые миры.

Но утром, всё как будто забывая,
За миску супа на цепи живёт.
Натянет цепь и хрипло так залает.
Глаза не злые...
Кто её поймёт...

СТАНЦИЯ СТЕКЛЯННЫЙ

Валентину Кручинину

Тихо.
Станция Стекланный
В присаровской стороне.
Лес – багряного багрянцей!
Небо – синего синей!

Разве скорый пронесётся...
Разве свистнет на бегу
Старику, что у колодца,
Да в оконце старику...

Внуки съедутся обняться.
А уедут –
Боже мой!..
По глазам – опять багрянцем!
А по сердцу – синевой!

И окрестности немеют,
Разве скорый пролетит,
Что больнее и больнее
И пронзительней свистит...

ИЗ ДЕТСТВА

К речке спуск – у старой ивы.
Ива, голову склоня,
Смотрит: я неторопливо
Подвожу к воде коня.

У него глаза как сливы.
Вены бороздят виски.
На губах его – седые,
Щекотные волоски.

Коник, фыркая, напьётся,
Капли падают с губы –
На осколки солнце бьётся
Где-то около воды.

Вот последняя сорвётся –
Станет тихо так везде...
Солнце в блюдце соберётся
На кувшинковой воде.

Я и коник мимо ивы
Не спеша пойдём домой.
Он помахивает гривой
И слегка звенит уздой.



**Александр
ГОРНОСТАЕВ**

КАМНИ РОДИНЫ

КАК ПОМНЮ, В РАЮ ДЕТСТВА...

Нет никаких сведений в собственных кладовых воспоминаний о первых днях своей жизни. И о начале существования не найду я записи картин и образов в памяти.

Да кто вспомнит себя, например, качающимся с пустышкой во рту на руках у матери? У всех бывало так? Вот как бы тебя нет, не было, и вдруг – память выхватывает какую-то яркую картину, где ты существуешь, живёшь, чувствуешь. Это память почему-то сочла нужным оставить такую запись... эту, а не другую.

Потом снова как бы тебя нет, запись в памяти отсутствует. И вот – какой-то эпизод, и ещё один, и только по прошествии некоего времени твоей жизни начинается, пусть не в полной, подробной чередой событий, но явно осознанная полоса памяти.

Да, из начала жизни помнятся только отдельные эпизоды. Как они сохранились, не стёрлись из памяти в процессе бытия? Те кадры жизни из того времени, когда человек не отвечает за свои поступки, намеренья и даже простые действия, такие, как одевание и умывание, входят в обязанности близких, а не его самого. Блаженное время – жизнь без обязанностей. Только череда желаний, которые по какому-то внутреннему убеждению маленького человечка должны полностью удовлетворяться его близкими.

Первые кадры из кинотеки памяти о существовании самого себя? Было мне – год, два, три... да не больше. Я вспоминаю этот некий фильм и даже теперь как бы вижу того маленького человечка – самого себя.

Вот он – я, вдруг проснулся, и сознание моё словно бы тоже очнулось. И в этом осознании из того времени я понял, что лежу на широком матрасе, расстеленном прямо на полу в сених деревенского отчего дома. Конечно, я тогда не мог бы объяснить точно, где я нахожусь, но сейчас я вполне могу оценить местоположение того себя из далёкого времени.

-
- Александр Петрович Горностаев родился в 1962 году в Тамбовской области. Окончил два высших учебных заведения в Саратове. В конце восьмидесятых–начале девяностых активно публиковался в различных областных и городских изданиях Саратова и Тулы. Автор книг «Галактик вьюга», «Подсолнухи», «Прозостишие». Живёт в Саратове.

Теперь мне кажется, что солнце меня разбудило, посылая лучи сквозь стекло окна в щель между занавесками.

Именно теплоту и сияние лучей почувствовал я перед тем, как проснуться и открыть глаза. Сейчас я именно так представляю эту картину, вид проснувшегося человечка. Хотя, может быть, ненароком я что-нибудь и додумываю из того давнего впечатления о себе самом, маленьком. Но всё равно – слишком ярка и насыщена память того эпизода жизни.

Да, солнце светом наполняло окно, и я встал, подошёл к подоконнику, раздвинул занавески, увидел, что лучи заливают не только комнату, но и зелёную лужайку недалеко от дома, видимую из окна.

Она хорошо просматривалась из моего окна – та лужайка моего детства. На ней была такая мягкая, невообразимой нежности, напоминающей прикосновение рук матери, бархатная густая трава. Конечно, я тогда не мог осознавать полученных впечатлений от прикосновения растений.

Я услышал сквозь тонкость стёкол или сквозь открытую форточку смех, я увидел на лужайке детей, что-то весело обсуждающих, смеющихся, перемещающихся по зелёной траве. Там играли моя старшая сестра и пришедший из другого села в гости к нам троюродный брат, мальчишка лет одиннадцати-двенадцати.

Да, там было явно весело и интересно, на той увиденной мной из окна лужайке, где два человечка хорошо проводили время. И мне очень захотелось туда, на зелёную травку, под солнечные лучи. И я вспоминаю, как молча побежал по скрипучим половицам сеней к двери...

– Куда это ты, Сашка, собрался? – остановила меня мать, как-то неожиданно оказавшаяся рядом.

Я молча показал на окно, туда, на улицу, где привиделось мне всё таким интересным. Наверняка я уже умел говорить, но произносить слова мне просто не хотелось. Уже взрослому мне близкие сообщали, что я мало разговаривал в начале своей жизни, когда сверстники мои болтали вовсю.

– А, ты хочешь туда, к ребятам?! – догадалась мать и отпустила меня, такого заспанного, погулять на улицу.

Я вспоминаю, как спускался с казавшегося очень высоким порога, придерживаясь руками, касаясь животом деревянного настила. Я, радостный, побежал босиком через пыльную дорогу туда, на весёлую лужайку, где интересно проводили время мои родственники.

Я выбежал на траву, к колодцу, радостно засмеялся и захолопал в ладоши... Почему? Потому что весело уже было на этой площадке, которая переполнялась, была насыщена, как солнечными лучами, смехом и неопишным балагурством более старших детей.

Я захолопал в ладоши, наверное, ещё и для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы меня тоже приняли, впустили в чудесное пространство радости.

Такое ощущение счастья – от присутствия в жизни, от сопричастности ко всему, что происходит вокруг! И тем было жесточе, обиднее и несправедливее всё то, что произошло потом.

Вместо того, как мне казалось, чтобы обрадоваться вместе со мной моему приходу, старший мальчишка вдруг закричал на всю улицу, во всеуслышание, будто бы на весь мир, показывая пальцем в мою сторону:

– Беспортошная команда! Позор, беспортошная команда!

Я, наверное, не сразу понял, что это обращаются ко мне, но именно мне адресовался этот крик – маленькому существу, ещё никогда не слышавшему такой жёсткой критики в свой адрес. И больше всего меня поразило то, что

я, оказывается, не одет. А быть голым – это неправильно, гадко и даже как-то, значит, позорно.

Мне стало обидно, обидно до слёз. И я сразу же, даже не закончив смеяться, начал плакать, зарыдал, сопли и слёзы потекли по моему лицу. Нахлынуло какое-то непонятное ощущение неудобства, неуместности пребывания там. Это и было, наверное, чувство стыда.

Я теперь понимаю, что не только у меня первого возникло это чувство обнажённости перед целым миром. Что-то похожее, видится мне, мог испытать библейский Адам в чудесном раю своего существования. Вкусивший яблока познания добра и зла, он вдруг ощутил себя голым и побежал прятаться за деревья, прикрываться фиговым листком.

Не зная ничего об Адаме, о возможности прикрываться и прятаться в таких случаях, я побежал назад, к маме, которая уже вышла из дома, реагируя на мои вопли, и стала отчитывать более взрослых детей за их насмешки надо мной.

Она вытерла мои сопли, слюни и слёзы, текущие по лицу, как дождик по стеклу – неожиданный среди солнечного дня..

Конечно, мать меня утешила, решив, что малыш всё быстро забудет и переключится, как и положено детям, на другое. Но в тот раз в сознании произошло что-то особое, случился какой-то символический акт, подобный райскому происшествию с Адамом. Ведь тот древний предок тоже был по своему пониманию мира в каком-то смысле ребёнком. И важность для меня того детского впечатления о простом случае из начала жизни подтверждается памятью, сохранившей этот эпизод до сегодняшнего времени.

Я и сейчас могу легко представить, увидеть внутренним зрением, почувствовать ту весёлую лужайку, мягкость травы, смех детей и первое запомнившееся на всю жизнь разочарование в окружающем мире и в самом себе.

КАМНИ РОДИНЫ

Я вспоминаю пору, когда роса рассветных раней омывала стопы босоногих и солнца первые лучи плескались в луговой траве. Там, где пологие пространства меж оврагов прикидывались пастбищами для колхозных стад, бродил с отцом я в качестве подпаса. Тогда я много сведений о мире узнавал. Я постигал искусство различенья трав и в родники заглядывал – на дно, сквозь холод вод прозрачных, пытаюсь угадать, откуда возникают тоненькие струи.. Я смаковал чай из неких трав, здесь найденных отцом. Я пробовал разжёвывать цветы большие клевера, и сладкий этот вкус забываем до сих пор.

Встречались камни у низин оврагов, и непонятно было их присутствие в просторах разной зелени. Но возвышались глыбы среди травы, на плодородной почве, и было это чудесам сродни. Мне говорил отец, что помнил камни эти величиной с баранью голову. И, значит, понимать мне было надо, что росли они, росли здесь продолжительное время. Я трогал их и наступал ногами, не понимая, как они могли расти. Лишь отвлекал отец меня рассказами о нашей речке, текущем нешироком нынче водоёме. Он говорил, как здесь ловили щук длиною в рост человека, и глубока река была, что dna никто не мог достать. И подтверждалось сказанное всё расположеньем старого моста, что берега соединял когда-то. Не перекинешь камень с места, где начинался прежний мост, на тот далёкий берег. А по теперешним настилам эту реку с отцом переходили в несколько шагов.

Шагали с ним мы по просторам края, неизмеримо далеко от дома удаляясь. Мы проходили место под названием Березняк. Но ни одной берёзы не росло в округе. Мы шли за стадом блеющим на пастбище к Осиннику, но не росли деревья в этом приовражье. Я спрашивал, а почему так называются места пустынные, лишь травами покрытые густыми. «Когда-то здесь вставали деревья...» – мне говорил отец. Я знал ещё, что в нашем крае есть овраг Совиный, но никогда я, в мальчиковых похождениях весь изучивший отчий край, воочию не видывал глазастых птиц. Они там жили, – мне говорил отец, – где ласточки теперь уж гнёзда вьют. И думал я о них, о птицах, представляя их летящими над шириной оврага, расправившими крыла, парящими неслышно.

Я понимал, что и планета наша под названием Земля могла бы называться по-другому, скажем, Океаном. Настолько больше на её просторах вод, чем почв. Иль, может быть, она переменялась с той поры, когда её название восприняли предки.

Пойди сейчас я с сыном по поместьям детства своего, как некогда ходил с отцом, я беседы вёл бы также о странности названий этих мест. И у каменной подросших мы останавливались бы – дух перевести... И вместе удивлялись бы их непонятному здесь пребыванию. Их медленному росту. Молчанию о виденном: о жизни уходящих поколений, об измененьях этих мест, о сущности пространства...

ВРЕМЯ ОНО

Любил я раньше шастать по проспекту. И старого асфальта жёсткая структура упругости шагов моих не нарушала. За каждую собаку или лошадь, уверенным я, как Есенин, говоривший о своей походке, конечно, быть не мог, но узнавал меня когда-то здесь едва ль не каждый третий из многих тысяч, проходящих мимо.

Идущего по клеточкам дорожного покрытия встречала магазинов и кафешек толкотня. Я кланялся знакомым неустанно, протянутые руки пожимал. И это было время лучших впечатлений об окружающем пространстве.

Здесь вывесок другие заголовки пестрят на зданиях. Здесь бродят незнакомых голоса у каждого фонарного столба... И кажется, здесь не хватает воздуха моим воспоминаниям.

Я у фонтана, пережившего десятилетия, остановлю потоки мыслей. Его я только строящимся вспоминаю. И первые монетки, брошенные в воду в давнем прошлом, мне кажется, блеснут сейчас на самом дне.

Я обернусь – и вдруг увижу облик милый и чудесный идущей мимо брызг в потоке солнца девушки. Что это? Как же? Но только мнится мне, что так она похожа – движеньем взгляда, плавностью походки – на давнюю знакомую мою.

Здесь всё чужое, здесь с прошлым невозможно встретиться, здесь проложили будто вместе с новыми покрытиями проспекта других судеб широкие пути.

И жмусь я к подворотням, невольно будущему дню дорогу уступая.

И тени навсегда ушедшего сторонятся меня...

ПОКИНУТЫЙ БЫТ

Уходя, женщина забирает из-под шкафа комнатные тапочки, в сумочку складывает ночную рубашку; она устала от долгого ожидания счастья, и хочется песен любви и свободы.

Закрывается дверь, и стихает стук каблучков. Горькая недосказанность тихо выползает сквозь облюбованные солнцем щели между занавесками.

Вечером в доме долго не гаснет свет. Остывает, как угольки в костре, мука. Шаги раздумий натываются на завалившиеся в дальнем углу бытия последние крошки надежды. Это уже мусор. И нужно во что бы то ни стало поддерживать чистоту в собственном сердце.

Ветер стучится в окно, сотрясает здание. Ты в очередной раз пытаешься остановить, будто коней, понёсшие к пропасти мысли.

Пустота жизни, равнодушие целого мира смотрят в окно.

УТРО В ТУМАНЕ

Томительный час ожидания солнца. Из-за купольных сфер, из-за обледенных ветвей пробиваются лучи. Сквозь туман проявляется его диск. Начало дня. Всё загадочно-непредсказуемо.

Упадёт луч на заснеженную улицу – и начнут разбегаться, как на воде, радужные круги... Природа... чья гармония ещё не смешалась с хаосом человеческой жизни. Но хаос обнажается сейчас, когда редкий солнечный луч высвечивает на храме надпись: «Планетарий», когда устремлённый к небу крест теряет... уже потерял вселенскую силу Веры.

Ещё немного – и крикливый хаос поглотит молчаливую гармонию. А будет казаться: солнце рассеяло туман. Выйдет на улицу человек, вольёт толкотню и непонимание происходящего в равнодушный к его судьбе мир. Люди смешаются с вещами, с торговыми лавками, с холодным воздухом. Заполнят пустующие пространства, потекут через базарную площадь, мешая и наступая на пятки друг другу... Вот они, собратья по существованию, пасынки материального мира. Они могли бы вцепиться в горло Жизни из-за куска пищи. Но в собственном самомнении поднимаются выше быта, согнувшего им души. Каждый хоть однажды мнил себя Богом, но все вместе кажутся они игрушечными матрёшками, старающимися выпрыгнуть из самих себя...

Как-то через силу начинается день... Незаметно, само по себе приходит ужасающее осознание собственной беспомощности перед стихией начинающегося дня... Хочется уснуть и увидеть сон, как по куполам церкви сквозь туман пробиваются лучи солнца.



**Борис
ШИГИН**

...И В СЧАСТЬЕ ЗАБУДЕТСЯ ГРУСТЬ

Не бойся, себя я не выдам
Ни словом, ни жестом, ни взглядом.
Но за независимым видом
Всегда будет прятаться – «рядом».
Запомни навек это слово.
Строкой ли знакомой, корою,
Ободранной с древа былого,
Напомню: я рядом с тобою.
В походе, в беде или в счастье
Всегда буду я недалече.
И ты будешь помнить отчасти,
Что были счастливые встречи.
И я буду верить, что это
Хоть как-то спасает от муки
Вернуться в то жаркое лето,
Услышать те сладкие звуки.
Ни взглядом, ни жестом, ни словом,
Пусть даже в июльские иды,
Любя тебя снова и снова,
Толпе свои чувства не выдам.

Песенка твоя как лесенка –
Я карабкаюсь по ней.
Здорово, что эта песенка
Делает тебя родней.
А моя – дорога дальняя,
Бесконечное жнивье.

-
- Борис Владиленич Шигин родился в 1952 году в г. Балашове Саратовской области. Поэт, журналист, бард, автор восьми поэтических книг. Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура» (с 2003 года), автор культурно-просветительского проекта «В русле «Суры» (с 2004 года), лауреат премии Союза журналистов СССР им. В. А. Карпинского, премий губернатора Пензенской области за достижения в области журналистики и литературы (1997, 2000, 2003), лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова (2007, 2008, 2014, 2019). Член Союза писателей России (с 2001 года), заслуженный работник культуры Пензенской области, заслуженный работник культуры РФ (2010). Живёт в Пензе.

Горькая, исповедальная.
Не допеть никак её...
Песенки на то и песенки,
Разные, как мы с тобой.
Песенки – друг к другу лесенки,
То отлив, а то прибой.
Главное, чтоб был не тесен нам
Песенки своей напев.
И тогда вдруг эта песенка
Станет близкою для всех.
Улетит как птица вольная.
Кто ей мать, а кто отец?
Я доволен. Ты довольная.
Вот и песенке конец!

Покажется вдруг: не люблю же.
В душе обожжённой – лишь грусть.
Но цепкой колючкой верблюжьей
В безводной пустыне держусь.

Зовёт легкомысленный ветер –
Для тех, кто не знает корней,
Он самый весёлый на свете,
Он всех аргументов сильней.

Зовёт... только не дозовётся,
Ему не отвечу я «да» –
К глубоким корням моим рвётся
Гонимая зноем вода.

И я, как колючка верблюжья,
До этой воды дотянусь...
И радость вернётся: люблю я!
И в счастье забудется грусть.

Почему мне без тебя не спится,
Отчего не берёт меня сон?
Ночь – большая и чёрная птица –
Напевает со мной в унисон.
Почему мне не спится в июле,
Отчего до утра не сомкнуть
Глаз уставших? Давно все уснули,
Держат вместе с Морфеем свой путь.
Ах, короткие летние ночи,
Видно, вы мне даны не для сна.
Как река день и ночь берег точит,
Как шумит вечной кроной сосна,
Так и я, не нашедший покоя,

Всё пою, как сосна над рекой...
Вот такой я, такой я, такой я,
Позабывший, что значит покой.
Без тебя не живётся, не спится.
Без тебя не берёт меня сон.
Только ночь – чернокрылая птица –
Напевает со мной в унисон...

Прости меня:
Я робок был и слеп,
Искал огня.
Но густо падал снег –
Тушил пожар
Неопытной души,
Пыл остужал:
Терпи и не спеши.
Я слушал глас
Сверкающих снегов.
Их гулкий бас
Летел меж берегов
Моей любви
И нелюбви твоей.
Теперь лови
Снежинки между рей...
Мой парус пуст,
В нём ветра нет давно.
Жасмина куст
Отцвёл. Горчит вино.
И только снег,
Печальный вестовой,
Всё шепчет мне:
Придёт твой час. Ты пой...



**Данила
КАТКОВ**

ЧУВСТВО ЛАСКИ

– Вижу. Вот он!

Крупные капли пота выступили на пунцовом лице. Глаза сквозь толстые стёкла очков напряжённо следят за монитором.

Трудно скрывать раздражение, когда отозвали поработать сверхурочно.

Но работа есть работа. Даже не работа. В его конкретном случае это долг, почти служение.

Теперь он здесь в субботний день кашляет простуженным горлом, уставший от длинной недели, от жары, от переменчивой несносной погоды. Вот и из форточки сквозит. Свет из окна то и дело перекрывают набегающие тучи, словно мы пережидаем на полустанке, а мимо нас пролетает товарняк, заслоня жёлтые фонари на мачтах станции, сигнали о притаившейся впереди на путях опасности.

Из динамиков ухает и булькает, что-то шуршит.

Я выворачиваю шею, но с кушетки ничего толком не рассмотреть.

– Лежи спокойно. – Олег Алексеевич с силой тычет в мой бок конвексным датчиком.

Я опускаю голову на жёсткий валик. У меня нет причин не доверять врачу.

Он располагает к себе, хотя бы уже тем, что земляк. Надо же притащиться за тридевять земель, на курорт, чтобы состояние твоего здоровья диагностировал доктор из родного города!

– Ты процедурами не увлекайся. Гуляй больше. Воду пей – не пиво. Вода – она там целебная. Вода и горный воздух – ключ к оздоровлению, – наставлял меня перед отъездом знакомый курортник со стажем и затяжной курительщик.

Но составившая план лечения терапевт так нахваливала недавно появившийся в отделении аппарат УЗИ, что я не стал сопротивляться её энтузиазму. Тем более что обследование в рамках путёвки она пообещала провести бесплатно.

Все свои болячки я знал давным-давно, и тут – на тебе!

Ничто не предвещало – диагноз всплыл на ровном месте.

-
- Данила Сергеевич Катков родился в 1983 году. Кандидат технических наук, доцент. Автор романа «Секция лепки», повести «Неглубокие следы». Участник литературных конкурсов. Шорт-лист Кубка Брэдли-2018. Пишет в жанрах антиутопии и магического реализма. Публиковался в литературно-художественном журнале «Волга–XXI век», литературно-публицистическом альманахе «Веретено», альманахе «Видимый свет». Живёт и работает в Саратове.

– Камни? Камни крупные? – в панике, перемазанный силиконовым желе, я ёрзаю на клеёнчатой простыне, представляя себя поросёнком в майонезе перед посадкой в духовой шкаф.

– Ага. Небольшие, но много. Полипы, точнее. На ножках. Очаги экзогенной активности при входе в желчный пузырь, – вещает диагност басом.

Голос низкий, с хрипотцой, рождается в глубине могучего тела, долетая до меня через его лениво открывающийся рот.

Рядом за столом медсестра забывает в компьютер описание моего богатого внутреннего мира. В прошлой жизни она трудилась в машинописном бюро. Клавиатуру не жалеет – лупит что есть силы.

Я проглатываю обратно вспухшую от психоза щитовидку.

Нервирует всё вокруг.

Голос врача, этот бестолковый стук, сквозняк из форточки, открытая дверь в смотровую.

У больного зачастую возникает озлобленность. Будто в найденной болезни виноват сам доктор, ведь это он её обнаружил! И чем случай запущеннее, тем вина эскулапа тяжелее. Со временем досада эта перетекает в зависть ко всем здоровым людям. Большое самообладание надо иметь, чтобы терпеть от пациентов такое. У Олега Алексеевича оно есть.

Обтёршись бумажными салфетками, я выхожу в коридор.

– От полипов помогает чистотел.

Она стоит, прислонившись к косяку двери массажного кабинета и протягивает мне «Бабушкины рецепты».

В голову сразу лезут мысли о травничестве, знахарстве, но никак не о серьёзной медицине.

– Шесть листиков на стакан кипятка. Держать 10 минут на водяной бане. Принимать отвар в такой дозе 3 раза в день две недели.

Я принимаю газету из её рук. Моё тело помнит эти руки, а ещё ясный, открытый взгляд. Всего пятнадцать минут назад, перед тем, как попасть на УЗИ, я вышел от неё.

Всё-таки массаж – высшая степень проявления любви к собственному телу. Явившись четыре дня назад на первый этаж лечебного корпуса, я пестовал вполне определённые ожидания.

Приёмная пустовала. Я сразу прошёл в распахнутую – такая уж здесь традиция – дверь и попал во внутреннее помещение, разделённое хлипкими перегородками на три кабинки.

Ещё утром узнав в регистратуре, что приём ведёт женщина, я представил себе даму возрастную и крепкорукую, с фигурой тяжелоатлета.

А встретила меня она – Елена Владимировна Ласка.

Именно так написано на золотистой планке, приколотой к пахнущему чистотой халату.

– Добрый день, – говорит она.

И я как-то сразу чувствую, что день этот станет для меня действительно добрым и особенным.

Стандартная просьба – лечебная команда: «Раздевайся» – звучит в её устах буднично, словно знакомы мы много лет, и я, по обыкновению, заглянул на сеанс частным порядком. И нет вокруг нас ни этих сквозняков, ни застиранных простыней, ни той неловкости, которую испытывают две разнополюые человеческие особи, когда встречаются впервые.

Сегодня, спустя несколько лет, я затрудняюсь описать её внешность. В мужских компаниях заведено рассказывать о покорительницах сердец весьма натуралистично, с вниманием к подробностям исключительно внеш-

него свойства. Я же вижу женщину во всех примеряемых ей образах сразу и целиком – одетую, раздетую, отягчённую характером, облегчённую распушенностью, освящённую состраданием, опороченную ревностью и без затейливых прикрас ложной манерности.

Елена Владимировна воспринимается настолько цельно, мощно, первобытно, но так же просто, естественно и побеждающе.

Именно такой, не оставляющей сомнений в правильности выбора, мягкой силой берутся неприступные бастионы мужского эгоизма.

Я вешаю футболку на спинку стула. Снова смотрю на Ласку в надежде распознать её, угадать нечто знакомое, что поможет протянуть между нами мостик взаимного приятия и понимания.

Мягкое, приятное лицо, влажный взгляд, гордая осанка... Округлость плеч просится в корсет вечернего платья.

«Дама бальзаковского возраста, не потерявшая свежесть», – сказал своей картиной художник Сафронов.

В нашу эпоху этот возраст сместился вперёд на десяток лет.

Для Тициана же она, без сомнений, стала бы прекрасной Венерой.

Мою неудачную шутку о надвигающейся с гор грозе она деликатно пропускает мимо ушей, отчего крышу уносит окончательно, ведь между близкими друзьями не место стеснению.

В наше неверное время отсутствие хорошего чувства юмора сродни инвалидности. А как ещё произвести впечатление на женщину? Было бы странно, если бы я извинялся перед доктором за отсутствие руки или ноги.

Ласка меня не торопит. Когда я усаживаюсь к ней спиной, просит снять крест.

Размокнув цепочку, я кладу беззащитную шею на подушку, готовясь к удару топора, карающего мою наивную доверчивость. Потому что не может быть так хорошо, когда ничего ещё и не случилось.

Приближение воспринимается всем телом.

Первое касание ошеломляюще. Плавное, но уверенное и плотное.

– Откуда вы к нам?

Я сознаюсь, совершая первую ошибку, из череды возможных, которые совершает перед женщиной любой муж. А не совершить её невозможно – правильного ответа нет.

Правильный ответ – молчание. Но это для выносливых.

На допросе что-то выдумывать и отпираться бессмысленно. Слишком велика эмпатия следователя.

Тёплые руки гладят мою спину, разогревая кожу.

– А я тоже не местная, – делая паузу, вздыхает она.

Во вздохе том эхо бездны, боли и мольбы.

Ошибка вторая – гордыня.

Решив вознаградить потребность в исповеди, я соглашаюсь выслушать её историю.

Душа женщины хрупка и в то же время опасна. Необходимо быть осторожным. Даже если вы будете оберегать её, пытаться сохранить от всего страшного и злого, неизвестно, когда она перейдёт в атаку.

Нападёт она первой. Сначала разжалобит своим рассказом.

И как только вы позволите себе малейшую сентиментальность, участливо выразите сочувствие – станете её сообщником.

Чтобы оттянуть неизбежное, вам не помогут лукавые обещания, что скоро между вами произойдёт нечто важное.

Она заставит содействовать её планам здесь и сейчас, заверив, что все женщины мира не подходят вам, что достойны её только вы и что в вашей жизни нет ничего, кроме только что народившегося, но уже прочно и порочно связавшего вас чувства.

– Я в большом городе жила, – без тени смущения продолжает Ласка наш странный разговор.

Голос её прозрачен и чист. Руки, не терпя возражений, разминают мои затёкшие плечи.

– Мы молодыми девчонками были. В университете учились. И случилось такое.

Я старшей операционной сестрой работала. Год выдался тяжёлым. Уставали сильно. Всё время на ногах.

Как-то дежурили в первую смену. Это после ночи-то! И вызывают нас по телефону в приёмный покой. Говорят, мужчина какой-то пришёл.

А работы – не отойти буквально. Ни я, ни подружка никого не ждали. Тут завотделением зашёл и нас озадачил: ещё больных привезли. Мы вниз и не пошли – сразу по операционным.

А вечером девчонки из приёмного тарелку клубники нам передали. Крупной такой, сочной. Даже не знаю, как она там до вечера дожидка.

Клубнику ту мы с подругой с большим удовольствием съели и про случай тот позабыли. Люди благодарные в то время встречались чаще, и не в диковинку было проявление тепла человеческого. Не то что нынче – всё на деньги меряют.

Неделей позже прямо с дежурства ехали мы в университет. Народу в автобусе тьма.

Висим на поручнях. Тут подруга меня локтем под бок толкает.

– Глянь на парня. Всю дорогу на тебя пялится!

Я украдкой покосилась, куда она кивала. А он смотрит прямо на меня! Я с испугу и отвернулась.

– Ты его знаешь?

– Нет.

– Значит, точно маньяк! – говорит она.

Надо сказать, что слухи об извращенце, насилевавшем молодых девчонок по подъездам, ходили по городу давно. В газетах не писали, но люди поговаривали, что промышлял он сразу в нескольких районах. Так что оставаться спокойным не мог никто.

У милиции ни фоторобота, ни примерного описания. Ограничивались письменным предупреждением на доске «Розыск» возле главка. Да и взглянуть на него ещё раз, чтобы опознать, я навряд ли бы решилась.

Тут, слава Богу, наша остановка. Вышли из автобуса. Идём аллеей к университету.

А у меня застёжка на босоножке расстегнулась – я на корточки и присела.

И смотрю: маньяк за нами идёт. Но держится на расстоянии.

Мы остановились, и он тоже. Одет неброско так, а на ногах обувка приметная – жёлтые такие сандалеты.

Думаю: точно шизик.

Подруга торопит: «Давай быстрее!»

Не помню, как до корпуса добежали.

Пары начались, переменки.

И вот сидим на фармакологии. Занятия в университете кончались поздно, в 23.00. Ночь совсем.

Аудитория наша располагалась в цокольном этаже, рядом с моргом, что, понятное дело, романтики не добавляло.

Вид из окон – никакой. Наполовину – земля (подвал же), наполовину – кусок университетской территории. На неё, как раз та аллея, по которой мы шли, заползала, упираясь прямо в палисадник.

Лектор наш, Иван Иванович, читает. Говорит вдумчиво, плавно, как баюкает. Названия препаратов на латыни пишутся в клеточки тетрадок. Всем спать хочется – невозможно.

И зазевалась я. Ладонью прикрываюсь, поворачиваю голову к окну, а закрыть рот не могу – страшно.

Там на лавочке ноги сидят. Выше не видно – окно кончается. А на ногах те самые жёлтые сандалии.

Подружка, заметив, как меня перекосило, удивилась, а сама, как ноги заметила, даже вслух ойкнула.

Иван Иванович ключом от аудитории по кафедре стучит. Нечего, мол, ворон считать – пишите внимательно!

Струхнули мы совсем. Сидим, шушукаемся: что же делать?!

Потом сообразили, раз мы из подвала лица маньяка не видим, то и он не видит нас.

Дождались звонка. Могли бы и через парадное выйти с толпой. Но рассудили, что если в толпе он не нападёт, то что мешает ему выследить нас по дороге к дому?

Оставался один шанс. Чёрный ход на другую сторону здания.

Через него и сбежали. Перелезли в темноте через забор и дунули в сторону автобусной остановки.

А через три недели случилось следующее. Вышла я на двор бельё сухое собрать, а у моей калитки он стоит! Сердце в пятки провалилось!

В конце концов думаю, не зарежет же он меня средь бела дня. Соседи вон дома. Заборчики низкие – видно всё.

– Тебе чего? – говорю ему.

А он:

– Девушка, вы меня не помните? Вы мне жизнь спасли.

Какое там?! Такой поток пациентов был – всех не упомнишь. А этого вспомнила.

Привезли к нам парня с перитонитом. Ничего особенного – парень как парень. Операция пустяковая, но выглядел плохо. Ещё бы чуть-чуть – и не успели бы.

Обкололи местной анестезией, простынку застелили. Хирург резать начал.

А он вдруг ноги подогнул – наркоз не до конца подействовал. Больно ему – корчится.

– Держи его! – орёт хирург.

А я наклонилась к лицу парня близко так и говорю: «Потерпи, милый, потерпи. Сейчас пройдёт всё».

И он расслабился. Глаза закрыл. Слёзы потекли. Потом обмяк, задремал.

Хирург наш, Александр Карпович, дело своё знал – закончил быстро. Зашивать стал. Швы продезинфицировали, и санитары его на каталке в палату увезли.

Выяснилось, парень этот клубнику нам и присылал. На свидание направиться хотел.

Понравилась я ему очень. Говорил, что любит. Благодарен был за то, что пожалела. Столько комплиментов наговорил. В кино позвал, а я не отказала. Хорошим парнем оказался, и не маньяком вовсе.

Встречались мы с ним долго...

Она ещё раз с усилием проводит ладонями по моим плечам и умолкает.

Упавшая тишина тяжело давит сверху. За нею выплёскиваются до сих пор где-то прятавшиеся неловкость и смятение.

Неловкость, будто это не Ласка, а я только что излил душу первому встречному. Смятение – оттого, что не могу ей помочь. Ведь рассказывают такое не для того, чтобы просто поддержать разговор, а оттого, что копится оно, копится в душе и проливается без спросу за её края.

Я всегда верил в неизбежность счастья таких женщин.

Старше меня лет на пятнадцать, она богата той неповторимой уверенной красотой, что не допускает и возможности сравнивать её с моими ровесницами.

Обычно роскошные женщины притягивают внимание, до предела обостряя ваше чувство собственничества.

Но Ласка другая. Несмотря на простодушную откровенность, ей удаётся держать себя с великим достоинством, не позволяющим даже помыслить о возможности стать её хозяином.

Она умеет любить и потому достойна любви.

Тогда я не стал спрашивать, почему они расстались. Для меня и для неё это не имеет никакого значения.

Случается так, что отношения кончаются, уходит человек, и в вас что-то умирает. Обжёгся – получил увечье.

Тут, как в хирургии, – омертвевшие ткани положено иссекать. Сделать самому это не всегда под силу. Да и не надо. Это сделают за вас.

Жизнь, словно непонятый нами гениальный скульптор, откалывает от нас кусок за куском – на свой манер возвышая или уродуя.

Но от Ласки он не смог отколоть ни кусочка.

И чувство Ласки живёт. Мягкое и податливое, но крепкое и верное.

– Здравы будьте, – прощается она со мной своим тёплым голосом.

Я фотографирую на камеру телефона рецепт отвара.

Ужинаю в столовой санатория. Будто двадцать лет назад открыли. Деревянный декор, алюминиевые вилки, обтянутые красным кожзамом низкие стулья, длинная очередь на раздаче.

За окном льёт как из ведра. Бушует спустившаяся с гор буря. Вечернюю прогулку придётся отменить.

– А каша? Каша? – возмущённо требует добавки азербайджанская бабушка.

– Каша йок, золотая моя, каша йок, – приговаривает уставшая официантка, собирая со столов подносы на пустую тележку.



Геннадий
РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН

АРХЕТИПЫ НИКОЛАЯ КАРАСИКА

Я мчался на автомобиле в далёкую Тамбовскую область, в деревню Гаритово, к своему давнему другу, большому русскому писателю Николаю Карасику. Около восьми лет назад он бросил город и уехал в глушь, в деревню в поисках уединения. Купил небольшой старенький дом, крашенный синей краской, с резными белыми наличниками на окнах, отремонтировал – поставил новую крышу, переложил печь, сделал пристройку. Летом сад, виноградник, огород и обдумывание замыслов будущих произведений. Зимой плодотворная писательская работа. Но в начале прошлой зимы я услышал по телефону грустные нотки разочарования в писательском труде.

– Над чем вы работаете? – спросил я его во время нашего разговора.

– Я не пишу сейчас... – ответил он и помолчал. – Не пишу совсем. Замыслов много, а писать не хочется. Не вижу смысла.

Я начал говорить какую-то очередную риторику о важности литературного труда, о таланте, который грешно зарывать в землю, и прочее. Он оживился, громко засмеялся, а потом спокойно произнёс:

– Шолохов в конце жизни перестал писать, сказав, что после семидесяти это уже ни к чему. Я с этим согласен. Хватит.

– Вы не сможете не писать, – сказал я тогда.

А он ответил:

– Вот если не смогу – тогда другое дело. Лев Толстой однажды воскликнул: «Не могу молчать!» Только с таким чувством и с такой внутренней потребностью надо садиться за стол.

-
- Геннадий Николаевич Рязанцев-Седогин родился в 1954 году в с. Карамышево Липецкого района в семье учителей. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького и Московскую духовную семинарию. В настоящее время протоиерей отец Геннадий – настоятель храма Михаила Архангела в посёлке Тракторостроителей г. Липецка. В 2016 году Общероссийским общественным движением «Россия православная» награждён двумя медалями святых Бориса и Глеба «За жертвенное служение». Стихи, проза и публицистика печатаются в литературном журнале «Родная Ладога», журналах «Берега», «Поэзия 21 век от Рождества Христова», «Экоград», «Поэзия», «Север», «Подъём». Автор романа «Становящийся смысл» (2014), книги стихов «Невидимое присутствие» (2015), сборника рассказов «Трудности перевода» (2015). Является членом Союза писателей России, сопредседателем правления регионального отделения Союза писателей России, членом правления регионального отделения Международного содружества писательских союзов. Лауреат многих литературных премий.

Я такой потребности не имею. Просматривая современные журналы, поэтические антологии, интернет, я сокрушаюсь по поводу падения уровня литературы, особенно поэзии.

Я с ним согласился. Когда читаешь современных поэтов, испытываешь желание отдохнуть от рифм и услышать жизненное, освежающее слово. «Профессионально» теперь пишут стихи многие поэты. И у нас что ни стихотворец – то поэт! Но я хочу напомнить слова Сергея Александровича Есенина о том, что творчество должно быть «природой». И большой поэт или малый только тогда оставит след в поэзии, если его творчество будет природой. Все поэты разделяются на два вида: одни поэты, которых меньшинство, оставляют слово живое, наполненное жизненным содержанием; другие всю жизнь изводят себя в бесплодной книжности. Но живёт только жизненное, а всё книжное, сочинённое, вымученное скоро забывается.

Но вот весной он мне позвонил и сказал, что написал две странные поэмы на основе Греческой мифологии и хотел бы почитать их мне, потому что не знает, как к ним относиться. И я незамедлительно поехал к нему в деревню.

Пространна и пустынна наша средняя полоса России. Дороги от автомобилей свободны. Едешь – и на протяжении десятков километров иногда встретишь одну, две или три машины. Вдоль дорог молодые посадки зелёных берёз, сосен, американского клёна. Дальше поля, на которых нет людей даже в горячую пору уборки. Двигаются по полю со звериным рыком огромных размеров голландский трактор да следующая за ним машина. Они способны за три дня убрать огромные территории засеянных русских полей. Вдоль трасс возникают деревни и сёла, тоже безлюдные...

«Писать или не писать?» – на этот вопрос многие литераторы ответят положительно: писать и как можно больше писать! Отказаться в наше время писать стихи, когда пишет вся грамотная Россия, не так-то легко. Ведь надо уклониться от мелькания своего имени в социальных сетях «Стихи.ру», или в ФБ, например, в этом «литературном салоне», а некоторые литераторы славны только этим. И эти мелькающие авторы, которым не даёт покоя успех других мелькающих авторов, собратьев по перу, при удобном случае могут изойтись в пламенной защите поэзии в интернете и бесконечных пухлых антологиях. Конечно, многие умы утверждают, что Россия – самая читающая и пишущая страна в мире. Но наивно думать, что запущенный конвейер современной поэзии, в которой патетика личного превалирует над патетикой безличного, а современный поэт, истекая словесным самоупоением, подменяя в поэтическом произведении, напичканном эклектикой, духовное и нравственное содержание «изящной» словоформой, едва ли может обогатить поэзию и этическое и эстетическое чувство читателя. Вот яркий пример современной поэзии (имя автора приводить не стану).

*Всё так выглядит славно, чинно.
Светлый день, сочинённый Богом.
Капуцины, кафе, капучино,
Колокольный звон
Над порогом.*

*С птичьим гомоном,
Шумом, гамом
Перемешан так густо воздух,
Словно в зале сидишь органном,*

*Где эдем звуковой
Воссоздан.*

*Вкус эклера, крем с шоколадом.
На витрине надпись – просвечена.
Лад в душе
Скоротечной Элладой...*

И так далее, и так далее... (как любил приговаривать известный Нобелевский лауреат).

Всё здесь так красиво и такой контакт с ищущей внешние эффекты публикой. А ведь в жизни есть нечто более важное – трагическое и глубокое... А если посмотреть с позиции русской культуры, в которой возвышаются потрясающие литературные «Эвересты», то подобные поэтические изыски совсем не различимы. Но читать классику современным поэтам некогда. Они занимаются строчкотворчеством, чтобы ежеквартально выпускать по сборнику!

Александр Блок часто ставил перед собой вопрос: а нужны ли стихи? В периоды глубинного осмысления нравственных вопросов стихи ему тогда казались ненужной игрою слов. «Стихи писать не могу, даже смешно о них думать». Блок в такие минуты ощущал себя совершенно обессиленным сомнениями. «Если напишу, будет непременно ложь, то есть словесность, то есть кощунство. Лучше не писать». Глубочайшие размышления стоят за этими признаниями. Поэт наблюдал трагичность жизни и не знал, настоящее ли это дело – писать стихи. Это и есть внутренняя честность перед читателями, предельная откровенность перед самим собой и ответственность за высказанное слово! Эти состояния души и отличают подлинного поэта, и оправдывают существование литературы.

Проблема же внешних увлечений – проблема совсем не простая! В своей глубинной основе она социально-общественная. В это смешение критериев – «подлинная поэзия», «ложная поэзия» – бесспорно, вносит свою лепту безответственная критика или полное её отсутствие в псевдолитературном процессе.

С трассы Липецк–Мичуринск я свернул налево и три километра ехал по отсыпанной щебнем дороге среди заросших кустами обочин, пока не показались первые домики села Гаритово. Я издали увидел синий дом с белыми наличниками и распахнутые деревянные ворота. Николай Карасик ждал меня во дворе.

Не стану описывать наших приветствий и чаепития, чтобы не занимать время вдумчивого читателя, а приступлю к тому моменту нашей встречи, когда писатель посадил меня на диван, а сам сел на топчан у печки и начал чтение своих поэм. Первая называлась «Аполлон и Дафна», вторая – «Орфей и Эвридика».

Я слушал, наслаждаясь красотой стиха, и время от времени ловил себя на мысли, что сейчас на моих глазах совершается настоящее чудо перевоплощения, что присуще русской широкой душе, наделённой свойством всемирной отзывчивости и недюжинным поэтическим талантом. Николай Карасик описывал события далёкой исторической и культурно-мифологической реальности. Передо мной разворачивалась картина описываемых событий с такой достоверностью и литературным мастерством, что мне казалось, что я рассматриваю удивительную по своей красоте, чудом сохранившуюся древнегреческую вазу. Она была совершенна в отношениях частей! Её формы приковывали взгляд и гармонизировали всё пространство: и эту простую комнату

со столом, заваленным книгами, и русскую печь, оштукатуренную и побелённую известкой, и автора, сидящего на твёрдом топчане, читающего то, чему он сам ещё не знает цену... Эти поэмы представляли собой культурологическое явление в современной литературе. Они были подобны артефактам древности по своей красоте, изяществу, совершенству русской речи.

Я невольно вспомнил стихотворение одного известного петербургского поэта Александра Кушнера:

*У меня под рукою становились
стихами
И вино, и вода, и гора с облаками,
Подражавшими в плотности этой горе,
И Афины с забытыми ими богами...*

Влияние на читателей создаётся глубиной творчества. И для серьёзного поэта всегда будет главным самоуглубление духа. Поэзия – это не повод для словесного сооружения своего мнимого величия, а средство выразить свою сокровенную нравственную сущность. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы с удовольствием для себя писать никчемные стихи, а чтобы понять глубинные, коренные запросы человеческой души, помочь друг другу. Внешний мир в главных антиномиях добра и зла становится внутренним «полем» переживания поэта. И тогда, о чём бы поэт ни писал, частное у него будет неизбежно прорасти смыслом общего.

*За кроткий нрав и доброту Творец
Дал старцу прозорливости венец...
Латону принял старец с преклоненьем,
Чуть дверцу приоткрыл своих видений:
«Великий Зевс нарушил сам закон
Тем, что, жену прекрасную имея,
Женился на тебе вторично он.
За то и допустил Творец злодея
Тебе и Зевсу мстить за муки Геры.
Но мнит Пифон, что стал владельцем сферы
Земной и водной. Всюду мечет жало.
Что ж, злу всегда дозволенного мало.»*

Здесь, в языческих перипетиях древнегреческих богов и героев, поэт находит нравственные критерии для оценки их неблагоприятных поступков, которые влекут за собой трагические события... Эта мысль прослеживается в поэме «Орфей и Эвридика». Но главное, что жизнь героев Олимпа подспудно соотносится с жизнью нашей, современной.

Я слушал Николая Карасика, и понимание замысла его творений всё больше укреплялось в моём сознании. Эти поэмы суть бегство поэта от надвигающейся пошлости во все сферы культурного пространства России в мир вечных архетипов человеческой культуры...

*Любовь Творцом на небе рождена.
Всего лишь искра той любви дана
Его всевышней властью, всеблагою
Нам всем простым. Всесильною рукою,
Чтоб замыслы высокие свои*

*Могли мы, грешные, вполне исполнить,
Творец ведёт нас по троне любви.
Но свет любви подобен свету молний:
До горизонта мир весь освещая,
Даёт душе полёт, познание рая
В мгновеньях радости, восторга, счастья...
И годы бед, душевного ненастья.*

Аполлон тщеславится тем, что убил ненавистного и непобедимого дракона Пифона, но дочь бога воды Дафна говорит ему:

*От правды всё же отступают боги,
И потому по царственной дороге
В облинии, отличном от Пифона,
Но зло опять придёт к подножью трона.*

И слова эти пророчески звучат и для общества нашего времени.

Чтение было завершено. Мы помолчали. Я смотрел на слегка утомлённого автора.

– Знаете, о чём жалею, – сказал я, нарушив молчание, – что не снял ваше чтение на видео. Это было потрясающе!

– Ну и что это? Я имею в виду, что я написал?

– Это литература, в которой во всей полноте живёт великолепный русский язык. Это замечательное культурологическое явление в нашем современном искусстве. И я счастлив, что первым это услышал...

Я ехал домой и думал, что значение творческой личности – в переработывании опыта жизни, опыта культуры в своё, неповторимое. Созданием жизненных и культурных ценностей и продолжает жить поэзия. И я убеждён, что в искусстве есть справедливость: всё настоящее займёт по праву ему принадлежащее место.



**Николай
КАРАСИК**

ОСЕННИЕ МЫСЛИ

ВСТРЕЧА

На берегу реки, под Красною горою,
Где лес сосновый на ветру гудит,
Стояла мельница... Мне и теперь порою
Всё кажется: она ещё стоит.
Со скрипом, тяжело сломанные крылья,
Гонимы ветром, медленно плывут...
О нашей встрече чудной не забыл я:
В годах утрат минуты те живут.
Мне не забыть в веснушках рыжих взгляда
Восторженных, стыдливо-чистых глаз...
Прелестниц звёздных было б мне не надо,
Когда бы ты была со мной сейчас.
Я молод был, и ты была наивна...
Народ в деревне часто говорил,
Что ты красива, как русалка, дивно,
Я ж – без руля, без крыльев, без ветрил...
На берегу реки под Красною горою
Остановилось время для меня:
Ты навсегда осталась молодою,
Вся из любви, из ласки, из огня.

Уходят не только к любимым,
Уходят порой от любимых.
Нам опыт былой говорит:
Любовь не прощает обид.
Простить будет легче врага,
Тех, кто был к тебе безразличен,
Тех, кто тобой возвеличен.
Жизнь очень крута и строга.
Как ранней весною река,
Так ваша душа от обид
Затопит любви берега,

-
- Николай Анатольевич Карасик родился в 1951 году. Окончил филологический факультет Липецкого педагогического института. Автор девяти книг драматургии, поэзии, прозы. Драма «В час испытаний» легла в основу оперы композитора А. Чайковского «Легенда о граде Ельце». Лауреат Липецкой областной премии им. И. А. Бунина (2013 год), Правительственной премии (2017 год).

Клокочет, мятежно кипит.
Тогда, о Пречистая Матерь,
Всевидающий нас Иисус, –
Как ни был бы тяжек нам груз,
Войти в берега гневу дайте,
Смиренно принять всё, уйти,
Лишь помнить: то к Богу пути.

ОСЕННИЕ МЫСЛИ

Красно-коричневый лист на дубах,
Жёлто-оранжевый лист на берёзах –
Как поцелуй на печальных губах
Или улыбка сквозь горькие слёзы.
Боль! Жёлтый лист в небесах голубых!
Жизнь удивляет, как радость чужая:
Юность бездумно всё пилит дубы –
Зрелость по вырубкам вновь их сажает.
День нарождается, светел и чист...
Только любви не дано повториться...
Жизнь – оторвавшийся осенью лист –
В небе мелькнёт как вечерняя птица.

Веют тяжёлые, чёрные, жгучие ветры,
Дождь одержимый размыл-растворил и дорогу:
Рытвины, кочки, овраги – не ступишь и метра
Тихо, спокойно. Но всё ж, вздохнувши немного,
В мыслях, душой оголённой, как грешник пред Богом,
Шёл я к тебе, изнурённый дневной суетою...
Буйно цветущая клумба пред школьным порогом
Вновь полыхает во мне негасимой свечою.
Чу! Перемена большая. Лапта. Догонялки.
Мишка Ермолов – с добрейшей, открытой улыбкой;
Юрка Нагорный, серьёзный, чуть-чуть непонятный,
Тайно влюблённый в отличницу Гаршину Нинку...
Вот и директор, танкист, фронтовик, справедливый;
Мудрые, сердце отдавшие нам педагоги...
Ветры притихли. Дожди укротились. Разливы
Спали с души, будто реки. Открылись дороги.
Песню рокошет мотор легковушки печально,
Ветер полощет седины под выцветшим небом...
Годы мелькнули, как вспышки зарниц за плечами.
С Ниной на родину к школе родимой мы едем.
Жизнь заколодило жутко; бурьяном печальным,
Кладбищем, вовсе заброшенным и забытым,
Встретило школьное место нас горько-отчаянно,
Как перед смертью ребёнок – с улыбкой невинной.
Ныне покойные, вспомнились Юра и Миша...
Не за себя, за Россию, поверьте, обидно:
Глохнут деревни, их голос всё тише и тише.



**Анатолий
КРИЩЕНКО**

ПРОРОЧЕСТВО ДЕНЩИКА

Чуть отойдя от мольберта с кисточкой в руке, художник подумал, глядя на картину: «Кажется, готов мой сюжетец». Насмешливо вслух продекламировал:

*– И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице,
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
Я, дескать, до денежек доберусь!*

М-да, балаганные мои стишата... Но ведь почти всё искусство балаганно. Старик Шекспир... Он ведь тоже местами балаганный. Да нет, он весь – историчен! – Скрестив руки на груди, тихо продолжил: – Вот у Брюллова Аполлон – гений красоты, на века историчен. А мой жених совсем не гений и не историчен, шельма. Но житейски типичен. Коль он узнает себя, то дуэли не избежать. Прототипчик-то мой не глупец. Он чуточку игроман, как все гвардейцы. Да и негвардейцы. – Наклонясь, стал озабоченно вглядываться. – Верно я говорю, господин майор? Вы же игрок азартный. А игроки такого пошиба, вроде, дураками не числятся. По себе знаю, по себе... – Улыбнувшись, воскликнул: – Да, покуражился я малость с этим женишком «казарменным»! – Помолчав, продолжил: – Что-то темновато и в моём казарменном дворце. М-да, во дворцах вельмож-аристократов от интриг порой пасмурно бывает. Но та пасмурность иная. – Громко позвал: – Эй, пехота!

Вошёл денщик, по-солдатски отчеканил:

– Я, вашбродь, тута. Чего изволите?

– Ты, Аркаша, ставенки приоткрой. Впусти солнышко. А то моя работа совсем померкла. Я её сотворил (по секрету сказываю) в полусвете. Сознательно. Сюжетец такой сумеркастый. Но свет сейчас необходим особо для невестушки. Дадим

-
- Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в городе Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Прозаик, драматург, поэт. Публиковался в журналах «Подъём», «Волга–XXI век», в региональной печати и краевых литературных изданиях. Автор нескольких книг прозы и поэзии. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Справедливый мир». Живёт в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края.

его. Светись, милая, обманной мечтой надежд. Светись. Уяснил, служба? Понял?

– Малость понимаемо. Оно так, вашбродь. Но свет Создателя вашего женишка-майора особо не прояснит. Не прояснит, вашбродь.

– Как не прояснит? Ну-ка, сказывай.

– Да-к, он того, вашбродь, жених-то ваш, охвицерик, в темноте своей души проживая. И, кажись, он у вас дюже похмельной. Точно похмельной.

– Шагай, похмельной!.. Да табак свой поменяй. А то в доме, как в казарме, махрой прёт. Уяснил?

– Будь сделано, вашбродь! Как разбогатеем, махру поменяю. Нам бы квартиру поменять, Павел Андреевич..

– Ишь ты! Аристократ махровый. Топай, пехота, свет впусти.

Вскоре послышался со двора звук открываемых ставен. Брызнувший свет безжалостно высветил серую скудность невысокой комнатки: кровать, старый диван, табуретку и мольберт с картиной.

Федотов с загадочно-насмешливым выражением лица, глядя на своё творение, произнёс незлобно:

– Ишь ты, шельмец служивый. Моего майора-жениха назвал похмельным ободуем... И всё же, и всё же... А здесь, над «похмельным», надобно осветить малость пространство.

Поправляя картину, неожиданно услышал тихий скрип мольберта. Вздрогнул. Проникновенно выдохнул:

– Ты того, не жалуйся на жизнь. Я тебя не брошу, кормилец. Старый-то друг лучше новых двух. Терпи, терпи, брат. Не ругайся, скрипун. Добавление, друже, – головная боль, как перепой. Пойми, сюжет сей... он ведь венец моих опасно-игровых замыслов. – Продолжая что-то обновлять, твердил: – А творчество тоже игра. И очень опасная штука. Безденежная. Брюллов об этом предупреждал. Не совсем целиком отдаваться живописи. Осторожно предупреждал, что живопись, мол, и озарит, и разорит. Предупреждал. Но мы, мольбертик, – гвардейцы. – Уже другим, насмешливым голосом продолжил: – А вот извольте посмотреть... – Наклонив голову к картине, произнёс: – Что-то молчит сюжетец. Молчит, шельма. Не поёт-с. М-да, а те мои портреты вельмож все солировали малость. Хоть на разные мотивчики, но пели почти по-парадному. А здесь не парад – жизнь! Те пели, а этот... продуманный сюжетец молчит. Молчит, как пленник на допросах. – Махнув рукой, решительно произнёс: – А-а-а, семь бед, один ответ. Таких типажей свет особо не любит. Затемню ещё пространство вот здесь и здесь. – Продолжил осторожно работать кистью. – Надо. Контрасты, мольбертик, это же тайны замыслов. Они, брат, порой больше говорят, чем прототипы. Я давно рисую не по озарению, а по ощущению. Интуитивно, брат. – Отходя от мольберта, позвал: – Эй, служба!

Быстро вошёл денщик. Покорно, с уважением доложил:

– Вашбродь, я тама... того... обедом занимаюся. Суп варганю. Мяс нетути. Ставенки, как вы приказали, приоткрыл. – Вглядываясь в картину, изрёк: – Но от свету женишку, вроде, вижу, не полегчало. Хотя, вроде, малость осветился, как малость похмелился, ну, принял на грудь трошки. И нам бы не помешало... Мяс тож не помешало...

– Ишь ты, пехота! Наступаешь ползком. Возьмём и этот сюжетный рубеж, Аркаша, возьмём! Про мясо потом. Ты вот что, человеке, подойди и послушай мою картину. А то она меня малость в полон взяла. Да, да, Аркаша. Картины часто и в полон берут нас, художников. И они, друже, всегда у меня поют малость. Уразумел?

Взглянув на Федотова, денщик, бегло перекрестясь, тихо произнёс:
– Спаси его Бог. – Громче добавил: – Оно, можа, и так, вашбродь. А вы дажите того, ну, малость осунулись, похудели...

Махнув рукой, художник перебил:

– Не пугает бес, пехота, наберём вес. Ты, человече, подойди, послушай картину.

Слуга, часто заморгав глазами и уже открыто перекрестясь, тихо спросил:

– Как? Как послухать, вашбродь? – Прошептал: – Спаси его, Христос. Мой командир... того...

– Что ты бормочешь? – с металлом в голосе спросил художник.

– Да я... того... для себя. Сказываю...

– А ты, браток, для меня: ну, подойди к мольберту, послушай...

Солдат нехотя подошёл, наклонил голову и даже для убедительности прислонил ладонь к уху.

Художник, становясь рядом, тихо спросил:

– Ну как? Напевность услышал?

Слуга, выпрямившись, тоже тихо, но твёрдо ответил:

– Нет. Картина молчит. И краски не певают.

– Вот, вот! – подхватил художник. – Не певают. А они должны петь!

Петь, служба!

Поджав губы, «служба» спросил:

– А те портреты, те, что вы нарисовали и за что вам деньгу такую одали, разве они певали?

– Певали, браток, певали. Оттого мы малость тогда пировали.

– Ага, я всё помню, вашбродь.

Подойдя в картине, перекрестясь, стал в ту же позу, прислушался. Замер.

Художник с беспокойством ждал ответа. Денщик, выпрямившись, как приговор отчеканил:

– Не певая, вашбродь! Ей богу, не певая. А можа, я того... не слышу, как вы. Я ж малость контуженый.

Павел Андреевич, махнув рукой, вновь зашагал по тесноватой комнатушке. На ходу буркнул:

– Всё так и не так. Не так, как в ней, вёщей, сказано... В начале было Слово. Слово. Рисунки наскальные тоже подкрепляли Слово Его.

Встретившись с вопросом в глазах денщика, раздумчиво, как бы издалека, вежливо проговорил:

– Ты, браток, Библию читал?

Солдат, виновато почёсывая затылок и опустив глаза, признался:

– Да я, вашбродь, того... грамоте не обучен и читаю маленько, врасстяжку...

– Я тоже врасстяжку рисую, пехота. И когда так мучительно входишь в картину, всегда хмелеешь и забываешь не только близких, но и себя. Но и себя... Так о чём я сказывал? О чём-то очень важном... Вспомнил! Хотелось сообщить тебе, брат, о главной книге.

– Это Библия, вашбродь?

– Молодец! Догадливый ты. Догадливый. В ней, браток, сказано, что на земле много званых, да мало избранных. Разумел, догадливый: мало избранных!

Чуть отойдя, уже с освещённого ракурса всматривался в картину и тихо что-то напевал.

– Как не разуметь, вашбродь. Она, Библия, главнее главных писаний.

Почёсывая за ухом, слуга не быстро, как всегда, а раздумчиво добавил:

– Я того... вашбродь, так кумекаю: званые, ну, по святой книге той, по Библии, они для службы, для войны, для охраны Россиюшки. А остальные не супостаты, они Создателем определены на вечность для скрепа духа. И они в ангельском войску службу свою несут вечную. – Слуга от непревычной напруги даже вспотел. Отирая рукавом лоб, добавил: – Не так? Вашбродь, пошто смолкли? Я же грамоте, того, не обучился, дуралей.

– Да ты, браток, – тихо, раздумчиво отозвался хозяин, – умнее многих грамотных...

– Не-э-э, – протестующе перебил денщик. Доверительно сознался: – Я, бывая, не то говорю. Дуркую малость. А ум что, вашбродь? От ума лукавого мы страдаем. Нас, грешников, часто бес арканить, как мы коней.

– Может, и так, – задумчиво ответил живописец. – Может, и так. Ну, ступай, ступай, служба. Вари похлёбку. Да смотри, не пересоли, не переколи...

– У меня похлёбка солдата по всем законам, как царёв устав.

– Сдаюсь. Царёву уставу подчиняюсь. Обещаю тебе, гвардеец, как заботею, котлетами станем баловаться. И ещё кое-чем. – Дружески подмигнул. Гвардеец заулыбался. Его землистое лицо просветлело.

Денщик вышел.

Оставшись один в своём «казарменном дворце», Павел Андреевич вновь ощутил жгучее недовольство собой. Где-то под сердцем засосало. «Это лихая и совсем не сюжетная свето-тьнь, – размышлял он. – Сия серая гамма жизни мутит мой дух с детства без передышки. В ней бурлят невидимые, но ощутимо-горькие эскизы моей судьбинушки-дубинушки».

От горьковато-сверлящего волнения пошевелил сухими губами. Слегка прислонившись к потёртому кожаному дивану, насторожённо думал: «Картина готова. Хватит! А то вместе с водой, как говорят, выплеснешь и сюжетного женишка. Надо показать «Сватовство» Брюллову. Звал он намеренно заглянуть к нему в академию. Решено. Поеду! – С сомнением продолжил: – Но Карл Павлович академик признанный, художник с большой буквы. А я кто? Самостоятельно освоил технику масляной живописи. Увлёкся. Кое-где блеснул. Ну и что? Моя-то житушка-игрушка сумрачна. Может, и поэтому солируют частенько в моих сюжетах туманные краски. Я-то давненько подмечаю несправдливую картину жизни. Частично стараюсь уловить русское полюшко духа. – Задумчиво повторял: – Полюшко духа, полюшко духа...»

Мысли художника, освободившись от сюжетных пут, улетали в прошлое. В родной дом. Вспомнил сестёр и отца, тоже солдата, дослужившего до офицерского чина. «Память-то часто постреливает в нас из прожитого. Потому, может быть, мы, люди, нередко ведём атаку от себя и на себя. Но такая атака на себя хуже, чем на врага, и в этом пожизненном сражении ты сам и царь, и солдат своего сюжетца. Понимаешь, мольбертик, сия картина не только личное сватовство майора, но и моей судьбины. Так-то, брат. Ты не зря скрипанул, дружище. Это тёмное сватовство – игра ва-банк. В ней, мольбертик, краплёных картин и бодряще-манящей выпивки нет. Здесь иные краски и иные мелодии. Почти крыловские. Сам-то Иван Андреевич меня с потрохами принял. Подсказал развивать народную тему. Не только бар рисовать, но и обычных горемычных простолудинов... го-ре-мыч-ных».

Солнечный зайчик снова заметался по комнатке.

Федотов насторожённо наблюдал. И ему как будто впервые увиделась личная тускляя картина своего быта. Остро снова и снова захотелось полузабытого риска удачи, как в соревновании с гвардейцами-сослуживцами, где

он – Федот да тот! – часто бывал победителем и тем насмешливым счастливым удачей, где распахиваются невидимые врата везений: и в науках, и в картёжной игре, и в опасно боевой обстановке. Там, в юности, играли не только карты, ружья и боевые клинки, а те памятные всплески удач, что не терпят поражений. Всё нутро вдруг прожгло знакомое желание победить. Победить! Чтобы остаться живым.

Остро почему-то возникла необходимость поделиться словом. Не эскизом-рисунком и не его маленькими баснями, что давно самостоятельно бродят по Петербургу.

Позвал:

– Шагай сюда, человек. Шагай, родимый.

– Я тут, вашбродь, – доложил быстро вошедший Аркадий.

– Ты, браток, кажись, прав. – Кивнул на картину. – Я вот здесь добавил чуть света над головой майора и услышал, да, услышал! И она чуточку задела. Жаль, родимый, что тебе не дано это услышать.

Верный денщик, часто заморгав, подбежал к картине, наклонясь, замер. Глядя на хозяина, как-то по-другому, шёпотом произнёс:

– Да, кажись, того... вашбродь, спевая малость.

Художник, вздрогнув, стал расхаживать по комнатке. На ходу выдохнул:

– Ну, спасибо тебе, родной.

– А за что спасибо? – удивился слуга.

– Не знаю, как тебе сказать, Аркаша.. Может, за то, что и ты наконец-то услышал тайную напевность моего каторжного труда!

– Я-то что? Нутро людей на картине всегда тоже тайна. И потом я же не кадемик, а народ. Малость благой..

– Так я, браток, рисую для народа. Его блаженное чутьё – от Бога. Оно частенько бывает выше учёных академиков. Точно выше! Ступай, браток, и договаривайся с ямщиком, твоим земляком. В долг поедем. Бывало же... Вернём должок, как всегда, с надбавкой.

Денщик медленно приблизился к двери. Остановился. Открыв рот так, что усы настороженно ощетинились, сообщил растерянным, тихим голосом:

– А тут, вашбродь, уже не слышать.

Художник сердито, но в дружеско-нисходительном полутоне выдохнул:

– Ты что, пехота! Рисунок, милейший, это же не военный марш. Его музыка, как ты знаешь, за версту слышно! А каждый мазок краски равен звуку слова. Да, да, слово-звуку. Потому краски у меня и поют. Тихо. Понял?

– Знаемо, – буркнул Аркадий. Подойдя к картине, нагнувшись, сообщил: – А тут слышать. – Неожиданно стал считать вслух, показывая указательным пальцем правой руки на картину: – Раз, два, три, четыре, пять...

– Зачем считаешь моих героев? – строго спросил художник.

– Для просвету ихнева. Счёт-то дружбы не теряя. Он, скрепляя всех, вашбродь, а сватовство дюжа смурное. Ну, темновато... вроде в лесу дрёмном.

– Ты о чём? – отстранённо спросил Павел Андреевич.

– Ясно дело: об картине этой. Для такого случая темноватая она.

– А жизнь, пехота? Разве она светлая? Вот и сватовство такое бывает тёмненьким, как жизнь... как жизнь.

– Как кому. Местами жизнь светлее бывая и для меня дажить.

– Это после кабака, пехота? – с издёвкой спросил художник.

– Ну да, угадали. Да я редко тама просветляюся. Как все.

– Как все, как все... – повторял Федотов. Строго спросил: – И кто же тебе понравился в этой картине? Жених, конечно, нет, а остальные?

– Ежели честно, то никто. Не тово, ну, не по душе моей эти людины. А вот кот, маленько признаю, вашбродь. Он как наш Васька. Только наш воровитый, а етот сытяга и добряга. Гостей лапкой, кажись, зазывая. Хоть и в темноте тоже проживая. Но мне приглянулся. – Подойдя ближе и приложив ладонь к уху, одобрительно, уже с почтением изрёк: – А ведь точно она звук даёт, вашбродь. Картина хуть и тёмная.. но напевная, а кот, кажись, мурлыча тута в потёмках. Он сытяга. Не воровитый, как люди.

Художник, уже миролюбиво разводя руками, снисходительно обронил:

– Ну, раз ты, пехота, признал мою тёмную картину и кота неворовитого, то и академик Брюллов, надеюсь, признает.

– Оно так и будя, вашбродь. А вы тож будете кадемиком. Не брешу, ей богу. Будете. Не брешу.

– Ну, ступай, предсказатель, договаривайся, кадемик...

ЭПИЛОГ

Действительно, «оно» так и случилось. Брюллов с восторгом принял картину «Сватовство майора».

За это полотно Павел Андреевич Федотов получил звание академика. Он заслуженно признан основоположником критического реализма в русской живописи.

Работы классика: серия портретов, жанровые сцены «Сватовство майора», «Свежий кавалер», «Вдовушка», «Завтрак аристократа», «Разборчивая невеста», этюды, наброски, карикатуры... типичные картины 19 века – обесмертили его имя. И всё же капризная слава не спасла Федотова от нищеты. Последние месяцы жизни он провёл в психиатрической больнице. Умер в возрасте 37 лет в 1852 году.

Но бессмертное имя и картины русского самородка Павла Андреевича Федотова продолжают свою жизнь на вещем холсте памяти.



**Валерий
АРШАНСКИЙ**

БЕЛОВИК И ЧЕРНОВИК

Журнальный вариант

**ЭТУ ПОВЕСТЬ ВАМ, МОИМ ДРУЗЬЯМ-ОДНОКУРСНИКАМ,
ПОСВЯЩАЮ!**



Валерий Аршанский с однокурсниками

К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков, её нельзя редактировать, вычёркивая отдельные страницы. Исправить опечатки невозможно.

Сергей Довлатов

ГЛАВА 1. ТЯЖЁЛЫМ БАСОМ ГРЕМИТ ФУГАС...

Едешь ли ты на машине, летишь ли на самолёте – одинаково замечаешь, как нескончаемо тянутся на запад и на юг уютные долины-седловины Северокавказского края. Закрытые с востока хребтами синих гор, они в любую пору светового дня остаются удалёнными от своей же тени, позволяя с норда – севера – прорываться и резвиться освежающим прохладным ветеркам, таким желанным в эту летнюю пору, капризно усадившую род людской на раскалённую солнечную сковороду.

-
- Валерий Семёнович Аршанский родился в 1945 году в Магнитогорске Челябинской области. Вырос на Украине. С 1967 года живёт в Мичуринске. Работал журналистом, главным редактором газеты «Мичуринская правда». Возглавлял издательский дом «Тамбовская жизнь». Публиковался в журнале «Подъём», в «Тамбовском альманахе», коллективных сборниках. Автор 18 прозаических книг. Лауреат областных премий им. И. А. Гаврилова и А. К. Воронского.

Спасаясь от убийственной жары, мы забрались со старым моим другом Димычем в какой-то заброшенный парк (или сквер?), от которого не осталось ни входа, ни выхода, где валяются лишь склянки, банки, ключья грязной бумаги да переломанные звенья чугунных, искусно кованных решёток и раскачивается на столбе исписанная каракулями дебилов фанерная афиша с прежним названием городского сада: «КОМСОМОЛЬСКИЙ».

– Вот такой след на земле твои благодарные читатели оставили, – может быть, излишне язвительно, ну да он простит, обвожу я рукой загаженное обозримое пространство перед чистым ликом Димона – бывшего главного редактора молодёжной газеты.

– Не главного редактора, а ответственного секретаря! – старательно выпуская сигаретный дым, поправляет меня Димыч.

– Но ведь – ответственного! – оставляю я за собой последнее слово.

Как будто это может что-то на стихийной свалке курортного края поменять...

Не знаю ощущения Димона, он человек в общем-то скрытный, а мне, только-только вернувшемуся из красавицы-Ханнофы (так немцы любовно называют свою нижнесаксонскую столицу Ганновер), здесь неуютно, некомфортно. Я видел там город, утопающий в цветах и аромате лип, чистейший город, где создаёт прекрасное настроение нежнейшая музыка, сотканная из вальсов Шуберта и органных произведений Баха, негромко льющаяся на улицах... из-под крышек водопроводных люков. А здесь – как можно спокойно взирать на помойку в центре известного курорта? Скорбно, как на тризне, склонились в сиротской покорности неухоженные, неподстриженные и неполитые, засыхающие кусты чубушника и барбариса, жимолости и лаванды. Молчат (а что они скажут?) липы, клёны, тополя, полвека назад совсем ещё хилыми, тоненькими хворостинками посаженные здесь на субботниках и воскресниках (я представляю!) крепкими юными девами – скульптурными дискоболками, и мускулистыми юношами-атлетами, с фигурами не хуже, чем у греческих богов.

Как кораблю во время шторма нужно отойти подальше от берега, потому что посередине моря тише, так и мы углубляемся с другом моим Дмитрием в парковые дебри, надеясь отыскать хоть какое-то пристойное местечко для отдохновения и неспешного употребления вместительной пивной баклаги под вяленого лещика. И, к нашему удивлению, всё чаще находим не тронутые пакостной рукой человека оазисы. Без следов вторжения четвероногих и птичьего экстаза.

На бывшей детской поляночке, в кругу раскуроченных качелей-каруселей всюю расцвёл синими, красными, бледно-зелёными цветками шалфей, поблизости явно набивается ему в подружки лукавая душица, а чуток поодаль, что необычно даже для здешней ранневесенней поры, выглянули на белый свет туберозы и анемоны. Приветливо кивают миру асфодель, примулы, мышинный гиацинт, а вместе с ними ещё какие-то лиловые цветы, которые не то что мне, а и моей маме, всю жизнь преподававшей ботанику в школе и зоологию в учительском институте (а то откуда бы я всё это знал?), пожалуй, были неведомы.

Димка, шутливо подталкивая меня под локоток, предлагает нам явиться в кабинет местной власти с предложением взять нас на полставки в этот парк садовниками, флористами, разнорабочими, кем угодно, лишь бы восстановить всю запущенную популяцию цветочных растений. Жалко ведь такой красоты, достойной Европы... Неисправимый грубиян, я разъясняю другу не только названия цветов, но и то, где Европа и где легко рифму-

ющийся с ней... её антипод, и в каком месте находится у пчёлки это самое «жалко»...

А точку для привала мы всё-таки нашли! И не какую-нибудь там расхристанную халабуду, а вполне пригодную для размещения зрелых философов аудиторию – целый балаган с навесом. Им оказался бывший летний кинотеатр, точнее, уцелевшая рубка киномеханика. Откуда поколению за поколением вначале показывали обязательный для просмотра агитационно-пропагандистский киножурнал «Новости дня», а потом весёлые фильмы с песнями-шлягерами на все времена. Например, про чумазных механизаторов, с перепутанным алгоритмом действия в «Марше трактористов»: «Мы с чудесным конём все поля обойдём, соберём, и посеём, и вспашем», хотя поначалу полагалось бы, наверное, вспахать, посеять и лишь потом убирать... Чумовой по фантазии и напрягу фильм про Чапаева, Петьку и Анку, реально живших и реально воевавших, но через полвека после Гражданской ставших персонажами уморительных анекдотов. И правильно! А что другое может застлать травой забвения ту страшную карательную сечу своих против своих? Только смех да юмор...

Наверняка крутили в этом кинозале под открытым небом и ленту про пограничников с умнейшей на свете собакой Джульбарсом, порой казалось, даже более умной, чем дошлые старшины-следопыты. А фильмы про лётчиков, моряков, милицейских следователей, умевших по одному папиросному окурку найти и обезвредить целую банду? Это же были шедевры кино середины прошлого века!

Сегодняшние сценаристы пытаются воспроизвести сталинское время по газетным страницам, придумывая разные глупости: то водку под названием «Пшеничная», то шпроты «Рижские», хотя при Иосифе Виссарионовиче отродясь такого не знали, а пили водку «Московская» и закусывали консервами «Бычки в томатном соусе». Досужие драматурги и режиссёры, правнуки Алексея Каплера, вызывая смех в зрительном зале, показывают телефоны в послевоенных саманных сельских хатах-мазанках, хотя на самом деле очередь на установку аппаратов (даже по блату!) стояла в тридцать три вилюшки даже в городах, что уж говорить о сёлах. Телефонизация тех убитых, сожжённых, разграбленных деревень так же нелепа и неправдоподобна, как прозвище на жаргоне служителей правопорядка 1950-х годов «менты», хотя раньше этого словечка не знали и милиционеры по-уличному звались «милитонами»...

– Хватит, не зуди! – обрывает мои обличения самый ответственный из всех ответственных секретарей областных молодёжных газет прошлого века Дима. – И то тебе не так, и то не этак... Хватит! Смотри, как мы классно в кинобудке устроились. А? Нам не страшен серый волк, нас у мамы целый полк.

Конечно, нам с Димом несказанно повезло в том, что сумели мы с ним достичь заветной цели: минуя (подумать только!) десятки лет послевузовского житья-бытья в разных городах и разных губерниях, смогли сговориться наконец по-взрослому и встретиться пусть не у него и не у меня дома, а как бы на нейтральной полосе. Но встретиться, доннер-веттер, шорт возьми! «Гаудеамус игитур... – возрадуемся, будем веселиться! – ...Ювенес дум сумус! Пост югундам ювентутем...» Я когда-то полностью знал эту латынь в честь студенчества...

– За долгожданную встречу, дорогой Дмитрий Павлович!
– За нашу прекрасную встречу, Вадим Батькович!
– Изволите ли вяленого лещика откусать, господин статс-секретарь? Только не как Собакевич, обгладывая втихаря всего сразу, а культурненько отщипывая, помаленечку...

Мило пикируясь, мы плавно вплывали в не обозначенную предварительным протоколом встречи, но потому вдвойне желанную волну воспоминаний, на которую ещё надо суметь заплыть, взобраться и которая далеко не всегда покоряется даже очень мудрым человекам.

Я знал, что Димка (это для своих подчинённых в нынешней его областной типографии он Дмитрий Павлович, а для меня как был, так и остаётся всё тем же журфаковским другом Димкой – с именем, но без отчества, как и я для него – просто Вадька), так вот, я знал, что Димыч вот уже который год пишет, да всё никак не напишет – что там у него за жанр – рассказ, повесть, роман? – под давно выношенным названием «Абрамцево, 13». Это личные его воспоминания о большом подарке судьбы – встречах и общении с Юрием Павловичем Казаковым. Писателем, равным по таланту нобелевскому лауреату Ивану Алексеевичу Бунину, о котором он страстно хотел при жизни написать, да в силу разных причин так и не написал. Вот малюсенький отрывок прозы Казакова о простом русском парне, молодом мужике, трудяге. Вчитайтесь!

«Идёт мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землёй? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и не милы ему росистые луга и тихий плёс, не мила лёгкая, вольная, редкая работа?»

А ведь прекрасна же его родина – эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни – каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прятаясь во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохом шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с её скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!»

Пересчитайте, пожалуйста, сколько здесь строк? Я насчитал тринадцать. А теперь скажите, пожалуйста, кто из современных мастеров прозы сможет так, как Казаков, всего лишь в тринадцати строках передать, точнее, изобразить грусть и маету человеческую – обычное людское состояние – через пейзаж, через глубокий вдох любви к родине, через портрет героя... Изображение – вот в чём сила и мощь писателя. Изображение – но не пересказ...

Казаков если не выезжал из Москвы для сбора материала к новым своим произведениям (а выезжал он то и дело), то жил или в малоприметном доме на Арбате (теперь там, на пути к театру Вахтангова, всегда останавливаются и благоговейно замирают поклонники его таланта у мемориальной доски), то на даче, в том самом подмосковном Абрамцево, в пронумерованном «несчастливым» числом «13» доме. (Вскоре после смерти писателя загадочно разворованном вместе со всем хранившимся там бесценным архивом.)

Казаков – ярчайшая звезда. Бунин – мегазвезда. А уж кто сегодня равен по таланту Юрию Казакову – умри, Денис – даже самые благожелательные критики и литературоведы навряд ли скажут.

Мне думается, более того – я уверен, что на гигантских просторах Российской Федерации в каждой библиотеке или в читальном зале, в архаичных «красных уголках» сохранившихся Домов культуры, передвижках, клубах, включая армейские, в развалах допотопных изб-читален, юрт и яранг, на худой конец, на этажерках детских домов или домов престарелых, на книжных полках жителей Арзамаса и Анадыря, Воронежа и Воркуты, Ярославля и Якутска обязательно отыщутся скромненькие книжечки с произведениями Юрия Павловича Казакова, изданными при его жизни. Где каждый рассказ – алмаз. Найдите, почитайте – убедитесь сами.

Я не сразу приходил в себя после чтения самых первых его творений – чистых, хрупких, прозрачных, завораживающих лёгкостью слога и ясностью воссозданных жизненных картин, таких, как «Тихое утро», «На полустанке», «Голубое и зелёное», «Тедди». Я, ошеломлённый, вгрызаясь в каждую строку, пытался понять, как, за счёт чего можно построить душу выворачивающие наизнанку рассказы «Трали-вали» «Свечечка», «Во сне ты горько плакал». Но если рассказ «Трали-вали» был включён издательством «Художественная литература» в престижнейшее из престижнейших – Всемирное книжное наследство из двухсот томов (эта Библиотека существовала в течение десяти лет!) и увидел свет в коллективном сборнике «Советский рассказ», то последние две новеллы впервые были напечатаны как раз на страницах Димкиного «Комсомольца». Хотя вполне могли бы сразу стать украшением любой книги, любого альманаха, любого толстого журнала, в конце концов, пользующейся тогда бешеной популярностью «Литературной газеты».

Но надо знать уникальную общительность, завораживающую обходительность друга моего Дмитрия Павловича, эту его чудотворную способность стать милягой для кого угодно... Вот был бы он разведчиком Главного разведывательного управления – зуб даю, сумел бы за два месяца подкупить даже неподкупного Президента Гватемалы или там премьер-министра Парагвая! Неподражаемо Димкино умение через тридцать три секунды знакомства стать корешем, другом, «семьянином», как говорят деклассированные элементы, и для недавно освободившегося из мест заключения несчастливца торговца наркотиками, и для обласканного вниманием со всех сторон счастливого депутата из Охотного Ряда. По-моему, коммуникабельность такое свойство называется. Она (оно?) и сделали своё дело. Право первой ночи на печатное обладание щедрым даром прижизненного классика получила именно Димкина «молодёжка».

Сидя за простенькой, как сельская тюря, баклагой разливного пива, много и часто, к моему огорчению, курящий Димофон, бывший радист-подводник, а после четырёх лет службы на Военно-Морском флоте – мастер-сталепрокатчик, и только потом поэт, прозаик, журналист, рассказывал мне в подробностях о том, как это было.

И всплывал передо мной подсвеченный приморскими фонарями южный берег Пицунды. Пропитанный здоровыми запахами кофе, духов, мандаринов Дом творчества писателей, журналистов и кинематографистов, где некогда бывал и я, встречая бывших и настоящих звёзд синема, далеко не всегда отвечавших в повседневности тем героическим образом, которые они так живо и достоверно воспроизводили в трагедиях и комедиях. Эта их манерность, вечная игра, даже при двух зрителях, этот эпатаж, едва переступят порог гостиничного номера, этот неестественный смех... Ну да ладно, спешем на издержки школьного и семейного воспитания.

Я сдружился на шахматной почве с давно позабытым актёром Иваном Сергеевичем Косых, отчимом Виктора Косых – помните его смелого Даньку

из плакатного боевика «Неуловимые мстители»? (Несчастливая сложилась жизнь, и рано грянула смерть Даньки – Виктора Ивановича Косых...)

С отчимом Даньки мы – оба азартные – и не замечали, как легко пропустили то обеды, то ужины, засиживаясь за клетчатой доской до потери пульса. Единственным человеком, кто мог выгнать, разогнать нас из облюбованных углов, заставить выпрямиться в рост после длительных часов согбенности и отправиться на перекус, были не жёны, а красавица (до неудачной пластички) Вера Валентиновна Алентова. Актриса в ту пору – богиня, послушаться которую не могли не только профорг Театра киноактёра, некогда сыгравший главную роль командира пограничной заставы Иван Сергеевич Косых, или муж актрисы – известный кинорежиссёр Владимир Валентинович Меньшов, или их звёздная телевизионная дочь Юлия, но и весь творческий и технический состав московского Театра А. С. Пушкина, где жена режиссёра Меньшова и мама чаровницы Юлии госпожа Алентова истово служила сцене.

В Пицунде, оказавшись по распределению мест в столовой за одним столиком, и познакомился коммуникабельный, кареглазый, густобровый, приветливо улыбающийся Риму и миру, всегда пристально следящий за пискотом моды орловский стилиста и пижон Дима с толстым, некрасивым, рано полывсевшим, губастым москвичом, в простенькой фланелевой ковбойке на плечах и разбитых сандалиях на ногах, у которого в обыденный час, при разговоре не при дамах, почти каждое слово нормативное чередовалось с двумя-тремя ненормативными. Но который умел всего лишь каким-нибудь пятком-десятком фраз вычертить такой ажурный свод небес, такую картину любимого им Севера, где недавно побывал (так он вслух, поверяя и проверяя текст на слушателях, выстраивал будущий остов своих «Северных дневников»), что познакомиться с ним сбегались чуть ли не все повара, подавальщицы, бармен, устраивавший на полчаса самовольную отлучку от стойки. Что уж говорить о вольноопределяющихся отдыхающих. Народ, как в храме на Рождество, согласно выдыхал: КАЗАКОВ! И этим всё было сказано.

Правда, находились и там, в миролюбивой Абхазии, далеко-далёко от знаменитого ресторана ЦДЛ, что на московской улице Поварской, злые окололитературные сплетники.

Говорили, например, что казахский лауреат всех высших национальных премий и званий Абдижамил Нурпеисов никогда и никому бы не стал так широко известен, не увези он Ю.П. в очередной «разгар сезона» туда, к себе, на огромную пустынную территорию, плато Устюрт, якобы спасать от наплыва «ночной мглы». И, возвращая утренними прогулками, кумысом нормальное дыхание, кровяное давление и частоту пульса классику, давал ему работу – переводить на русский язык свой роман «Кровь и пот», после выхода которого Абдижамил стал ещё и лауреатом Государственной премии СССР, а толмач-переводчик подстрочника Казаков смог на полученный гонорар купить себе дачу в Абрамцево...

– И ты представляешь, – элегантно, аристократично сбивал ноготком указательного пальца писательный пепел Димыч, – ты представляешь, какая это была адская писательская работа в среде коренных северян, поморов? После всех этих московских кренделей, ресторанных харчо и хачапури надо было пересаживаться на простую рыбу-строганину, картошку да капусту, пропитываться рабочим отношением к адскому труду на рыбных промыслах, моральным духом людей, уважением к их тяжёлому поту в три ручья,

когда идёт путина, понимать философию быта и отдыха, присматриваться к семейными взаимоотношениям, всему-всему – всему образу жизни поморов. Ты не представляешь, сколько всего мне Юрий Павлович порассказал, когда я затащил всё-таки его к себе в Орёл...

Какая, думал я тогда, это глыбища знаний – от истории Древней Руси до сегодняшней геополитики! Какое в нём чувствовалось понимание людей, окружающей системы... Мы все, Вадик, такие неучи, такие балбесы в своих потугах выглядеть значительными. Это я понял, слушая настоящего классика. И разве можно вообще сравнивать, где находится в табели о рангах он, литературный адмирал, ставший великим при жизни всего лишь после сорока трёх рассказов и нескольких повестей, и где ютится это высмеянное ещё Грибоедовым комарё.

Как мог Ю.П. отказаться от обольстительного Димкиного предложения и не побывать на Орловщине? Там, где взошла и засияла, по-газетному говоря, ярчайшая плеяда великих русских писателей и – тут я совершенно согласен с пафосом Димона – гордость отечественной литературы! Самый ответственный секретарь самой лучшей в его митрополии молодёжной газеты может не загибать пальцы в подтверждение своих слов. Я и так знаю, кого он назовёт.

Это Тургенев Иван Сергеевич с его тончайшим старосветским романом «Дворянское гнездо» (обучаясь на журфаке, Димка утащил меня в очередные каникулы в свой Орёл, показал те места, где некогда находились двор-прототип и дом-прототип героев тургеневского романа). Можно только представить себе, что вот здесь некогда ступал сам Иван Сергеевич – пусть лирический его герой – Фёдор Иванович Лаврецкий. Сюда, в обжитой ухоженный дом Калитиных, он заходил к любимой Лизе.

Примерно здесь была гостиная, а у той вон дальней стеночки располагался рояль, и подышать черёмуховым и сиреневым воздухом молодые люди выходили вот в этот, примерно, сад через узенькую одностворчатую калиточку.

То, что стёрло время сословие дворян, – понятно, смела их напрочь стальная метла большевистского режима. Но вот почему само дворянское гнездо оказалось так безобразно разорено, неужели кому-то жить спокойно помешало? Это уже риторический вопрос, обращённый к тем, кто писателей не слышит, книги их не читает и от таких обращений отмахивается как от надоедливой мухи, дескать, не тем вы занимаетесь, бумагомараки. Хватит вам искать чернуху, лучше обратите свои взоры на наше лидерство в освоении космического пространства и строительстве атомных ледоходов, равных которым нет ни у кого в мире...

Нет, не в добрый час ввалились в Димкин дом с рюкзаками, переполненными московскими гостинцами, хозяин жилища Д.П. и гость его – Ю.П. И дело даже не в том, что сей же час из квартиры друга моего вышмыгнул давнишний его неприятель, назовём его Вольдемар, не упускавший случая, чтобы где-то при ком-то в адрес Димки не съязвить, куда-то, где любят поднимать «назём на вилы», неудачные пару строк поэта не отправить, в крысиной надежде, что автора высмеют, едко спародируют, продёрнут... Есть такие обормоты

езде. И чего, спрашивается, ему было в Димкином доме делать, когда хозяин в отлучке? Следом, несколько смущённо поправляя подол платья, показала и Дама сердца, как называл Димон свою дражайшую. («Всё это мне вспоминалось потом, потом, – горько щурясь, исповедовался, сбивая пепел сигареты Дима, – а тогда думалось: скорее бы за стол, за стол, проголодались как черти, да и выпить за встречу не мешает...») Сели за стол. Выпили. Хорошо выпили. И по третьей, как принято на Руси, тоже выпили. Быстро освоившийся гость влюблённых глаз с явно кокетничающей хозяйки не сводил, блистал красноречием и всё порывался (по одному из трёх образований – музыкант ведь, контрабасист) спеть коронное своё «Тяжёлым басом гудит фугас». Ещё выпили. И понеслось. Стихи: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, Шумит Арагва предо мною...» Песни – соло, дуэтом и трио... Опять тоскы...

– Я говорю, Юрий Павлович, давайте запишем на магнитофон всё, что вы считаете нужным о себе рассказать – биографию, разные жизненные истории, воспоминания, впечатления о Севере, о друзьях-товарищах...

– ...Об огнях-пожарищах, – тут же подхватив мотив, многозначительно пощёлкала себя пальчиками по нежной шейке Ева.

Ю.П. обычно малость заикался в разговоре. Когда волновался и нервничал, заикание выдавалось вдвойне. Вот и в тот раз он поначалу заёрзал, заартачился: что это т-ты вдруг придумал, М–Митя? Кому и зачем в-всё это нужно, Митя? Скажи, кому это нужно? Людям, детям, м-миллионам радиослушателей? Хм... Ну, т-ты хотя бы обожди малость, как это я так сразу, без подготовки, надо же всё хорошенько продумать...

Но Митя был в тот вечер неумолим, как танк Т-34 при штурме вражеских высот. И Юрий Павлович сдался. Только при одном условии: вначале – затеянный поход в Мценские леса, посещение знаменитого Спасского-Лутовинова – родины И. С. Тургенева. Человека гигантского роста (под два метра), клявшегося, живя в Париже, в своей любви не только к замужней даме Полине Виардо, а и к русскому языку... Писателю, беспредельно щедрому не только к собратям, а и ко всем, к нему обращавшимся за помощью...

Вслед за сборами мужчин вызвалась идти с ними вместе и отважная амазонка. «А чего это я буду всю неделю сидеть на кухне да у окошка вас выглядывать? Совесть, хоть маленько, у вас есть, оставляете женщину одну?» Сын четы орловцев – семиклассник Антон не возражал пожить пока у бабушки. Значит, руки Димы и его супруги были развязаны, и на душе пели ангелы: в поход!

И это были самые лучшие, наверное, дни жизни моих друзей. Потому что на каждом привале, то у крохотного озера, встреченного вдруг за березнячком, за ельничком, то на золотистых от солнца поляночках, щедро, как веснушками, усыпанных лесной земляникой да малюсенькими семейками рыжиков, а вечерами – у оранжевого пламени костра затаив дыхание слушали они удивительные сказки русского Гофмана – Казакова. Москвича, арбатского жителя, за плечами которого были юношеские годы учёбы в строительном техникуме, потом музыкальная учёба в недосыгаемой Гнесинке (а мне медведь на ухо наступил, и по части музыки я только и мог, что в возрасте Димкиного Антона прикрывал всё в тех же украинских Сумах дружка моего, Витьку, когда он удочкой тырил через форточку в заводском клубе маленькую такую трёхструнную домрочку, на которой сам же и играл в оркестре народных инструментов). Следом у Ю.П. шла в зачёт трудового стажа игра на контрабасе в каком-то московском оркестре. Наконец, Литературный институт – предел мечтаний. И вот – писательский Млечный Путь. Да какой!

Взять только лишь тот же Северный край: Мурманск, Архангельск, Новая Земля, Карелия, Нарьян-Мар, Кижма, Мезень, Пинега...

Я слушал Димку и сам не замечал, как вместе с ним уходил, уплывал, уезжал в «Северные дневники» писателя.

«Можно ещё поехать в Кую или Змеиную Золотину. Или в Лопшеньгу. В Пушлахту, на остров Жижгин или на Соловецкие острова. Или, может быть, в Кандалакшу? А дальше к Северу названия становились ещё заманчивей – остров Моржовец, Мегра, Чижга, Шойна, Канин Нос, Чёйская губа и мыс Святой Нос, остров Колгуев, Топседа и острова Гуляевские Кошки!»

Но мне почему-то всегда хотелось пожить не на временных пристанищах, не на популярных зимовках и радиостанциях, а в деревне – в местах исконных российских поселений, в местах, где жизнь идёт не на скорую руку, а постоянная, столетняя, где людей привязывают к дому семья, дети, хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и кресты на могилах отцов и дедов».

Вот так умел писать очерки советской поры лучший российский колорист прошлого века, как его называла критика, Юрий Павлович Казаков, которому судьба отвела такой короткий срок жизни, всего лишь 55 лет от рождения до смерти (1927–1982).

Последние годы мы почти не слышим эту прекрасную песню о погибших пилотах, которую сочинили наши люди – поэт Марк Соболев и композитор Моисей Вайнберг. В ходу всё больше «муси-пуси» и накаченные ботоксом губы силиконовых певиц с именами вместо фамилий. А в «Дюйме» слова-то, какие слова!

*Тяжёлым басом гремит фугас,
Ударил фонтан огня,
А Боб Кеннеди пустился в пляс,
Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня?
Трещит земля как пустой орех, как щепка трещит броня,
А Боба вновь разбирает смех...*

Нельзя нам так просто распрощаться с человеком, к которому мы больше не обратимся в этом повествовании. Нельзя не процитировать главные слова Юрия Павловича Казакова из его эссе «Мужество писателя»:

«У тебя нет власти, чтобы перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твоё слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на твои несчастья, неудачи и срывы, всё-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше». (1966 год).

А магнитофон? – спросит памятливый читатель. И будет абсолютно прав!

Он был в Димкиной квартире, тогда ещё допотопный, катушечный магнитофон «Олимпия», с которым ответственный секретарь «молодёжки» изредка, но всё же выходил на самые ответственные редакционные задания. Включённый, проверенный агрегат, в котором, тихо шурша, разматывалась узкая лента, заносил на свои скрижали негромкий голос классика, рассуждающего на вольные темы, то останавливаясь, чтобы зажечь очередную сигаре-

ту, то споря сам с собой, то просто делая короткую паузу, чтобы собраться с мыслями... И так добрые полтора, а то и два часа...

Юрий Павлович, изрядно подуставший, наконец пожелал обоим слушателям спокойной ночи и отправился в отведённую ему комнату на отдых. А Димон, оставшись один на один с магнитофоном, решил проверить плёнку. Включил и – обомлел. После первых пяти минут нормальной записи закрытая крышечка лента сбилась, скомкалась, превратилась в негодный комок. И вся штрафная ночь прошла для Димы в ужасных мучениях: говорить не говорить? Просить продублировать? Детский лепет, не согласится.

Наутро измученный бессонницей друг мой набрался мужества и сказал о произошедшем. Ю.П., конечно, расстроился. Помолчал. Попросил позвонить на вокзал, спросить, какой ближайший поезд на Москву. Проводить его не отказался... Крепко пожал всем руки на прощание. И уехал.

А Димкина рукопись отложена, продолжает пылиться где-то в недрах письменного стола. И я частенько задумываюсь о её будущем, тем более теперь, когда он похоронил жену, а сын уж который год пребывает за границей и всё только обещает отцу вот-вот вернуться к отчому порогу. Да так и не возвращается.

ГЛАВА 2. АЙНС, ЦВАЙ, ДРАЙ, ПОЛИЦАЙ...

Подошла моя очередь рассказывать свою историю. Я попытался улизнуть. Предлагал Димке взамен «мемуаров» – на выбор – стихи Симонова: «Словно смотришь в бинокль перевернутый, всё, что сзади осталось, уменьшено, на перроне, метелью подёрнутом, где-то плачет далёкая женщина...»; Евтушенко: «Шла самосплавом тишина, за нашим карбасом волна отождествлялась, как вина вторженья в область полусна природы на закате...»; Вознесенского: «Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как пиццит полоска света, прищемлённая дверьми...»

– Стихи потом, я сам могу их читать до утра. А пока – года к суровой прозе клонят – рассказывай. И – всё!

– О чём, Димон?

– О чём угодно. О том, что сам считаешь нужным.

– Но ведь не было у меня таких звёздных знакомых, как твой Ю.П.

– Неважно. Значит, были другие. И мне совершенно всё равно, кто окажется твоим героем, хоть акробат, хоть министр, хоть дворник, лишь бы история была интересная.

Забившись от него в отдалении на единственную недоломанную лавочку в глубине бывшего зрительного зала, я лихорадочно перебирал в уме все возможные варианты «новелл», бездумно рассматривая дальние уступы витиеватой тропы, ведущей на горный перевал.

В зелёных разрывах лесов виднелись щербатые зубья, заломы и пики бугристой вершины, а между ними чернели трещины и впадины бессолнечного хребта. Вовсю разгорался свет в небесах, и вершинный гребень в красноватом небе был рассечён равниной на два чёрных выступа, напоминая острыми красными наростами многоярусные олени рога. Природа тоже ждала моего повествования?

Но о чём таком интересном я мог рассказать Димону? Допустим, о Западной Германии, в которой, благодаря партнёрским отношениям двух городов,

в чём пришлось самому поучаствовать, появились хорошие знакомые и, можно сказать, друзья. Но это будет скорее скучновато, нудновато, чем интересно. Хотя...

Он ведь не был, как я, в Ганновере на открытии грандиозной ЭКСПО-2000, куда приехали представители всех, наверное, стран и континентов, развернув потрясающие свои павильоны с изумительными стендами и экспонатами на них. Димон не был в старинном морском портовом городе Гамбурге, где проходила удивительная «месса», то есть выставка гостиничного, отельного хозяйства, умопомрачительная для нас, скромных обитателей заштатных номеров, не знающих толком и не представляющих себе, что такое настоящий сервис европейского, тем более – мирового уровня. Но я ещё помню, как по бесконечным ходам-переходам той гамбургской мессы воровато двигалась семейная чета эмигрантов, с вызывающей польской символикой на одинаковых лиловых шапочках с помпонами. Зигзаги в походке объяснялись тем, что и он, и она судорожно запихивали в объёмистые сумки-баулы всё, что попадает на пути, всё, чем щедро угощали гостей, посетителей выставки представители фирм, прибывших на международное торговое с нескончаемыми запасами мелких сувениров, рекламных журналов и открыток, проспектов, детских игрушек и картинок, а равно – сладостей и напитков. В расчёте, видимо, вот на таких гостей Евросоюза.

Западногерманские Verkauflich (торговцы), веками, с достославных ганзейских времён воспитанные на честности и доверии, привыкли к добросовестным расчётам покупателей и продавцов, но не к варварским сюрпризам налётчиков из Варшавы. Умеющих, например, украденную ими с вешалки дорогую шубу вмиг перекинуть через турникет в руки напарнику-ворюге и смыться с концами. Хозяева маркетов дни и ночи ломали голову над тем, почему недостаёт дорогостоящего товара... Но потом всё поняли. Быстро опомнились. И с помощью полиции стали безошибочно вылавливать наследников Соньки Золотой Ручки, добываясь от судов справедливого наказания виновным: Das Zwiarbeit (жесточайшая каторга) для исправления тяжким трудом наглых осквернителей их размеренной обывательской жизни.

Я мог бы рассказать ещё Димону о ежегодном весеннем карнавале в сказочном Бремене, где в центре города выставлены, конечно же, бронзовые фигуры знаменитых бременских музыкантов. Об этом сумасшедшем по зажигательности празднике людей всех возрастов, рас и профессий – карнавале – с очень пикантными подробностями... О традиционной выставке «Глясс унд пластик» – стекла и пластмассы в садово-дачном хозяйстве, собирающей тысячи любопытных гостей со всей Германии (и не только!), дивящихся тому, как берега и сама тихая, неширокая, но довольно быстрая река Эрце по мановению мастеров – художников, дизайнеров, декораторов, скульпторов, архитекторов, откуда только ни приехавших (Россию нет, не обнаружил) – вдруг стали фантастической панорамой творений рук человеческих.

Правда, и в благословенной Германии есть свои пакостники с мозгами бабуинов. Не забыть, как плакала навзрыд театральная художница, талантливого скульптор болгарка Лилия, обнаружив наутро вырванные с мясом рубиновые звёздочки-фонарики в представленном ею с вечера никелированном ансамбле, имитирующем космический полёт кораблей-спутников.

– Ты только посмотри, что это негодяи уделали, а! Я же полгода корпела над каждой загогулиной, ну? – Меняла одну за другой мокрые салфетки, промокая раскрасневшиеся от переживаний глазки и носик симпатичная софийка Лилия, прекрасно владеющая русским языком, причём со всеми его обертонами. – Полиция? А что полиция? Куда они ночью смотрели? В моё

окно? «Фрау, фрау...» Вот пусть теперь как хотят ищут и находят этих барбосов. Фрау...

Но не всё так мирно под луною, Дима... (Я и не заметил, как стал уже вслух рассказывать ему о своих впечатлениях от поездок в Deutschland.) Как было не обратить внимания на то, что в книжных магазинах больших городов (причём в магазинах больших, а не в маленьких лавчонках), на прилавках можно увидеть лишь две переведённые на немецкий язык книги из России: это «Идиот» Достоевского и, натюрлихь, распухший от самодовольства томище лучшего друга Германии Михаила Горбачёва Michail Gorbatschow Alleszuseiner Zeit MeinLeben.

Стремление – как это говорится в дипломатических хрониках? – «определённых кругов Запада» подать россиян в глазах своих земляков из Баварии и Тюрингии, Северной Рейн-Вестфалии и Передней Померании, того же Гамбурга и Нижней Саксонии как людей, не шибко-то разбирающихся в культуре, искусстве, науках, как невежественных тупиц, отсталых и дремучих, просматривается во многом. Это у нас в широчайшем доступе их Шиллер и Гёте, Фейхтвангер и Ремарк, Бёлль и Рильке. У них – шиш. Читайте, как я уже сказал, выставленный словно на потеху Idiotte бедного Фёдора Михайловича. Просвещайтесь бедами и кознями, случившимися в житии бедного князя Мышкина – человека из позапрошлого века. И никаких вам Буниных, Тургеневых, Казаковых...

Димон смотрит на меня осуждающе; что, мол, совсем уж я, как ты говоришь, бабуин, не понимаю простых вещей... Да ладно, Димочка, не дуйся, это я любя. Что тебе ещё рассказать, орловский ты мой комсомолец? Как крепкий, «кремезный» и в свои ого-го с гаком седобородый Хайнрих – бывший вояка вермахта, вернувшийся из России без левой руки, – настойчиво приглашал меня принять участие в каком-то сборище, организованном митинге в качестве оппозиционера «с той стороны»? Или как я стал невольным свидетелем партийного собрания членов ХДС/ХСС в подвальной пивной – такой же «Бирштубе», как той, где некогда зачинались идеи фюрера двигать военные армады на Восток?

Добрая дюжина почтенных с виду дедуганов – ровесников однорукого Хайнриха – в клубах вонючего сигаретного дыма и аромата пивного пойла оживлённо спорила, низко склоняясь над припасёнными географическими картами, о промахах своих генералов и фельдмаршалов при штурме Кавказских гор и боях в Сталинграде. Ничуть не доморощенные стратеги, а сильные вояки в прошлом, они не из мемуаров военных историков, а на своей шкуре познали, что такое русская нефть, так и не добытая ими на Кавказе. Это та же человеческая кровь. Не будет крови – не будет жизни. Не будет нефти – станут как вкопанные танки и автомашины, не взлетят самолёты, прибудёт к причалу флот. Война проиграна? Хитлер, Херинг, Химмлер, Хесс – капут? Нет! Надо во что бы то ни стало прорываться к нефтяным промыслам. А русские не дают. Горят от зажигательных бомб и огнёмётов, погибают, сражаясь у самых берегов Волги на расстоянии пистолетного выстрела, тонут в волжской воде, но к промыслам не допускают. Как? Почему? За счёт чего? Вот и терялись в догадках, роясь в лабиринтах карт, счастливо уцелевшие на войне и сумевшие дожить до правления нового канцлера – фрау Меркель – курты, гансы, юргены – восьмидесяти-, девяностолетние пораженцы...

И вспоминаются убийственные кадры документальной кинохроники из не такой уж далёкой истории: Треблинка, Майданек, Берген-Бельзен, Освенцим, Хатынь, Холокост... 27 миллионов (МИЛЛИОНОВ!!!) погибших.

Война. Лишившая человечество безумного числа талантов, умниц, гениев, будь живы которые – сегодня и на Марсе бы яблони цвели, и не знали бы мы такой страшной жатвы от онкологии и коронавируса, и радовались бы люди планетарным открытиям вселенского размаха. А ведь тоже всё начиналось около ста лет тому назад с подвальных пивных и пронизывающих речей запыленного дьявола. «Дойчланд юбер аллес!» Несостоявшегося художника, псевдоархитектора, ефрейтора со времени Первой мировой Адольфа Шикль-грубера. Чума на его дом, на его имя, на его останки и на том свете!

ГЛАВА 3. КОГДА ПРИДЁТ В РОССИЮ ЧЕЛОВЕК?

Кавказ есть Кавказ: светает рано, когда (по Тарасу Шевченко) «ще трети пивни не спивалы, нихте ниде не гомонив», темнеет поздно. Седловидная долина, где мы с Димом снимаем жильё в первом по ходу домике, теньвым клином вдаётся в горы. На высоком уступе, точно на чёрных коленях незнакомой волшебницы, высятся похожие на средневековые башни холмы, накрытые, как маскировочной сеткой, густой травой-зелёнкой. По ночам над горами и долами, над равниной и всей землёй застывает тёмное небо, испещрённое мириадами звёзд. И редкие фонари на горной гряде – туда ведь тоже добралось электричество – помогают лунному сиянию лучше озарять окрестности, пусть слабо мерцая, зато подтверждая обжитость, людское присутствие и там, на самой, казалось бы, недосыгаемой верхотуре...

Не знаю, чем сейчас занят друг мой, наверное, включил телевизор в своей комнате: время новостей, Nachrichten, смотреть которые дисциплинированные немцы-чиновники, в особенности в двадцать часов, бегут как сумасшедшие. Ничего нельзя пропустить из дневной сводки, суточного анализа – вы что! Взыщут!

А мне эти однообразные, как лапша, ежевечерние бесстрастные отчёты в отпускные дни совершенно не нужны. Более того, хоть отдохну от телевизионного Совинформбюро, его дневных и вечерних фронтовых сводок: заболели, умерли, утонули, сторели, взорвали, разрушили, украли, убили, удрали, отравили, рассорились, развелись, ранили, зарезали, получили взятки, сели...

Кстати, в той же Германии (вот же будь она неладна, завёл я сегодня о ней разговор!), когда знакомый чин из ратхауза (местного парламента) провожал меня в отстоящий от его месторасположения за две сотни вёрст город Ганновер на ту самую ЭКСПО, он сто раз объяснил, заглядывая мне в глаза, желая убедиться, что я всё понял правильно: он не взятку брал у своего друга – директора ресторана «Гарцующий пони», чему я был свидетель, а скинулся с ним своими – вы правда правильно поняли, да? – своими, но никак не бюджетными деньгами, обеспечивая мне оплату проезда в электричке туда и обратно да пропитание на целый день...

Димке я об этом эпизоде, кстати, не рассказывал. Да и вообще, уже укладываясь на боковую, вдруг подумалось: может, зря я взялся рассказывать ему про Дойчланд, их нравы, вроде прожил там сто лет. А ведь всё это было беглыми путевыми заметками, после четырёх-пяти, порой шести-семи дней пребывания. Оно ему нужно? Да и я, мало ли что был за рубежом? Сколько там таких же, как я, побывало. На похвальбу хоть моя исповедь была не похожа? Димка так ненароком не подумает? Человек я мнитель-

ный, чего только не передумаешь после обильного вечернего ужина, спасибо доброй нашей хозяйке...

Может, коль речь пошла о загранице, лучше, если бы я ему порассказал об Америке? Той самой, куда я при посадке в самолёт перепутал «рукав» и попал в соседи к очаровательной индианке, которая до сих пор снится мне ночами... Ах, какой меня встретил ответный взор, мама моя! Клянусь вот Индирой Ганди и доблестным папой её Джавахарлалом Неру – я таких глаз больше нигде и никогда не встречал! И она уже деликатно подвинулась к окошку, освобождая мне местечко совсем с ней рядом... Но тут возникла растерянная стюардесса с нелепым окликом: «Вы такой-то?..»

Эх! Всё как в одесском анекдоте при выяснении отношений в театральном гардеробе:

– Послушайте, ваша фамилия Рабинович?

– Нет. А что?

– А то, что Рабинович – это я. А вы надели моё пальто...

Прощай, прелестная Индира! Поклон твоему густонаселённому Дели, где ты одна такая распрекрасная! И я, поникший, грустно плетусь вслед за гордо вышагивающей стюардессой, улавливая на ходу декламацию стихов перезрелой поэтессы, видимо, отправляющейся в составе творческой делегации России на берега жёлтого Ганга: «Мне при встрече сказали: «Мадам! Не весна Вы и даже не лето. Имя осени Вам по годам, но обидитесь Вы ведь на это?» Я с улыбкой ответила: «Бросьте! Ни к чему здесь фигуры речи. Всем известно, что женщина-осень как вино, только слаще и крепче!»

В 17-миллионном городе Нью-Йорке в апреле двухтысячного года, года-миллениума, проходил Второй всемирный конгресс русской прессы, на который отрядили и представительную делегацию из России во главе с генеральным директором ИТАР-ТАСС Виталием Никитичем Игнатенко и родным братом известного режиссёра и хохмача Юлия Гусмана – Михаилом Соломоновичем Гусманом, таким же остроумцем, прерогатива которого – брать ответственные интервью у глав стран и правительств – наиболее выдающихся людей планеты. Впрочем, Михаил Соломонович и коллег, кто рангом ниже и статью жиже, не чурался.

Имел честь разделить его появление в Министерстве сельского хозяйства, на приёме в честь 100-летия газеты «Сельская жизнь», с которой связана немалая часть и моей жизни. Я ещё удивился его приходу, подумал: ну молодцы, организаторы, пригласили на торжества звезду политики и высокой журналистики; будет выступать – подойду послушать, а потом напомню о нашей встрече на берегах Гудзона...

Ничего подобного. Михаил Соломонович, заняв неприметное местечко за одним из гостевых, а не царственно-начальственных столов, деликатно откушал вместе со всеми селькоровцами то, что им щедрый крестьянский боженка послал. Под велеречивые тосты заместителя министра, не всегда согласующего свою речь с падежными окончаниями, опрокинул вместительные три-четыре фужера горилки во славу аграрно-промышленного комплекса страны и его достойных летописцев! Аккуратно принял и десерт в своё довольно вместительное чрево. Приветливо помахал ручкой официантам, знакомым и незнакомым коллегам, устроителям, хозяевам бала, господину ведущему. И с государственной озабоченностью на челе упорхнул из Орликова переулка, из этого громоздкого многоэтажного строения МСХ с его

отвратительным допотопным лифтом-клеткой по иным неотложным делам. Может быть, готовится к более представительному ночному приёму. В неизвестном широкой публике месте. С другими людьми. По секретному поводу.

Я говорю «Америка» и тут же вспоминаю ту адскую боль, которую испытывал вначале в Москве, ещё до вылета, а потом при десятичасовом перелёте на другой континент в огромном «Боинге». Вздумал, щегол этакий, покорить Соединённые Штаты Америки новыми, неразношенными туфлями. Ох, они мне и дали в ответ кровавые мозоли на задниках... Стюардесса-золотко, притащившая на выручку откуда-то из своей аптечки целый рулон пластыря, и та только ширила глаза и сочувственно ахала...

А в международном аэропорту имени 38-го Президента Америки Джона Фицджеральда Кеннеди, чьё убийство так и осталось не раскрыто поныне, меня ждала новая неприятность. Даже две.

Вначале я, в общем-то внимательный и осмотрительный человек, пройдя пункт досмотра, и не заметил, как обронил (там же, наверное, на скользком полу) свой заграничный паспорт. Благо, быстро обнаружилась пропажа. О ней объявил по внутренней трансляции огромной воздушной гавани (я вздрогнул, услышав на чистом английском свою фамилию – во, подумал, как встречают национального героя России!) добродушный афроамериканец в отглаженной лётной униформе.

Добрый человек, ростом с атланта у входа в Эрмитаж и с такими же борцовским плечами. Мы обнялись с ним, я – от избытка чувств, он – в силу дозволенной профессиональной привычки, и сфотографировались на долгую и добрую память. (Чтоб он здоров был в своём Нью-Йорке!)

Как же помнятся мне все-все – все хорошие люди, встреченные по жизни. И как же правильно природой устроено, что вытесняются из памяти разного рода поганцы. Видимо, человеческие мозги принимают в свой чулан, или архив, на длительное хранение только то, что со знаком плюс, и отвергают то, что со знаком минус... Нет? Неправильно думаю? Ну... как вам угодно.

И вот президентский борт с лучшим саксофонистом Белого дома приземляется в Нью-Йорке. Блестяще действующая полиция вмиг перекрывает все ходы и выходы аэропорта, пропуская лишь самых важных сановников страны. Таков у служб безопасности всех стран порядок! А пассажиры, прибывшие в мегаполис, расположенный на берегах где и как только не описанной реки Гудзон, текущей с древних Аппалачских гор, вынуждены чапать пешедралом километра полтора, если не два, к желтеющим во-о-он там, за мостом, в ожидании пассажиров автобусам. Но хорошо разминаться на здоровых ногах после полусуточного перелёта в сидячем положении. Иди себе не спеша, глазами по сторонам. А если каждый шаг для тебя пытка и ты топаешь чуть ли не на крике? Уж и не знаю, как добрёл я тогда до автобуса, желая одного: скинуть к чёрту эти новые туфли-кандалы и бежать босиком, в смысле, в одних носках по тёплому апрельскому асфальту. Спасли меня, наверное, целительные пластыри безымянной стюардессы (чтоб она здорова была!), вылечившие голеностоп, плюсну и фаланги пальцев, наиболее пострадавшие от обувной агрессии. Мир не без добрых людей! Храни их Бог!

Мы ехали на комфортабельном автобусе по бархатной бетонке от аэропорта Кеннеди в «город» и с удивлением переглядывались: ребята, какая это к шутам Америка, какой Нью-Йорк – «Город жёлтого дьявола», город сплошных небоскрёбов? Это же точь-в-точь наш тихий и уютный москов-

ский пригород. Те же негустые еловые да сосновые посадки с обеих сторон шоссе, «тот же лес, тот же воздух и та же вода...», даже вон виднеющийся погост – ну чисто сельское кладбище, какое встретишь на пути к нашим Луховицам, Борисоглебску, Ельцу, Курску или Моршанску... Так что же, вся хваленая «СЭШЭА» такая патриархальная?

Ну уж нет, братцы, это мы сгоряча хватили через край. А то бы стала Америка такой суперядерной и супериндустриальной сверхдержавой, способной ещё в «сороковые-роковые» крепко помогать России своими самолётами, орудиями, могучими грузовиками-«студебеккерами», одеждой и продовольствием преодолевать гитлеровское нашествие...

Страна действительно, особенно в инженерном плане, восхитительна. И не только могучими автотрассами-сабвеями...

Вот мост имени первого всенародно избранного Президента Америки, основателя США Джорджа Вашингтона. Колоссальная конструкция через Гудзонов пролив, соединяющая Манхэттен с Форт-Ли (правда, сейчас и наш Крымский мост не хуже!). Но тогда-то, тогда, построенный чуть ли не век назад, в немислимом 1931 году! Красавец протяжённостью почти полтора километра, висящий над водой на высоте 65 метров, по которому (статистика знает всё!) проходит 160 миллионов автомобилей в год. Только три раза в год – на День независимости, в День памяти и в День флага – над мостом полощется гигантский национальный стяг США, насчитывающий 27 метров в длину и 18 метров в ширину (постоянно держать знамя нельзя – создаётся угроза движению). Вот он – фантастический проект Ле Корбюзье в действии!

А их фантастическая полиграфия, говорю я своему единственному другу – директору областной типографии Дмитрию Павловичу, способная не через недели и месяцы, как у него, а почти немедленно выпускать в полном цвете книги любого формата и объёма, что нам сегодня и не снилось... А те же небоскрёбы... И в их числе – действительно уходящая этажами в небо гостиница «Шератон», что неподалёку от Рокфеллеровского центра в Бруклине, необыкновенно живописном районе, где, как утверждает статистика, проживает триста тысяч русских (а всего земляков в Нью-Йорке семьсот тысяч). Замечу для ясности: не русскоговорящих, а именно русских, потому что по «говорящим» иные цифры: около трёхсот миллионов населения Земли говорит на языке Пушкина и Толстого, 350 миллионов понимают русский язык. (Господи, куда меня опять занесло: цифры, числа, статистика... Хотя... это ведь тоже Америка...)

И вот он – загадочный Бруклин. Вот отель «Шератон» с его великолепным обзором из окон со всех сторон. И вот мы, выходящие из автобуса со своими баулами, чемоданами на колёсиках и без колёс, заплечными ранцами, кофрами, сумками... Я, хромающий на оба копыта, как подстреленный боец Первой конной... А напротив гостиницы ранним утром (обращаю на это внимание!), часов в семь, стоят у фонарного столба, трогательно поддерживая друг друга под локоток, он и она – смуглолицые (мексиканцы? парагвайцы? перуанцы – в общем, южноафриканцы), пара средних лет. Он – черносый, плохо выбритый, в клетчатой рубашке, она – с выбившимися из-под косынки неопрятными чёрными космами и в короткой кожаной юбочке.

Стоят, значит, эти сильно пьяные аборигены, раскачиваются как маятники и, вяло перебрасываясь односложными репликами, пытаются по нашей звонкоголосой переключке (а уж русские если орут, так орут!), одежде и манерам понять, угадать, кого в этот раз занёс к ним сюда попутный ветер с Гудзона.

Отгадывайте, мисс и миссис. А мы направляемся в холл, к административной стойке, или в ресепшн, как новомодно зовут ныне место регистрации гостей отеля. «Ресепшн»... Извините, Иван Сергеевич Тургенев, за такое вот коверкание родной речи, за сквернословие тех, кто учил в родной школе ваше стихотворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...» Но таков теперь язык ваших потомков, тех, кого вы некогда выводили, как отцов и детей, в повестях своих, рассказах и романах.

Номер мне достался один на двоих, двойной то есть, с напарником – молчаливым толстяком, не помню, из какого города. Я сунулся в ванную и обнаружил, что раньше меня вселившийся в номер Гаргантюа уже успел хорошенько там пошерстить: нет ни шампуня, ни мыла, ни зубной пасты – ни-че-го, что полагается в отелях такого уровня для постояльцев. Он даже лёгкие тапочки – так нужные мне в деликатную пору заживления тонкой кожицы на сбитых ногах – успел ловко убрать в свой безразмерный чемоданище. А заодно – спереть из моей прикроватной тумбочки почтовые конверты и открытки с логотипом «Шератон», красивые авторучки и карандаши с такими же фирменными оттисками. Ну, актёр, ну, петух! Тебе, значит, привыкшему поглощать своё и не своё в одно горло, всё это нужно, а другому человеку – нет?

Да не было ещё на свете такого ляха, которого не смог бы я одолеть, клянусь Тарасом Бульбой! Надо только выучиться ждать, как поют люди, верующие в Надежду как компас земной. И они правы! Месть – это блюдо, которое подадут холодным.

ПРИШЛОСЬ И МНЕ ВЫСТУПАТЬ НА КОНГРЕССЕ ВО ИМЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

А пока был чудный вечер, и состоялся настоящий светский раут всё в том же отеле, в самом большом его праздничном зале. Звучали скрипки, виолончель и контрабас. Лакеи, в крахмальной белизны сорочках и такого же окраса лайковых перчатках, разносили на подносах шампанское в хрустальных бокалах. Блистали остроумием, вставными зубами и бильярдной лысиной джентльмены старшего возраста, а мимо них павами проплывали, изредка одаривая мужчин рассеянными улыбками, дамы умопомрачительной красоты, все глубоко декольтированные, многие не только с оголёнными плечами, но и с шокирующими вырезами на длинных юбках, под которыми, казалось, уже и нет ничего. Но, конечно, так просто казалось.

Да что наряды! А люди-то, люди какие собрались под сводами «Шератона», крупнейшего нью-йоркского отеля, где отмечалось в этот вечер 90-летие первой эмигрантской газеты «Новое Русское Слово» – духовной отдушины переселенцев и первой, и второй, и третьей волны... Одиннадцатый редактор НРС Валерий Вайнберг нашёл почему-то именно во мне тонкого, всё понимающего и сочувствующего собеседника (а я и правда такой пылесос, обречённый молчать о себе, но выслушивать и впитывать все чужие горести и боли). И вот любезный друг мой Валера после каждого выпитого бокала шампунчика в любом углу необъятного салона отыскивал только меня своим зорким взглядом беркута. И, с готовностью устремляясь навстречу, в одиннадцатый раз заводил всё ту же песню с припевом – как тяжело на свете жить бедняжке. Ему! У которого в русскоязычной редакции собрались лучшие журналистские перья, в силу разных обстоятельств перелетевшие сюда из московских издательств, сделавшие себе имя на местном

материале и полюбившиеся требовательному читателю, иначе разве подписывались бы они на НРС? А нытик Вайнберг всё про то, как душат «Слово» налоги, какие безобразники конкуренты из недавно родившегося такого же эмигрантского издания «Новый американец», как свирепствуют здешние профсоюзы, всегда стоящие на стороне работников, а не работодателей. Но это же нормальный ход, Валера! А ты что хочешь, чтобы профсоюзы, как у нас, только санаторные путёвки в пансионаты и дома отдыха раздавали?

Анатоль – мы узнали его по прежним фотографиям в книгах – писатель-романист, повествователь и рассказчик божьей милостью, запрокинув кудлатую голову, пел без микрофона так, что слышал весь огромный зал. Пел вечную тоску эмигрантов всех поколений: «Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...» И вторила ему, сдержанно рыдая, скрипка в руках носатого, заметно сгорбленного музыканта. И отрывисто, по-мужски одёргивал толстыми струнами тонкий девичий плач красавицы-скрипки басистый контрабас. А виолончель... Что в тот вечер творила виолончель! Дамы и господа, снимите шляпы и шляпки! Разве могло быть иначе, если смычок в руках держал сам маэстро РОСТРОПОВИЧ!

В дальнем углу безбрежного зала развенчивал социализм, коммунизм и империализм старый смутьян – художник-скульптор Михаил Михайлович Шемякин, чья биография – живой роман без обложки. Нет, в самом деле, пройти такие круг ада: принудительное лечение в психиатрической лечебнице, безденежье, безработица (кроме как трудоустройство на целых пять лет такелажником в Эрмитаж), выдворение из Советского Союза и попытка обосноваться в Париже, затем только брошенный якорь в Нью-Йорке.

И это – судьба большого мастера, чьи три монумента – Петру Великому, архитекторам-первопроходцам Санкт-Петербурга и жертвам политических репрессий – поднялись в Северной Пальмире, кудесника, приглашённого строгими местными властями дополнять красоты Венеции, Лондона, того же Нью-Йорка...

Расхаживая под ручку с фигуристой, отчаянно рыжей подругой-американкой, ни бельмеса не петрающей в русском языке, но зато постоянно смеющейся, сэр Шемякин, в киношных очках, блестящих революционных сапогах с ботфортами, робеспьеровском колпаке и родимой российской ковбойке, как раз и напевал любимую, видимо, песенку из прошлого: «В ковбойке пёстрой клетчатой расцветки, в болотных сапогах не по ноге, девчонка из геологоразведки шагает по нехоженой тропе...».

У Шемякина было вдосталь таких нехоженных троп, закономерно увенчавшихся в России присуждением давно заслуженной Государственной премии...

А мне на память от большого художника, яркой личности остался автограф с дарственной надписью, смысл которой всё тот же: вперёд, друзья, на баррикады! Михаил и сам, пожалуй, этакий вечный Гаврош...

Мило улыбался сонму журналистов вкруговую атакованный их вопросами композитор Александр Журбин. Ташкентец по рождению, москвич по убеждению и человек мира по призванию.

Журбин – вулкан музыкальных страстей. Это просто животворящий родник, вечный источник радости. Вы только посмотрите, что он натворил – этот озорной симпатяга Александр Борисович Журбин – за свою жизнь! Ни дня без ноты! И так – больше полувека. Оперы, мюзиклы, оратории, музыка к десяткам кинофильмов, концерты со всеми, какие только есть на свете, инструментами. А более двухсот песен, которые с восторгом поют на гигантских просторах Российской Федерации и стар, и млад. Кто-то обмирает от исполнения Ириной Понаровской «Мольбы». Я тащусь от «После-

военного танго», что пел Иосиф Кобзон: «В босоножках, в простых сапогах, в будни мирные танго вошло...»; жена считает самым лучшим шлягером в репертуаре Кристины Орбакайте «Тучи в голубом» – «Ах, эти тучи в голубом напоминают отчий дом, где кружат чайки за окном...»

И это всё (но далеко не всё!) – Журбин!

Хмурый, как осенняя туча, Эрнст Неизвестный расцветал лишь при появлении жены Валерия Вайнберга. И тогда распрямлялся (при его-то фронтовых ранах командира стрелкового взвода – *трёх выбитых межпозвоночных дисках в боях при освобождении Австрии*), очень симпатично улыбался, играл бровями и губами...

Внимательно вперив в меня пронизательный взгляд, переспросив, кто я и откуда, Эрнст Великий одним движением протянутой шариковой ручки начертил в блокноте мощную человеческую ладонь с лежащим на ней яблоком и надписал: «Мичуринцам – хорошие плоды! Эрнст Легендарный».

И это его, наряду с другими художниками, прозаиками и поэтами, стегал за авангардные скульптуры Никита Хрущёв на достопамятной выставке в столичном Манеже... И не кто иной, как обруганный им Эрнст Иосифович Неизвестный поставит покойному генсеку мраморный монумент-надгробье в чёрно-белом исполнении... Поистине, прощенье – больше, чем отмщенье.

*Прощенье – больше, чем отмщенье,
Прощенье – это превращенье.
Прощая близких и врагов,
Мы превращаемся в богов!*

(Константин Кедров)

Вот они, бесценные автографы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного, замечательного композитора Александра Журбина, известного музыкального деятеля, телевизионного ведущего Станислава Бэлзы, бесстрашного художника-авангардиста Михаила Шемякина, в свободное от искусства время неустанно призывающего народ на баррикады; удивительной женщины, несущей в себе море обаяния – внучки нашего знаменитого писателя-сатирика Шолом-Алейхема, американской писательницы Бел Кауфман, наиболее известной в России по многократно изданной массовыми



*Мои родители,
для внуков – дедушка Сеня
и бабушка Лена*



*«Рыжий, конопатый» слева – это я
в свои девять лет,
а справа – дружок мой, Алик Гаврилян,
ставший впоследствии довольно
известным футболистом*

тиражами её книге «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Так мило беседовали мы с ней за банкетным столом, чередуя разговоры с бокалами под изысканные тосты ведущего...

– Вы знаете роман моего дедушки «Блонджендэ штерн», так – на идиш – «Блуждающие звёзды»? Ах, боже мой, как приятно... Вы помните имена героев этого произведения? Да-да, конечно, мой дорогой Вадим, всё верно: Лейбл, Рейзл, Гоцмах, Щупак, Шолом-Меер-Муравчик... Я тоже обожаю эту вещь, сто раз перечитывала и смеялась до колик от одного этого Муравчика, сколько юмора – и какого! – вложено в его уста, и плакала, когда Лейбл выходит в Лондоне на сцену играть в «Уриэле Акосте»... Гениальный роман, согласитесь?

А к Мстиславу Ростроповичу было просто не пробиться сквозь постоянно осаждающую Маэстро густую толпу поклонников, о чём я до сих пор горько сожалею и не ищу себе оправданий. Надо было пробиваться!

Мог ли я, рыжий-рыжий-конопатый пацан из задрипанного подворья захолустного украинского «миста Сумы», мог ли я мечтать о том, кому буду пожимать руки, когда вырасту? Ой, да если предельно откровенно насчёт «пожатий», то дальше сказочного бюста соседской барышни Вальки фантазии мои никуда не шли. А ведь сбылось то, о чём и не мечтал. Пожимал руки великим. И не одному Эрнсту Неизвестному – прости меня Господи, не похвальба это, что уж хвалиться в мои-то годы? – а трём президентам Российской Федерации. Вот так, Вадик. И впредь МЕЧТАЙ! СТРЕМИСЬ! ВЕРЬ! СБУДЕТСЯ!

Но всё же, закругляясь, скажу ещё, что телевизионное обращение ко всем собравшимся на Конгресс и персонально юбиляру – «Новому Русскому Слову», единственной в то время ежедневной газете в эмиграции, по возрасту старше ленинской «Искры» (но съеденной конкурентами, в частности довлатовским «Новым американцем», и вскоре почившей в Бозе в вековом возрасте), – прислал из французского Биаррица русский эмигрант, властитель моды, нравов и умов тинейджеров СССР шестидесятых годов Василий Павлович Аксёнов.

ГЛАВА 4. «ПРОДУМАН»!

А на другой день мы с Димой сменили место дислокации. Причиной измены заброшенному парку «Комсомольский» и приютившей нас рубке кинемеханика стал мелкий дождичек, точнее, даже едкая и противная крупка, чистая манка, взявшаяся бог весть откуда. А там и прохладный горный ветерок не заставил себя ждать. Ну и куда нам было идти при таком раскладе погоды?

Дима сделал широкий жест: «Приглашаю в «Эрмитаж», поручик, я угощаю!» Подробности можно было не спрашивать: сын Антон, заграничный житель, закинул папе на карту сколько мог, «щоб дома не журылысь!» Что же, мин херц, приглашение принимается! Чур, только столик закажем на открытой веранде, где обзор как в небе при лётной погоде – километр на кило». С песней (каждый мурлыча свою любимую себе под нос), когда нога в ногу, когда вразной, мы и отправились обживать новое место. С видом на фарватер.

Помните самопародийные (на его же Попандопуло) куплеты Михаила Водяного:

*На морском песочке с видом на фарватер
Был выстроен в Одессе оперный театр...*

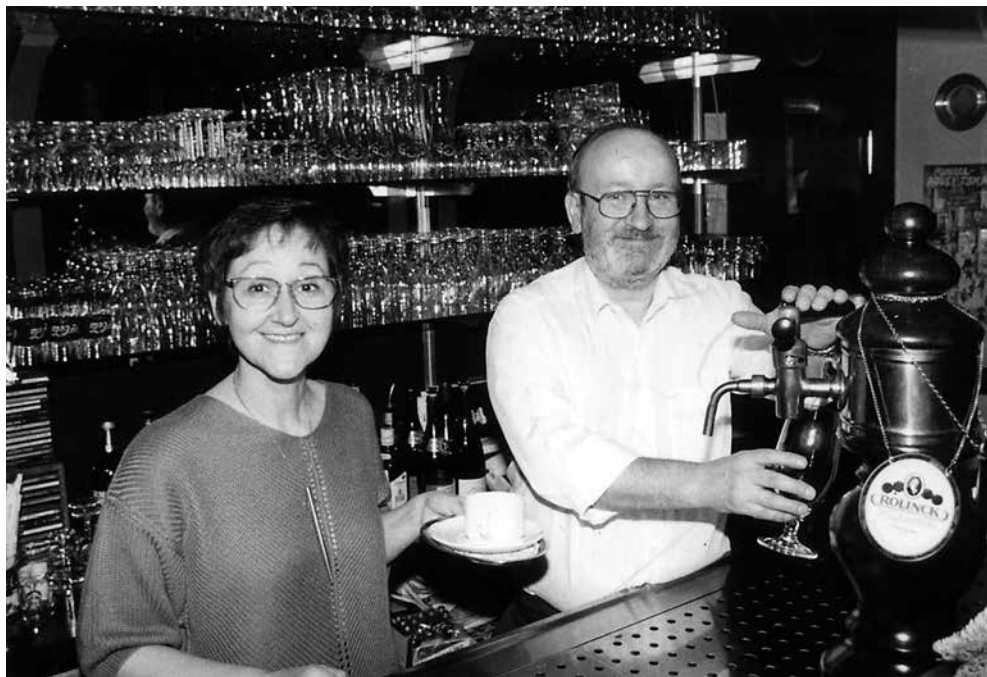
Сколько уж харчевен, где и каких только не довелось мне повидать на своём веку, всегда прихожу к одному выводу: каков хозяин (хозяйка) – такова и его (её) трапезная. В той самой Западной Германии, где друзья мои держат недалеко от въезда в миленький вересковый город уютный рестораник Zur Wassehrmulle («У водяной мельницы»), поразил один случай.

Мы засиделись допоздна, празднуя день рождения русской женщины Кати, вместе со своим мужем Йозефом, её мамой и четырьмя детьми переехавшими из Поволжья на историческую родину супруга – в Неметчину.

– Как же, – шептала мне тогда, боясь быть услышанной даже не знающими русского языка хозяевами, Катерина, – ехали, думали встретят нас здесь с распротёртыми объятиями: как же, свои, пусть и обрусевшие немцы, но свои приехали! Ага, встретили нас хлебом-солью, как же... Сразу загнали всех вновь прибывших в пустые казармы, которые то ли американцы, то ли голландцы, шут их разберёт, оставили после того, как убрались с демилитри...

(Она беспомощно посмотрела на меня, буксуя перед словом «демилитаризация», но я ободряюще кивнул, понял, мол, всё, продолжай.)

– Ну, приехали. И что? Йозеф (она так и звала мужа на немецкий манер – Йозеф, а не Иосиф) аж через четыре месяца, и то по великому благу, шофёром на мясокомбинат к одному бургеру устроился. Тот гонял его как сидорову козу, передыху не давал. Мой только приедет, разгрузится, придёт пообедать – звонок: поезжай немедленно в какой-то там Шмуццюртерберг, куда муж и дороги не знает. Ничего, сейчас начерчу план, вот ещё карта, да там и указателей на дороге полно. Грамотный? Разберёшься. Ну и разобрался.



Добрые и славные мои немецкие друзья – владельцы лучшего городского ресторана «У водяной мельницы» супруги Лидия и Вальтер

Однажды чуть не уснул за рулём. Тут же тот, кто сзади ехал, ихним гаишникам стукнул на посту, дескать, что-то на автобане вон та фура подозрительно виляет, проверьте. Йозефа через полминутки стопорнули.

«Вы сколько часов за рулём?» – «Столько-то». – «Чья машина, кому принадлежит?» – «Тому-то». – «Так. Ключ зажигания, аусвайс, страховку быстренько сюда. За мной на пост».

Хозяину штраф выкатили, он аж позеленел от злости. Йозефа тут же долой, понятное дело. Почти год он на стройке кирпичи таскал, хотя в России после пэтэу работал каменщиком. Но это в России. А у них тут если строят дом – фундамент до цоколя поднимать, углы заводить, стены класть никому, кроме как своим, не доверяют, а нашим дадут разве что простенки класть и то под таким присмотром...

Мы и не заметили, как, когда застольная гоп-компания, без роздыху курящая, без устали галдящая, прервав наш задушевный разговор, забегала, засуетилась, таинственно заулыбалась, потом ещё сильнее загудела, и – верх кульминации – супружеская чета владельцев ресторана, официантки, повара приступили к главному действию: вручению Катерине подарка. Но немцы! Они, в отличие от нас, приехав к вам в гости, вручат презенты не сразу же, как мы, едва переступив порог, а напоследок – перед самым поездом или самолётом. Вот и на день рождения так же: цветы и подарки вручают не по приходу на торжество, а по «заходу солнца», под занавес. Но как!

Для Катерины повара притащили огромную картонную коробку; раньше, насколько я помню, в такую тару упаковывали папиросы «Север», «Прибой», термоядерные сигареты «Памир» и «Прима». Раскрыли багаж – а там ещё коробка, габаритами поменьше, годная под хранение хозяйственного мыла или средства для мытья посуды «Фери». «Гу-у-у!» – дружно загудели развесёлые ребята и стали копаться в пакетах дальше, выбрасывая под хохот публики разноцветные рекламные журналы, салфетки, гофрированные яичные упаковки, бумажные жгуты, местные газеты «Бёме цайтунг» и старые листовки...

И Кате надо было смеяться – пусть через силу – вместе со всеми, выказывая детскую заинтересованность в долгожданном сюрпризе. А он-таки был. Свершился! И неплохой: на радость ресторанной уборщице Екатерине, подрабатывающей здесь нелегально, с оплатой в конверте (плюс порой курица от бездетной сердобольной хозяйки в придачу), выпал ей подарочек – золотые часы! Овальные, чисто дамские, с модным циферблатом, пикантными стрелочками. И – номерные – с гравировкой цифр на крышке. Не подделка – всё на чистом сливочном масле, без обмана. Как и подобает ценному изделию от уважающего свой труд и своё ремесло ювелира.

– С тебя тост, Вадим! – мило улыбалась мне хозяйка ресторана.

А то меня врасплох застанешь... Я, конечно, встал. Я, конечно, сказал. Что говорил? Нечто где-то вычитанное, что греха таить. Но истины от повторения не тускнеют, кому бы они ни принадлежали. Тем более – не запатентованные. Я предложил поднять бокалы не только за здоровье – оно у каждого из нас или есть, или его нет, и тут уж ничего не попишешь. Не нужно провозглашать тосты за любовь (дамы с удивлением ждали продолжения). Да, мои дорогие, да, любовь – это редкостный дар божий, которым Господь осеняет далеко не каждого. Иные супруги проживут в мире и согласии двадцать, тридцать, полста лет и так и не поймут, что вместо любви была у них лишь привычка, то самое согласие. (Замужние дамы, кто вскинув глаза, кто поведя губами, о чём-то таком задумались...) А вот за что стоит выпить, так это за мечты. За их рождение и исполнение! Большие или маленькие, неваж-

но, главное, чтобы они сбывались, исполнялись, осуществлялись... Была вот у меня в студенческие годы мечта – побывать на родине обожаемого Ремарка, выпить в немецком ресторане настоящую яблочную водку – тысячу раз упоминавшийся в его романах кальвадос. Сбылось! Значит, надо просто сильно мечтать, активно действовать, и – всё сбудется!

И немцы, вряд ли читавшие Ремарка, но верящие в его существование, едва дослушав корявый Катин перевод (у аусзидлеров из Поволжья до сих пор ведь в ходу «старославянский» «хохдойч», принятый от бабушек-прабабушек), тут же согласно застучали костяшками пальцев по столешнице, приветствуя и одобряя мои высказывания. У них ритуал такой: не аплодировать, а молотить вот так пальцами, выражая своё «браво!»

Катя деликатно выждала, пока уляжется повышенное внимание к тостам и застольная компания вернётся к внутренним разговорам. Чтобы продолжить, точнее, завершить интересную эпопею о муже своём, Йозефе. Которого, как помнится, мы с ней оставили на строительстве чьего-то частного дома, где он с напарником перетаскивает носилки битого кирпича, этой томатного цвета щебёнки, идущей на забутовку фундамента. Работа, нужно сказать, для уважающего себя каменщика пятого разряда – бросовая, никакая в силу самой что ни на есть низшей квалификации. А что было делать? Господь терпел и нам велел.

Только Катя, на то она и Катя, настоящая жена-мироносица, готовая следовать за мужем хоть на край света, и разумом, и сердцем понимающая, почему не спит Йозеф по ночам, скрипит зубами, вперив сухие глаза в потолок, и если отвечает ей, то невпопад, а больше молчит... И там, где танкер не пройдёт, где броненосец не промчится, нужно пускать в ход свою бабу – она чудеса сотворит: не в пример неуклюжему верблюду в игольное ушко пролезет.

В том же воскресном сентябре, подкатившись в темноте танцевального зала к престарелому бургомистру на «Картофельфесте», Катюха, ласково поиграв глазками и лишь чуть-чуть, так это для близиру, дала понять, что всемогущий глава города должен помочь ей с трудоустройством супруга. «Должен? Я?» Немцы очень не любят этот душастый свободу глагол *muß* – «должен». Они никому ничего не должны. Но... Эта сочная мадам не есть германского происхождения, она есть айне аусзидлер. Фрау прибыла из коммунистического режима и ещё не освоилась с демократическими устоями и порядками великой Германии. Нужно идти ей навстречу.

– Как вы говорите, Йозеф? Келлер? Шофёром у нас работал? – вносил в мобильник престарелый поклонник дамских штучек свои пометки о муже аппетитной русской прелестницы.

В тот же вечер Келлеру хриплый бас – уже на телефон Екатерины – велел Йозефу Келлеру явиться наутро со всеми документами по адресу: Альтенштрассе, семь, троллейбусное депо, – будет оформляться на работу, знакомиться с дорожной картой маршрутов.

А во вторник сияющий Йозеф выводил на линию отмытый до блеска новенький школьный автобус, предназначенный подвозить беспокойное детское племя к гимназии. А вечером – доставлять ребятню к тому же месту сбора – ТРЕФФПУНКТ – обратно.

– И всё бы ничего, платил нам хозяин очень хорошо, – обобщала зарплату мужа как совместную Катя, – да тут завелась одна... – Именинница осторожно пошарила глазами по сторонам. – Завелась одна козявка. И знаете, кто? Вовек не догадаетесь. Такая же, как мы, аусзидлерша, только из При-

балтики, не знаю, Литва там или Латвия. Стала её сжигать зависть, жаба душить, это почему, мол, Келлеры лучше нас устроились, сам на твёрдой ставке, она пусть чёрным налом, а работает, путцует, евро приносит.

– И что вы думаете? – с доброжелательной улыбочкой отозвавшись на призыв повара Хайнриха чокнуться с ним бокалами, тут же скорбно поджала губы уточкой Катя. – Подъезжает как-то Йозеф, как всегда, утром к ратуше, а один мальчишка, сын этой самой прибалтийки Дань, набылчился, насупился, носком землю ковыряет и руками машет, я, говорит, в автобусе этой русской свиньи не поеду... Не хочу. Буду ждать следующий.

Мама моя! Скандал! Дети ведь сразу раззвонили и по всей школе, и классным учителям, и родителям своим, что произошло. Да ещё что-то от себя придумали, что-то додумали, до небес всё раздули... Йозеф мой опять ходит чернее тучи, горем убитый: как же, мол, так, не я ли весь этот год точь-в-точь автобус к самому бордюру подавал? Не я ли выбегал каждый раз, чтобы помочь старенькой учительнице зайти в переднюю дверь и занять любимое место? Не я ли в наледь возил с собой ящик песка в багажнике, чтобы посыпать тротуар при посадке? Не я ли узнал почти всех мальчишек и девчонок по именам. И за всё это я – свинья?

Расстроенный начальник троллейбусного депо вызвал Йозефа вечером к себе в кабинет. Не глядя в глаза, протянул ему пухлый конверт с месячным жалованьем наперёд. Следом выдал другой конверт, с документами на имя Келлера. И красноречиво пожал плечами: дескать, прости, вот всё, что могу...

– Такие порядки? – вполголоса, потрясённо спрашивал я Катю.

– А то! Ордунг. Общественное мнение у них превыше всего, хай хоть сплетня. Заклюют, если отмахнёшься. Йозеф теперь со старшим сыном по найму шабашит, они ж у меня мастера на все руки. Кому крышу, кому крыльцо, кому забор поправить, а то и по сантехнике, кому ванну, кому унитаз, кому трубы поменять... Среднего сына тот хозяин депо – дай ему Бог здоровья, душевный такой оказался мужик, хотя с виду как ежище – помог устроить в это... ну, как его, в общем, бурят они артелью артезианские скважины по хозяйствам. Там деньги хорошие, как раз на свадьбу скопит. Сам, говорит, всё заработаю, чтобы у вас не просить.

– А младший?

– Валерка? Вальтер? – оживилась, заулыбалась Катя, едва речь зашла о самом, видать, её любимом сынуле, младшеньком. – Ох, это шедевр! Ох и хулиган! В школу через день, и это – в последнем классе, двенадцатом, представляете? Зато на все дискотеки-дрыскотеки, на все вечера, там, где танцуют, он от нас улепётывает без спросу! И везде он на виду, везде герой! Хотя, вообще, местные немки-девчонки с переселенцами не танцуют, им, видишь ли, не личит с нашими парнями отношения строить. Вот пацаны немецкие, те, наоборот, те попроще; если кому понравилась девчонка – кто она ни будь, хоть мулатка, хоть бурятка – он и дружить с ней станет, и в открытую ухаживать будет, и родители его полслова поперёк не скажут.

Катя посерьёзна. Помолчала.

– Только, Вадим, как вас по батюшке, вы уж, смотрите, никому обо всём, что я вам рассказала, ни-ни...

– Катя-Катерина, я что, похож на трепача? Это, во-первых. Во-вторых, запомни, не надо никогда никого ни о чём секретном предупреждать, если не считаешь нужным что-то рассказывать, лучше не рассказывай, чем зарок с кого-то брать.

– Да нет, вы не подумайте. Я почему с вами-то разоткровенничалась? Уж русский язык забывать стала, а тут – свой – как не пообщаться? Это, как вы говорите, во-первых... А во-вторых, – лукаво подмигнула Катя, – вы хозяйке нашей больно понравились, какой умный, говорит, гость у нас. Ты уж его занимай, чтобы не заскучал. Мы-то в русском ни бум-бум, знаем только «спасибо» да «водка». А! Нет... ещё «рапот», «арбайтен», да? «Тафай-тафай» и «чуть-чуть»... Я Лидии о вас поддакиваю: ага, мол, правда умный мужик, книжки пишет, продумАн! Так моя бабуля говорила о головах-стых – продумАн...

Так что же меня удивило и поразило-то в стоящем на самом въезде в уютный вересковый город ресторане «Цур Вассермюлле»? Катин рассказ? Нет, не очень. Делились люди житейскими историями и покруче. А поразило то, что ровно столько, сколько праздновали мы после закрытия ресторана Катины именины – а было уже почти четыре часа утра, – столько в дальнем углу, один, сидел щупленький мужичок лет сорока, в очках и мрачном однотонном свитерке, без усов, но со щуплой бородкой, надирался шнапсом и тихо балакал сам с собой, время от времени возмущённо грозил в пространство пальцем.

«Ресторан ведь уже закрыт, а вы этого клиента почему не провожаете?» – на своём трудно поддающемся пониманию немецком наречии, построенном по всем правилам русского языка, спрашивал я во время танца Лидию, единственную, кто хорошо (потому что не умом, а сердцем) понимает мой «ходдойч».

«Нельзя. Он гость, – был её ответ. – К тому же недавно развёлся с женой. Кто его накормит?»

«А если он ещё два часа будет здесь сидеть?»

«Ну и что, – сладко потянулась, отвечая на мои нескромные объятия Лидия, – и мы будем сидеть. Тебе разве плохо у нас, мм?»

Вот так обычный дойче кабачок дорожит перед гостями своей репутацией. Я тогда ещё подумал, а какие бы тургеневские слова услышал в моём родном городе какой-нибудь ночной гость, вздумай он скоротать бессонницу до утра за чаркой, наедине с собой...

ГЛАВА V. КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ И СТУДЕНТ БОРЯ БЛИНЕР

До чего же ты широка да неоглядна, матушка Русь! Не знаю, где берёт она своё начало, где расположено её устье и что считать притоками, ериками, лиманами да перекатами в людском океане. Но то, что бурливый, говорливый и гомонливый поток человеческий стекается, особенно с наступлением тепла и солнца, в курортные края, – факт неоспоримый. Здесь греются на пляжах необъятные чресла пузаны-толстосумы, отсюда лихо пускаются в разгул любители острых ощущений, девицы лёгкого поведения, шулера, жулики и мошенники обоего пола, разного возраста и социальных сословий.

Кто-то, чтобы заработать денежек на семейный выезд, скажем, в Ессентуки, весь год горбатится в шахтах Кемерово, Тулы или Ростовской области. Кто-то без отдыха и срока вкалывает на норвежском Шпицбергене,

добывая дефицитный бурый уголь. Бедолаги сельские труженицы наживают «синдром доярки», потому что, как ни будь обеспечена новейшими доильными аппаратами современная молочно-товарная ферма, додаивать породистых коров, допустим, величавых симменталок, надо вручную. Иначе остаётся у них в вымени молоко, что недопустимо. А с напряжением, с мужской силой «пожмакав» соски коровам три раза в день – на утренней, дневной и вечерней дойках, – двадцать один раз в неделю и шестьдесят три раза в месяц, и так годами, десятилетиями, без праздников, выходных и проходных, – какие у прекрасных доярочек руки будут? Правильно, больные! У каждой свои методы лечения: кто-то мажет руки найзом, кто-то димексидом, кто-то, в отчаянии завывая от боли, пытается согреть простуженные рученьки свои на радиаторах водяного отопления дома или кутаясь в пуховые варежки. Бывает и такое: засовывают руки в толстый напольный ковёр на часок-полтора – порой помогает. Но потом всё равно нужно записываться к врачу.

Жулюю что за переживания обо всех людских тревогах, бедах и напастьях? Им по роду деятельности противопоказано опускаться до сочувствия и жалости к тем «карасям», которых они наметили обчистить, «ошкурить». Будут жалеть – воровской гонор и профессионализм утратят.

И мы с Димоном, старые облезлые публицисты, одноклассники по универу, выпускники советской, ёлки-палки, не самой худшей в мире школы, сидим сейчас, рассусоливаем на тему тем, попивая по глоточку на совесть сваренный барменом «Эрмитажа» капучино с изящным молочным сердечком поверх кофейной амальгамы. Это так здорово – утопая в уютных креслах на открытой веранде, под сенью каштанов с Парижских бульваров, вдыхать неповторимые запахи хорошего кофе, свежей выпечки, шоколада и вина, не досадовать даже на аромат сигарет и с любопытством разглядывать род людской, который течёт себе и течёт рекой нарядной по булыжной мостовой. Всё как в той первомайской песне времён пионерского детства.

Но вдруг откуда ни возьмись возникли в проёме балюстрады две чернявые, кучерявые ромалы – толстая пожилая и тонкая молодая цыганки. Добытчицы лёгких пиастров, с утра пораньше посланные жирными бездельниками мужьями на заработки под угрозой не возвращаться к ужину без денег.

– Ты же знаешь, я не ксенофоб, – провожает пару гнедых недобрым взглядом Дима. – Но до сих пор им простить не могу, что такие вот, как они, из подъезда у меня, в Ботаническом, новенькую детскую коляску спёрли. Я утром коляску во двор вытащил, поехал на работу, а дама моя после прогулки с малышом поднялась на этаж покормить Антона, тогда ещё грудничка. И – всё. Классная такая была, немецкая, кстати, коляска, лёгкая, с рессорами, сплошь кожа, хром да никель – я на неё две месячные зарплаты угрохал. И – ушла. Увели. Моя выбежала, ох, ах, бабок у подъезда спрашивает, где, кто, куда, что видели? А, говорят, как же, видели: сейчас только цыгане проходили толпой, галдели что-то да вроде как коляску перед собой толкали. А что, украли, да? Ой-ё... Нам знать бы...

Дима излагал свою историю, а кочевой дуэт в это время уже запел. Артисты! Выездные гастроли труппы театра «Ромэн» с Ленинградского проспекта, что у метро «Динамо». Вокалисты, для которых только белозубый красавец Сличенко – главный начальник и самый близкий родственник.

Но, надо отдать должное, как же они берут за душу, как безудержно втягивают в пляс и подхлопывания песни малых народов – еврейские, армянские, цыганские. За счёт чего? Наверное, за счёт того, что и улыбка,

и смех в них – сквозь слёзы, а значит, каждая строка сотворена не впопыхах, а выстрадана, может быть, веками. Кровью.

*Нанэ цоха, нанэ гад,
Мэ кинэл манге ё дад!
Сыф виджява пало ром,
Мэ кинэл мангэ ё ром!*

Это поёт, полуприкрыв глаза и приложив ладонь козырьком ко лбу, молодая. А старшая, то притопывая, то приподнимая подол, то поводя плечами и вытворяя кистями рук те ещё кренделя, синхронно переводит на русский:

*Юбки нет, рубашки нет,
Ты кути, отец, их мне,
Выйду замуж – уж потом
Мужа попрошу о том...*

И зазавшая к себе певиц компания, что-то такое празднующая в конце зала – не то крестины, не то именины, подсвистывает, подгигикивает солистам, требуя продолжения песни. Цыганки дуэтом слаженно допевают коронную свою песенку, пригодную для исполнения при любом стечении публики, в любой обстановке, будь то незатейливый курортный «Эрмитаж» или необъятная сцена Театра Российской армии.

*Серьги, кольца дай, отец,
Как цыганке без колец?
Коль тебя не упрошу,
В девках дня не прохожу...*

Такой разгул страстей я видел, дай Бог памяти, последний раз только в Америке, в забитом до отказа разноплеменными людьми бруклинском ресторане «Самовар». Не зная, что нас ждёт в этом заведении, а польстившись исключительно на знакомую вывеску, туда мы отправились под вечер с переселенкой из России, пожилой одинокой женщиной, сделавшей в бытность её в голодные годы начальником ОРСа для нас, для нашей семьи и детей столько, сколько за всю жизнь не сделал никто иной. Я позволил, она не сразу узнала меня по голосу, приняв вначале за своего брата. А узнав, долго плакала, потом стала торопливо и сбивчиво объяснять, как мне добираться к ней из центра Нью-Йорка на метро, но этот вариант был отринут. Я не рискнул, и она разделила моё благоразумие, сама через пару часов приехала в «Шератон». И компромиссом для дружеского общения после положенных объятий, грусти и смеха как раз и послужил «Самовар». Когда-то моя старшая приятельница там побывала, о чём отозвалась кратко и маловразумительно: «Вроде, ничего...» Взяли такси и поехали.

За соседними столиками, точнее, за одним длинным, сдвинутым в форме «Т» столом, грузинская диаспора отмечала большое событие, как мы поняли из доносившихся на русском языке тостов – выход на свободу после пятилетней отсидки в штате Огайо родственника тамады – высокого, слегка покашливающего мужика с впалыми щеками и обвислыми усами, по имени Вахтанг.

– Я попрошу сказать слово уважаемого Авессалома Герасимовича, – под нескладные аплодисменты застолья склонился в поклоне тамада. – Вы все знаете, что уважаемый Авессалом Герасимович был в нашем любимом и родном городе Поти очень авторитетным руководителем жилищного треста. И если бы не та грязная провокация со взяткой, которую ему, конечно, подсунули, Авессалом Герасимович, конечно, стал бы мэром всего города, его очень любили все потийцы. Но произошло то, что произошло. Авессалом Герасимович, дорогой, ваше драгоценное для всех нас слово. Вах!

Несостоявшийся мэр портового города Поти виден был из-за стола едва ли по грудь, тут же переходившую в живот. Промашку природы скрадывал зато звучный, хорошо поставленный голос бывшего руководителя жилищного треста, вовремя смывшегося от уголовного преследования на другой континент, отгородившийся от Грузии, как и от всего мира, неодолимым Атлантическим океаном.

– Я знал Вахтанга ещё вот таким мальчиком, – без труда приподнял ладошку рядом с собой слегка возвышающийся за праздничным столом тостующий. – Не скажу, что это был спокойный мальчик, скорее, знаете, он был егоза. И доставлял много хлопот, скажем так, своим папе и маме – нашим соседям по улице Киквидзе. Мальчик рос, рос, рос, – приподнимал над собой короткопалую ручонку Авессалом, – и вырос. Теперь, значит, случилось то, что случилось. Мы верим, что наш Вахтанг не сломлен, он герой, и за эти пять лет он стал действительно витязем в тигровой шкуре! Мой дом всегда открыт, и мой дом – твой дом, дорогой наш Вахтанг!

Господи! Что тут началось! Братались в который раз тбилисцы с кутаисцами, горийцы с зугдидцами, потийцы с кобулетцами... Крикливо одетые мужчины наперебой спешили к освобождённому из пут Вахтангу с поздравлениями, объятиями, рукопожатиями. И он, невозмутимый, как сфинкс, как памятник на горе Мтацминда, достойно напринимав все здравицы и пожелания, поднял руку, требуя абсолютной тишины. Откашлялся. И единолично повёл а-капелла песню-гимн маленького и прекрасного горского народа.

*Тбилисо, мзис да вардебис мхарео,
Ушенод сицоцхлеу ар минда,
Сад арис схвачан ахали варази,
Сад арис чагара мтатцминда!*

Даже ресторанный оркестр приподнялся на эстраде поприветствовать правда замечательный голос певца. Голос, за который, наверное, многое прощалось озорнику Вахтангу в его безоблачном детстве, затем – в отрочестве, да вот жаль, не простилось в зрелости... Как уже было сказано до нас, случилось то, что случилось (хорошая какая в своей обтекаемости формулировка).

Ну, а многолюдный грузинский стол теперь пошёл в пляс – осмысленный и беспощадный. Как перед неизбежным потоком, без передышки отплясывала пёстрая, потная, взбаламученная толпа все залихватские кабацкие танцы под «журавли» – долларовые бумажки с портретом Вашингтона, которые щедро совали оркестру то тамада, то колобок – почти что мэр из Поти, то сам Вахтанг, то кто-то из малоприметных гостей. И шустрый прохиндей официант, к вечеру принявший смену от очаровательной девушки-кельнера, этаким всезнающий, всё понимающий таракан тараканович, с неизменной чёрной бабочкой и усиками-бланже «Я из Одессы, здрасьте!», подзадоривал уже и так по самые гланды набравшую публику, выкрикивая музыкантам нечто одобрительное, в роде: «Ассса! Ассса! Жги, Алёха, жги!»

А сам потихоньку складывал на поднос и бегом оттаскивал в подсобку нетронутые розеточки с красной и чёрной икрой, изящные блюдечки с заливной рыбой, деликатесную нарезку... Переполненный пойлом и яствами стол от малого изъяна в общем-то не худел. Почему бы нет? Он же знал: здесь сегодня, как и вчера, из местных собирается ворьё, жульё, спекулянтская шушера пропивать и проедать краденое.

Но неужели только я один подметил этот мерзкий шахер-махер кельнера, мухлюющего за столом, как опытный катала краплёными картами? А моя спутница Мария Исааковна Гольбрайх? (Царствие ей уже небесное и вечная память...) Видимо, нет. Увлечена была ресторанным оркестром с его гитарным перебором, клёкотом медных труб, журчанием аккордеона и полным шляхетского апломба вызывающим пением горбатого саксофона. «Ах, Одеса, жемчужина у моря, ах, Одесса, ты знала столько горя...»

– Ну что, за встречу, наша дорогая, добрый наш ангел? За встречу, Вадик! Будем!

Я посматривал на Диму, Дмитрий поглядывал – тоже искоса – на меня. Мы согласно потягивали капучино, не выжидая, кто заговорит первым. Бывают такие мгновения, когда молчание лучше всяких слов устраивает обоим, тем более что мы, писаки, родственные души, понимающе друг друга с полувзгляда, по вскинутым бровям и лёгким вздохам.

А в двух шагах от нас текла своя жизнь со всеми её поворотами, водоворотами, подводными течениями, порогами, большими и малыми радостями, большими и малыми горестями. Курортное народонаселение вело себя кто во что горазд, предаваясь разумным развлечениям и кутежам, полезному досугу и сомнительным знакомствам, общению с умными людьми и не очень умными. Всё, как везде, будь то коралловое государство Мальдивы или египетский Шарм-эль-Шейх, неказистый кипрский город с громким названием Пафос или родная алтайская Белокуриха. Свои у каждого предпочтения, своя музыка, выбор свой. Так уж, видимо, предопределил Творец.

Вдруг, что-то вещее почуввав, вконец отставил я свою чашечку кофе и насторожился. Точно так три тысячи лет назад (шучу!) насторожённо, словно таёжная соболиха в опасении выстрела, бродила и кружила вокруг нашей русской группки в немецком ресторане «У водяной мельницы» молодая женщина-соотечественница, как сама потом представилась, родом из Брянска. Муж её – берлинец, какой-то рокер-брокер, чёрт сейчас разберёт эти хлынувшие в русский язык иноязычные названия, короche, агент по продаже в Германии российских автомобилей, сидит сейчас во-о-он за тем столиком, ведёт деловой разговор со своей агентурой, а она, почуввав родную русскую речь, покрутилась, повертелась, пошукала-поискала, откуда речка берёт своё начало, и прибежала поговорить со своими – о чём угодно, но поговорить, побалакать, потрепаться на родимом наречии. А то ведь кругом лишь фрау, гутен морген, гутен таг, битте-дритте, айнс, цвай, драй – опупеешь от тоски, забудешь, как звучит «Есть на Волге утёс!»

В общем, мы землячку поняли. Пригрели. В свой круг впустили и дали выговориться.

«Вот так, вот так, живут Америка с Европой...» (Игорь Тальков).

Вот так же примерно теперь и я в роли той... брянки? брянчихи? как правильно сказать? – жительницы Брянска – прислушивался: «Шо за шум, шо за гам учинився, чи козаче молоденький оженився?»

Нет, это в курортном кафе «Эрмитаж» услышал я переливы простенькой детской песенки про медвежонка... на украинском языке. Бог ты мой, сколько лет прошло с тех пор...

*Це ведмедик волохатый,
вин живе у наший хати,
вин про лис ничо не знае,
вин у лиси не буває...*

Стой, стой, стой, кого мне напоминает эта пожилая черноволосая женщина с благородной такой проседью на висках, классическая бабушка, нежно качающая колясочку с дитём. Круглолицая, с мягко очерченным подбородком, в «учительских» очках. Кто? Господи! Неужели?..

*...бо ведмедик цей хуτροφый,
цей ведмедик играшковый.
Вин прийшов в мою родыну з татком
прямо з магазину.*

Боишься подойти? Не отвливай хотя бы теперь! Трусишь! И не оправдайся тем, что даёшь ей допеть, пока ребёнок – внук? внучка? – не заснёт...

*Я з ведмедиком гуляю,
я йому книжки читаю,
чи розказую вирши,
чи наспивую писни,
чи секреты довиряю,
що видиomi лиш мени.*

А помнишь, Женя, Женька, Женечка Блинер, какие у нас с тобой были секреты? Помнишь?

*Вин тихесенький, терплячий,
вин мякесенький, добрячий,
ни на кого не рычить.
Вин чудовый, цей ведмидь!*

Димка, ничего не понимая, смотрел на моё изменившееся лицо, на оставленную чашку с недопитым кофе, отодвинутое блюдо с любимой моей рыбой – дорадо, поданной как раз к этому моменту на вощёной бумаге, классное блюдо, к которому я не притронулся..

Лопай, лопай свою сёмгу, всё нормально, дружище, аллес гут. Только дай мне сигаретку – я покурю, пока Женя склонилась над коляской, то ли поправляя пелёнки-распашонки, то ли поудобнее укладывая малыша... Наверняка, если это мальчишка, если парень, то звать его Борька! По-иному просто быть не может.

Подойти сзади? Закрыть ей глаза ладошками? Нет, напугаю ещё. Лучше подожду. А потом? Что потом?

*Вспомним, дорогая,
осень или зиму,
синие вагоны,
ветер в сентябре,
как мы целовались,
проезжая мимо,
что мы говорили
на твоём дворе...*

Я знаю по семейным преданиям, что мы бы ни за что не уехали через два года после войны из славного уральского Магнитогорска, где обосновались после эвакуации.

Отец уже всюю впахивал там в сборочном цехе завода металлоизделий. Мама подрабатывала на дому кройкой и шитьём. Одолевала первый курс – вот не знаю, то ли медицинского, то ли педагогического института – сестра Шура. Скорее всего, всё-таки педагогического, потому что пройдёт ещё пяток лет, и судьба забросит её с дипломом учительницы в самую котловину Тернопольской области преподавать русский язык и литературу.

Отправят для поднятия культуры и образования западнцев целый курс молодых педагогов, человек тридцать, а останутся там, послушные долгу и дисциплине, лишь наша Шура да её закадычная подруга Юля. Только Шура пойдёт работать учительницей русского языка и литературы в среднюю школу живописного посёлка Скала-Подольская, а Юля пристроится в Борщевском районе методистом.

Шура бросит якорь в Западной Украине навсегда, выйдет замуж за местного учителя математики – щирого украинца, знатока архитектуры, любителя музыки и доброй компании, между прочим – участника войны, пусть и её завершающей части. И они, складывая копейку к копейке, рубль к рублю, построят уютный дом на улице Котляревского, где будут жить долго и счастливо, родив двоих детей, славных пацанов, один из которых, старший, станет после окончания Одесского технологического института козырным тузом мясо-молочной промышленности, но не у себя на малой родине и даже не в Украине, а в Белоруссии (Беларуси). Второй изберёт военную тропу в Збройных Силах СССР, дослужится до подполковника танковых войск.

Ну, а Юля, годок поварившись в Борщевском супе, поняла, что ловить там дальше нечего: подруга Шура ждёт ребёнка, квартирная хозяйка – злыдня, не брезгующая рыться в личных вещах девушки-квартирантки, да и по работе что ждать? Благодарности роно? «Дякую за гарну працю»? Да працюйте вы тут сами!

И Юля под каким-то уважительным предлогом (Шура лукаво улыбалась: «Заведующий роно был её уважительным предлогом») рванула на родину, где Днепровские кручи. Та вскоре нашла своё счастье в облике любящего её бывшего военного лётчика, теперь – директора ремесленного училища, чуть ли не Героя... Смутно помню их, Шуриных друзей-киевлян, летом приезжавших к нам погостить. Молчаливый дядя Коля, в лётной кожаной куртке и посаженной набекрень фуражке с голубым околышем, уже хоро-

шо захмелевший, курящий папирасы «Казбек», легко вышибая в «блице» на спор сильнейших шахматистов Псельска, изумлённо сгрудившихся у его доски в парковом павильоне настольных игр.

И она – хохотунья тётя Юля – артистичная полногрудая женщина, попа – мячиком, капроновые чулочки на обливных коленках – в сеточку, красотка, подле которой, словно преданный паж у ног королевы, без конца увивался, изнывая от вполне объяснимого томления и жажды мой старший брат-студент...

Но мы должны пока попрощаться с моей старшей сестрой Шурой, её подругой и вернуться к основной канве повествования.

Сколько же слёз мама пролила, отговаривая упёртого, как сто ослов и триста ишаков, папу не возвращаться из обжитого башкирского края на берега реки Псёл. Не возвращаться туда, откуда семь лет назад, в самый разгар войны, пролёг её путь с двумя малыши детьми в глубь страны, как называли тогда эвакуацию. Отец оставался непримиримым: как же, друг детства Шурка Босенко зовёт. Шлёт письмо за письмом: Сеня приезжай, твою квартиру отвоюем, а пока поживёте у нас, работу найдём, приезжай.

Зов друга! Наследственный ген, передавшийся от папы и нам с братом. Да и Шуре... А Псельск. Что Псельск? Не родилось ещё тогда пророческое стихотворение Геннадия Шпаликова.

А если бы родилось – не поехал бы? Вопрос теперь к отцу – туда, на небеса...

*По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище выглядит вполне,
Не найми того, что ищем, ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратню
Я бы запретил,
Я прошу тебя как брата,
Душу не моти.
А не то рвану по следу –
Кто меня вернёт? –
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом – угадаю –
Там, где – боже мой! –
Будет мама молодая
И отец живой...*

Дядя Шура Босенко, хотя и служил в советской адвокатуре, всё наврал, как дореволюционный стряпчий. Ничего он не сделал ни для возврата нашей двухкомнатной квартиры, в которой мы жили до войны, ни для папиного трудоустройства, ни для поселения нас хоть в какой-никакой пристойный жилой дом. Единственное, похлопотал малость для переезда по сосед-

ству – в покосившийся домишко с такими же наклонными полами по улице Пролетарской. Наёмная жилплощадь из одной комнаты с крохотным чуланом в придачу. Кто были новые соседи? Рядом, за стенкой, проживал торговый ревизор Анисим Львович, каждый вечер вместе с женой Фирой (папа её после первой же встречи прозвал «Уйсфорф Фира – юность мира») пересчитывавший взятки как дневную добычу. Это у него я стырил из его форменной шинели три рубля на железнодорожный билет, когда безоглядно влюбился в Людмилу Гурченко и решил (в 13 мальчишеских лет!) ехать к ней в Харьков искать свидания. Анисим Львович потери не заметил.

Во флигеле справа обустроились в реквизированной после посадки владельцев по статье 116 (политическая) толстые супруги-латыши Пильцы, с толстым сыном Робиком, моим ровесником и одноклассником, хорошим пацаном, который засовывал в картонную коробку свой башмак вместо трофейного отцовского «Люгера» (немецкого пистолета-парабеллума), и мы убежали в Ахлябевскую рощу, подальше от взрослых, палить дрожащими руками по возмущённым галкам и насмешливым воробьям, повывавшим и не такое за два года гитлеровской оккупации.

Во дворе слева от нашего строения роскошествовала бездетная семья врачей Водяновых, благостно жившая за счёт выписки липовых больничных листов прогульщикам строек, заводов и фабрик (им, терапевтом) и производства криминальных подпольных абортёв (ею, гинекологом). Всё у них шло тик-так до той поры, пока честный гражданин и патриот Анисим Львович не заложил эту сладкую парочку «органам», и за обоими – под страх попрятавшегося кто куда двора – не приехали.

Во флигеле бывшей прислуги, за густыми кустами сирени и акации, доживала свой век бывшая барыня, чуток тронутая мозгами ещё в девичестве, после Февральской революции, а потому оставленная рванувшими за границу родителями на попечение сердобольной няни Маруси – женщины добрейшей души, совсем неграмотной, одинокой, с радостью водившей меня в храм на все церковные праздники.

А за низким заборчиком, можно сказать, штакетничком, где улица Пролетарская граничит с улицей Садовой, проживала семья Голубничих, та, из которой выйдет Олимпийский чемпион и чемпион мира по спортивной ходьбе – очень доступный и очень простой, как все великие, Володя Голубничий.

Когда я, ещё детсадовцем, кричал из-за штакетника маме Голубничего, Елизавете Юрьевне: «Ризавета Рюрьевна, крыжовники поспели?» – Володя Голубничий выносил мне полную миску поспевшего крыжовника, малины, вишни, смородины – сказочного богатства из своего приусадебного участка.

А папа наш, страдая от «никакой» должности – заведующего торговым киоском (иной работы ему не нашлось), бессовестной зарплаты в сорок пять рублей, когда за найм квартиры надо было отдавать почти половину, а ещё – платить за обучение Шуры в музыкалке, как-то одеваться-обуваться, вносить партийные взносы, мечтал лишь об одном: подтянуть бы со своим артиллерийским взводом к горисполкому родненькую пушечку-«сорокапятку» с парой ящиков подкалиберных снарядов да метануть по «жандармерии» прямой наводкой, для начала – поверх крыши!

А пока – скрипел зубами и шёл в очередной раз к этой «сволочи серой», засевавшей в горисполкоме, обليسполкоме, на поклон – просить возвращения незаконно отнятой у нас квартиры на улице Красногвардейской («Вон там, сынок, мы жили до войны, на втором этаже, да-да, как раз над аптекой»).

Папа для храбрости принимал у друга-танкиста Шугеля в магазине стопарик с килечкой. И отправлялся в кабинеты власть имущих, с порога встречавших отца хмуро, неприветливо, если не сказать злобно.

– Опять вы? Какая вам квартира? Вы за жилую площадь вон сколько не платили, больше двух лет!

– Да, не платил. Не платил, потому что воевал. Я куда и кому должен был высылать оплату? На деревню Гитлеру? На оккупированную территорию? В дойчмарках?

– Послушайте, не надо так ёрничать, не расходитесь, понимаете ли, вы всё-таки находитесь в кабинете советской власти, поняли, нет? Все мы, знаете ли, воевали, в тылу не отсиживались...

– Да? И ранения у вас такие, как у меня?

Отца было не остановить, я знаю. Он задирали штанину, он развязывал тесёмки кальсон, прихваченных понизу, и вытаскивал на свет божий только что не культю, но заметно изуродованную и укороченную ногу.

– Вот моя оплата за квартиру. Под Купянском, гроб вашу мать! На переправе. Знаете, сколько там наших полегло?

– Послушайте, товарищ! Спрячьте вы это... ногу. Прекратите, в самом деле. Будет у нас в конце недели заседание жилищной комиссии, рассмотрим всё внимательно. Обсудим. Направим вам ответ. Одевайтесь, пожалуйста...

И с папы спадал жар. Он, спрятав под брюки «это», то есть израненную ногу, и свой партийный билет, выложенный для пущей убедительности на стол кровопийцы, отправлялся восвояси. До очередного похода – месяца через три-четыре, с предсказуемым результатом.

– Плюнь ты на них, Сеня, плюнь, не ходи к ним больше, не унижайся, чтоб они сдохли, чтоб их пранцы кровавые пили, чтоб их антонов огонь спалил! – осторожно массируя отцу больную ногу, приговаривала мама, не опускаясь до упреков: зачем вообще надо было ехать сюда, в этот жестокий, бездушный Псельск из благословенного Магнитогорска?

У взрослых была своя, не очень понятная детям жизнь. У мелкоты – своя. Для нас дядя Шура Босенко не был неприятелем. Во-первых, потому, что он оказался страстным книголюбом и нас с братом приохотил к чтению. До сих пор помню замызганные нашими не всегда тщательно вымытыми руками светлые томики Аркадия Гайдара, рассказы и повести на украинской мове какого-то Ивана Ле, роман (в середине прошлого века экранизированный) «Хиба ревуть волю, як ясла повни» Панаса Мирного (в главной роли фильма, снятого на киевской киностудии имени Довженко, – харьковчанка Люся Гурченко!), перелистанный, но по молодости лет не прочитанный коричневый томик писем Чехова к «Мисюсю», показавшихся тогда заурядными, обычными, скучными.

Зато сто раз были открыты страницы романа Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы». Вот какой книгой довелось зачитываться! Потому до сих пор не изгладились из памяти храбрые чукотские китоловы – Ваамчо и его друзья, выходявшие на примитивном вельботе в открытое море добывать кита – эту выпускающую мощные фонтаны воды громадину. Всё равно что у нас в непроходимой чаще идти с одной рогатиной на медведя в берлоге... Героями Сёмушкина были ещё красивая молодая женщина Тыгрена, невеста Ваамчо, которую, напоив, совратил хитрый местный жулик Алитет. Но и ему не удалось избежать расплаты.

Владелец таможни – пройдоха американец Томпсон сумел надуть безграмотного предводителя команчей. Погрузил на отплывающий к берегам Гудзона свой корабль сотни драгоценных шкурок соболя, лисицы, песка,

которые Алитет скупил по дешёвке у прибрежных охотников, а ему оставил в качестве «банковского чека» издевательский вексель на бухгалтерском бланке со штемпелем, печатью и прощальной надписью: «Гуд бай, хитроглазый дьявол! Ты мне основательно испортил печёнку своей дурацкой торговлей. Но ничего, зато я хорошо поправлю теперь дела в Америке. А тебе оставляю на память свои пустые склады. Охраняй их сам». Алитету только и оставалось после полного банкротства погрузить свою разборную ярангу и скудные пожитки на нарты, запрячь ездовых собак и отправиться дожидать в горы...

Не так давно я поймал одну довольно известную литературную газету на явном ляпе: вместо Тихона Сёмушкина, учителя с Большой земли, направленного в сталинские годы на Чукотку прививать младым оленеводам и китобоям основы грамотности и написавшего там роман, удостоенный наивысшей награды вождя – Сталинской премии, автором книги указали Юрия Рытхэу, который и не родился-то в те времена... Газета упрёк проглотила, но не ответила, не поблагодарила за внимание...

«Во-первых» про дядю Шуру Босенко я сказал. Теперь, по закону жанра и правилам грамматики, надо говорить «во-вторых». Во-вторых, очень известный в Псельске папин друг, адвокат, был самым богатым в городе филателистом. Ух, какие почтовые миниатюры хранились в его бесчисленных классерах, альбомах, конвертах... По вкусу, цвету, направленности. Там – писатели, там – артисты, там – спортсмены, там – вожди... Надо ли говорить о том, что и мы с братом с ходу заразились филателией, коллекционированием марок, выменивая дубликаты в школе и за школой у пацанов (школа в те годы была чисто мужская), скупая марки-новинки на почте, выпрашивая хотя бы у того же дяди Шуры.

И всё шло хорошо, наш гуру порой даже находил часок, чтобы пофилософствовать, порассказать нам о дальних странах, откуда, от каких коллекционеров прибыли к нему английские, французские, чешские марочки, которые он нежно, не прикасаясь руками, перебирал, поднимал в воздух, переворачивал пинцетом... Но в один прекрасный день привели мы с собой дружка – толстого кренделя Робика Пильца. И тот ничтоже сумняшеся, стоило только дяде Шуру отлучиться ненадолго по телефонному звонку, тут же спрятал в спортивные свои штаны увесистый классер с марками, дотеле покоившийся на краю стола, накрытый газетой.

Мы и заметить не успели, когда он это проделал. Только не знал Робик, да и мы не знали одну хитрую уловку адвоката: верный пословице «Доверяй, но проверяй», не такой уж простак дядя Шура оборудовал в своей квартире чёткую систему зеркал, при которой, где бы он ни находился, всё равно видел, где мы, что делаем, как развлекаемся. Потому Александр Антонович Босенко, «засняв» недружелюбный поступок гостя, положил трубку на рычажки и, уверенно прошагав из прихожей в гостиную, приблизился сзади к невинно жующему вишнёвую смолу Роберту и, ни слова не говоря, сдёрнул с него поношенное трико, явив миру и Риму украденное. Робка вмиг стал красным как рак.

А дядя Шура, больно ухватив воришку за пунцовое от стыда ухо, вытащил безмолвно плачущего Робку на крыльцо, отвесил смачного пендаля и со словами: «Ноги твоей чтобы в моём доме больше не было!» – выпроводил нахального варяга восвояси.

Мы с братом переглянулись, одинаково подумав о плане мести Робке Пильцу: он ведь знал доступ к отцовскому именному пистолету. Но, нет, слава Богу, обошлось. Понял наш кент: поделом вору мука.

Когда же всё это происходило? Когда всё это было? С точностью до дня не скажешь. Но то, что сразу после смерти Сталина, – точно. О, те незабываемые мартовские дни 1953 года... Вначале – мрачная неделя, когда каждый день чуть ли не ежечасно звучал скорбный голос диктора, извещавшего о состоянии здоровья угасающего вождя (а на самом деле, если верить сведениям, всплывшим полвека спустя, к тому времени уже мёртвого).

И траурное утро пятого марта, когда мать сидела в ночной рубашке на кровати, прислонясь к стене, и тряслась навзрыд. Чёрные ветви, как растопыренные руки, безлистных тополей и лип, хмурые лица безгласных прохожих на всём протяжении неблизкого пути от нашей Пролетарки до улицы Ленина.

И заплаканное лицо директора школы, Любови Анастасьевны, её трясущиеся очки, губы, руки... «Дети, нашу страну, весь мир, всё прогрессивное человечество постигло большое горе: после тяжёлой и продолжительной болезни...»

А через пару лет после того, как в шаламовских, солженицынских, королёвских лагерях и шарашках утвердился слух о том, что начнутся амнистии, в города и районы необъятной Советской страны действительно потянулись запуганные, зашуганные, замученные узники сталинских мест заключения – с тощими котомками за плечами и робким вопросительным взглядом: как после освобождения жить дальше будем?

Первым в нашем дворе появился Григорий Иванович Иванов, до войны – всего лишь слесарь авторемонтного завода, а на фронте подвизивший на расклёпанном «ЗиС» – два рога вперёд, trebuха вниз – снаряды артиллеристам. Угораздило же рядового Гришку Иванова ляпнуть при бдительном особисте, что у немца танки вроде крепче наших. Всё! Ему и котелок каши дожрать не дали. Получай свой червонец на спешном заседании трибунала – и отправляйся лес валить в Соликамской тайге.

– Как же ты выжил там, Гришенька, бедный, – подкладывала в тарелку соседу тыквенную кашу с запечёнными яблоками наша мама.

– Как выжил? – сам себе наливал стакан водки наш гость.

Да только потому и выжил, что был приставлен кормачом в свиноматник. Представить: Гриша, опухший, оголодавший, обезумевший, расталкивает грязных хрюшек и кабанов, прорываясь к деревянному корыту, кормушке, чтобы уткнуться в неё всем рылом и по-свински хавать тот комбикорм, который предназначался парнокопытным животным.

До такой зэковской удали, до такого нанесения ущерба подсобному хозяйству и сам начальник лагеря додуматься не мог. А Гриша со временем оклемался, был замечен в некоторой сытости своими же стукачами и – без повода – переведён на лесоповал, где, опять же по счастливому стечению обстоятельств, начальник лагерного конвоя оказался земляком – стал всего лишь таксовщиком брёвен. А там и Гришкин талант вокалиста оценили, взяли в самодеятельность, где даже любовь ему улыбнулась в обличье поистине божественного дара – полячки Божены, отбывавшей такой же, как и он, срок за антисоветскую пропаганду и агитацию. Какую именно агитацию могла вести несчастная девчонка, студентка-биолог, направленная после недавнего замужества по институтскому взаимообмену из Варшавы в Москву, Григорий не допытывался.

Вторым после дяди Гриши в нашем интернациональном дворе, где дружно уживались, усаживаясь за единым праздничным столом с винегретом

и «Московской» русские, украинцы, евреи, армяне, латыши, азербайджанцы, появился Борис Ильич Блинер.

Кем он приходился полуослепшей, полуоглохшей хозяйке дома, шамкающей бабке Шульгиной, имени-отчества которой никто не знал и узнать не пытался, ни мои родители, ни супруги Фира и Анисим Львович не допытывались. Знали: гость освободился. Видели: ходит быстро, заметно шаркающая и мелкими-мелкими шажочками, сутулится, носит бухгалтерские очки, постоянно поддёргивает ниспадающие на впалом животе брюки, по утрам чистит ваксой растоптанные ботинки и тщательно примеряет перед потускневшим зеркалом поношенную шляпу, прикрывая ею заметную лысину. Ещё вроде заметила «Уйсфорф Фира», что у нового постояльца пальцев на руках недостаёт.

Мужчина он и есть мужчина. Какой-никакой. Не в платье, а в штанах – уже хорошо. А то, глянь, подывысь, что творится днями и вечерами, особенно по выходным в нашем Псельске! Идёт по аллее парка уцелевший на войне солдат: слева у него на подпоясанной офицерским ремнём гимнастёрке – медали, справа – ордена, чуб набок зачёсан, в зубах папироска, это уж, как водится, сапоги надраены до блеска... А слева от него под ручку вышагивают четыре девки-невесты, да справа – топают тоже четыре девки-невесты. Он среди них один, в таком цветнике посередине. Девки для виду смеются, а домой придут – в подушку плачут: где взять суженого? Им-то уже не по восемнадцать...

Года не прошло после смерти Сталина, как война догнала хозяйку приземистого дома, где и нам пришлось квартировать, бабушку Шульгину. Стал последним пристанищем Анны Тихоновны Шульгиной скромный погост за Тополянским шляхом, отведённый местными властями под предел усопших. Туда, всего лишь за километр-полтора от окраинной нашей улицы Пролетарской, мимо чахлой берёзовой рощицы, где обильно росла годная для прокорма мясных и пуховых кроликов трава – спорыш, мимо заросшей кийками-камышами, замусоренной протоки, насмешливо именуемой местными остряками Голубой Дунай, мимо трёх безлюдных хаток, пользующихся дурной славой и в войну как постой гитлеровских вояк, и после войны – как пристанище алкашей и наркоманов, мы бесстрашно ходили влюбляться с Женькой, сразу уместившись как можно теснее на облюбованной лавочке, в аккурат у могилки бабушки Ани.

Прелесть! Только ласковое дуновение ветерка, отдалённый пересвист птичек-синичек да всполохи тающих за горизонтом дальних гроз окружали мало кому известное и мало кем ещё из молодёжи облюбованное место свиданий. Пусть они все плывут в Мамаевщину, а нам и здесь хорошо. Любо!

*Посредине лета
высыхают губы.
Отойдём в сторонку,
сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
сядем, моя Любка,
сядем, посмеёмся,
Любка Фейгельман...*

У поэта Ярослава Смелякова любимую девушку звали, значит, Любка? А мою – Женька. Различие, выходит, только в именах. Всё остальное – похоже.

Но каково же было наше удивление, когда однажды, в самый разгар страстных майских поцелуев (а как иначе, если не страстно, могут дарить ласки друг другу ошалевшие от первой любви подростки?), совсем рядом вначале послышалось деликатное покашливание, побряхтывание, а затем среди безмолвных могил, памятников, крестов, надгробий и обелисков явилась миру скромная фигурка квартиранта-очкарика. Того самого дяди Бори Блинера, с недоброй кликухой, уже подаренной ему улицей – Магадан. Чтоб он пропал!

– Знать, не в добрый час повстречал я вас? – поняв всю пикантность ситуации, вполне приличным баритоном пропел известную арию про очи чёрные неожиданный гость.

– Да нет, ничего, дядя Боря, вы подходите, присаживайтесь, – выручила меня, зардевшегося, засмущавшегося, заиндеветавшего в извечной своей, трудно излечимой и с годами стеснительности, зацелованная мною Женька. И по-хозяйски, широким жестом отмерила новоявленному вокалисту достаточный край деревянной скамьи для соседства.

Господи! Если ты и правда есть на свете, не знаю где, то ли на небесах, за хрустальным сводом, как утверждают первые библии, то ли, напротив, в подземных толщах или где золото роют в горах, носишься ли ты с бородатым-кудлатым Нептуном по морям-океанам, пособляя тонущим выбраться из гибельной пучины.. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты где-то всё же есть на свете, коль послал мне и Женьке встречу с Борисом Ильичом (царствие ему небесное, и пусть земля ему будет пухом).

Встреча с таким человеком – это та золотая карета, которая обязательно, но только один раз в жизни пролетает перед каждым на земле живущим, приглашая запрыгнуть в неё и прокатиться. Но запрыгнуть на ходу в её распахнутые створки-дверки и попасть внутрь может далеко не каждый. Мы успели, попали. Прокатились. Куда? В царство ума и мудрости. Конечно, не за одну поездку. Но первая встреча и знакомство состоялись именно тогда, в мае, когда улыбающаяся Женька покручивала на одной ноге мамину босоножку, легко освободившись от второй, с надорванной лялочкой, я бездумно шлёпал ивовым прутиком по чугунному основанию затянутого землёй надгробья купцу первой гильдии некоему Изосиму Чемерису, а Борис Ильич, щёлкнув портсигаром и деликатно осведомившись у юной леди, можно ли закурить, чиркнул спичкой. Протянув и мне, не умеющему и не смеющему отказаться от угощения, то ли папироску, то ли сигаретку. Скорее всего, да, сигаретку.

– Дядь Боря, а что это за инициалы вот тут нацарапаны? – постучала ноготком по крышке табачного хранилища глазастая Женька.

Я и не увидел те буквы, а увидел бы – внимания на них не обратил.

– Эти-то? «А.Б. 19/VI–37»? Это, Женечка, перед судебным процессом в Минске я и друг мой по заключению, Андрюша Белько, обменялись, как зэки говорят, гаманцами. Я ему суворый отдал, он мне – вот этот, латунный. Как ни странно, сохранился... Свидетель дней моих суровых на Колыме, кривое зеркало неволи...

Мы с Женькой затаились, притихли, ожидая продолжения разговора. Исповедального дяди Бориного рассказа про отдельный лагерный пункт в посёлке Спорный, где ему, вчерашнему студенту-первокурснику Минского юридического института довелось провести каторжные десять лет по решению Специальной коллегии Верховного Суда Белорусской социалистиче-

ской республики, обвинителей по статье 72-а (зловещая 58–10 УК РСФСР); семь лет лишения свободы плюс пять – дальнейшее поражение в правах. Три Борису Ильичу потом там же добавили за нанесение тяжёлых побоев двум «сокамерникам». Ясно, за что: стучать на своих не хотел, «кум» решил отомстить, пригласив отпетых подонков для принуждения к мужеложству.

– А я их сразу предупредил: хлопцы, лучше не лезьте, я в боксе работал по мастерам, сунетесь – балдану два раза: раз по голове, второй по крышке гроба.

– Сунулись? – читался наш вопрос в широко распахнутых глазах.

– Ага! Ну и получили своё. Я ж со свободы ещё крепким юношей пришёл, мог кое-кому из штатских соплей навешать. Это потом...

Он курил, замолкал, потом вновь начинал рассказывать про ту страшную inferнальную лагерную жизнь со своими порядками и законами, о которой мы знать ничегошеньки не знали и знать не могли... Но первый и самый главный вопрос был у нас с Женькой один: а за что, за что отправили его на край света, что мог он такого страшного натворить в свои 19 лет, то есть, будучи чуть постарше нас?

– Мне, Женечка, было уже тогда не девятнадцать, а двадцать два годика. И пребывал я в полном доверии к газетной пропаганде и к своим товарищам по общаге, среди которых находился и всегда чуточку гундосый Толик Губа. Нумизмат... Нет, по-другому как-то называется тот, кто этикетки со спичечных коробков собирал, была тогда такая страшная мода. Он на все фабрики просьбы посылал – в Омск, Томск, Красноярск, Брянск... Ему присылали. А кто ж из нас знал, что это уже завербованный стукач, гроши в определённый день получает, иудины сребреники.

Переждав звучные тепловозные гудки, доносившиеся из неподалёку расположенной грузовой станции, и мерный стук колёс, забивающий его повествование, дядя Боря, пытливо взглянув на нас – не сильно ли напуганы? – продолжил свою историю.

– И вот я, молодой идиот, в общежитии, в нашей комнате на пятерых взял да ляпнул где-то услышанный анекдотец про Сталина. Все мои друзья помертвели от ужаса, да и я понял, что сморозил: на дворе-то 36-й год... Поторопился добавить: вот, мол, какая ведётся сейчас проклятая кулацкая агитация. Дружки вздохнули облегчённо, а гундосый Толик свежее донесение куда надо переправил. Есть первый пункт в органах для разоблачения врага народа! А вскоре ещё один «фактический материал» у них добавился...

Родители жили в Гомеле, я учился в Минске, а когда они приезжали меня проведать – мама, отец, сестрёнка, – я им с собой и пачку газет столичных всегда собирал-передавал, читайте, кроссворды решайте, просвещайтесь, в ваш край, небось, «Советская Беларусь» и не доходит... А это забыл я одну газетёнку, приплёлся с ней в общагу, вслух читаю опять же у себя в норе да комментирую перепечатку из гитлеровской прессы о том, что в Минске якобы осталось по двести граммов хлеба на человека, голодуха страшная. А у меня в руках минский белый калач килограммовый, прикупил в гастрономе на всех пацанов, когда мимо шёл.

И говорю со смехом: «Действительно, Гитлер прав: в Минске только по двести граммов хлеба на человека, если здесь на всех нас разделить». Кто хмыкул, кто гыкнул, а гундосый Толик в записную книжечку занёс ещё пару строк... Только Бог троицу любит – так ему, наверное, в органах сказали. Толян не задержался, ещё один на меня фактик копнул.

Я как-то сижу, его этикетки перебираю, разглядываю да и говорю: слышь, Толька, вот у тебя тут картинки Борисовской фабрики имени Киро-

ва, а зажигаются они через одну, по себе знаю. Фабрика не достойна имени Кирова!

Что же вы думаете? Следователь мне на допросе зачитывал его донесение: «Борис Блинер заявил, что Киров не достоин того, чтобы его именем называть фабрику». У меня шары на лоб, кричу, всё было не так, я не так говорил, это брехня. Какой там... Получай за остроумие реальный срок и не ропщи...

– А Толик этот, он...

– Жив. Только погибает от онкологии... Голос совсем пропал, и худой как скелет, да почти ни черта не видит. Я знал его минский адрес, перед тем, как сюда, в Псельск, перебираться, навестил... Как же... Хотел кое о чём порасспросить старого кентяру, но там... Рака с мощами... Жена его слёзы утирает, говорит: спасибо, вы второй, кто мужа навестил на этой неделе. Был аккурат перед вами ещё один ваш сокурсник, Андрюша. Ой, забыла фамилию. Тоже недавно освободелся. Котомочка такая ладненькая у него за плечами, хотя запах от пальто, знаете ли... Видно, что из комиссии. Ой, ну как же его фамилия...

Да ладно, говорю, не утруждайтесь. Я знаю, кто это был. Я с ходу понял, кто.

Пять, десять, может быть, двадцать минут прошло полного молчания, когда слышны только всё те же, что и раньше: птичьи треньканья, пересвист локомотивов да перешёптывание листвы. А воздух весенний кроме привычного медового аромата напоён ещё слабым запахом табачного дыма. Мужского. Терпкого. На удивление, не раздражающего.

Борис Ильич слабыми помахиваниями разгоняет рождённую им же табачную завесу, улыбается свету, небу, свободе. Поворачивается к нам, доброжелательно кивает поочерёдно мне, Женьке...

– Ну, Ромео и Джульетта, что мы всё о грустном да о грустном? Жизнь всё равно хороша! Рассказывайте о себе, какие планы, куда собираетесь после школы путь держать? Вот ты, Ромео, докладывай!

– Да что я, дядя Боря... Дальше строительного техникума моя фантазия не лежит, хотя он нужен мне, как зайцу зонтик. Но вчера вот буквально маман заявила: денег в семье нет, хватит нам с отцом того, что мы Шуру и Алика выучили, а твою школу мы дальше не потянем. Иди в техникум. Там стипендия да и специальность получишь...

– Ну-к, что же, – рассудительно протирает чистеньким носовым платком бухгалтерские свои очки Борис Ильич, – они правы, твои предки. Так ведь вы родителей сейчас называете? Понимаешь, друг мой, я считаю, что каждый мальчишка должен пройти армию и каждый мальчишка должен хотя бы годок поработать на стройке. Он ведь будущий мужчина, глава семьи. А что это за глава, если он ни молоток, ни стамеску в руках не держал, и топор у него из рук падает, и он ни дверь поправить, ни форточку притереть не может. Разве нужен жене такой хозяин, скажи вот ты, Джульетта? Скажи, будешь жить с неумёхой, белоручкой?

Женька пожимает плечами:

– Дядя Боря, да я ещё молодая, я об этом не думала...

– Она не думала... А пора бы задуматься! Вот всё собираюсь зайти к твоей маме, – бегло, но зорко, сверляще, пристально чиркнул чёрными своими очами-маслинами по безмятежному Женькиному лицу наш старший друг и брат, – поговорю о твоём будущем. Ты-то куда нацелилась со своей золотой медалью? Сто процентов – в театральный?

– У-у-у! Да вы пророк, Борис Ильич, – удивлённо привстаёт Евгения. – Вы откуда всё знаете? Мама сказала?

– Да говорю же тебе, что я только собираюсь к Лидии Васильевне зайти познакомиться... «Ма-а-ама», – передразнивает Женькин голосок дядя Боря. – У тебя на лбу написано желание стать актрисой. Только... знаешь, Женечка, насколько актёрский хлеб не сладок? Насколько это тяжёлый, страшно тяжёлый, изнурительный труд. Вот просто постой часа два перед зеркалом, покривляйся, изображая разные состояния души... Или... вот скажи, ты скороговорки знаешь? А без сценической речи актёров ведь не бывает.

– Знаю, конечно... Шла Саша по шоссе и сосала сушку. На дворе трава, на траве дрова... Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали... Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак...

– Детский лепет, барышня... Это и Маруся с нашего двора скажет без запинки... А вот ты такую мне перескажи скороговорочку...

Борис Ильич старательно облизал языком пересохшие губы, прищурился, давая понять, что вспоминает начальные слова или даже всю тираду целиком. И вдохновенно, совершенно по-мальчишески затараторил, как по-писаному, длинный-предлинный текст, который и с тетрадки не сразу можно прочитать так, чтобы ни разу не сбиться.

– *Щеглёнок щупленький, заросший, нещадно щёлкал и пищал, и щёголем, и щукой тощей я тщетно тёщу угощал. Что я наделал? Как клещами вдруг тёщу ущипнул щенок. Та, запищав, меня со щами в кипящий бросила горшок. Я обеспечен, ощевелен, от жажды щеня трепещу. Змея свистящая расщелин, тебе я, тёща, отомщу.*

Мы смеялись так, что и спящие, наверное, проснулись и стали с беспокойством прислушиваться к бессовестным нарушителям их вечного покоя, к нашему совершенно неуместному на смиренном кладбище гоготу.

Вообще Женечка мне стоила многих бессонных ночей и дневной маеты, всё в тех же непрестанных мыслях о ней. Интересно, а что переживала в те дни – если только переживала – она? По воскресеньям радио вело прекрасную передачу «С добрым утром!», где в качестве постоянных участников были два замечательных еврея: укладывающий миллионы радиослушателей навзничь от смеха Аркадий Райкин, эта икона добротного юмора (написанного, как выяснилось годы спустя, ещё одним мудрым евреем – Михаилом Жванецким) и настоящий мужской баритон Иосиф Кобзон с песней Льва Ошанина о девчонке с нашего двора. Иосиф Давыдович выводил задушевные рулады о том, как Она, с виду совершенно неприметная («Я гляжу ей вслед – ничего в ней нет, а я всё гляжу, глаз не отвожу»), идёт, цокая каблучками, а я был уверен, что это песня о ней, моей любимой Женьке. Кудлатой барышне, с глазами-сливами, вишнёвыми губками и малоприметной родинкой на левой щёчке, дорогой моей девочке, с которой мы пойдём, какое там пойдём – убежим вприпрыжку, взявшись за руки – сегодня, ближе к вечеру, завтра и всегда, всегда, всегда, туда, за Тополянский шлях, на своё потайное, заветное местечко, где будем вначале болтать о пустяках, а потом внезапно припадём друг к другу, не в силах оторваться... Но посмей я только, даже в самом предельном изнеможении, позволить себе нечто лишнее, прорываясь руками, губами, дрожащими пальцами сквозь барьеры дозволенного – как любовь моя охлаждает весь пыл несколькими словами: «Ты что,

хочешь мне ребёночка заделать? Сам в армию уйдёшь, а кто Артюшу воспитывать будет?» (Это мы с Женькой как-то, посмеиваясь и подтрунивая друг над другом, договорились, что, когда поженимся, будет у нас трое детей, и первым – сын Артём, Артюша.)

– Ух, ты, вечная мерзлота! – укутывая в первые же признаки вечерней прохлады Женьку своим пиджачком, пытался я заодно прихватить как можно крепче и как можно ближе прижать к себе твёрдые камешки её довольно выпуклого уже в ту пору бюста. Чему Евгения нисколько не противилась. Это было можно, это ею безмолвно дозволялось.

– Люди влюбляются, люди встречаются, женятся, а моя Женя – нет-нет, потом, потом, только после армии, да? А за это время у Жени кто-нибудь появится? Тогда что? Тогда как?

– Да никак! – хитро шурилась Женька. – Во-первых, никто не появится, плохо вы, сударь, любящих женщин знаете. Это у равнодушных девушек в сердце вечная мерзлота, а у любящих, знаешь, какой пламень? Вечный огонь, вот! Во-вторых, за три года сколько воды утечёт, и я ещё не знаю, насколько ты, милый друг, будешь мне верен? Вдруг сам встретишь там, в увольнении, какую-нибудь Машу-Дашу, будешь ей на свою горькую солдатскую долю жаловаться и просить, чтобы красotka тебя приголубила. А глазёнки-то у тебя, зелёные, кошачьи, это самое, ледовитые (она сказала словцо покрепче), и что я тогда буду делать, соломенная вдова? В-третьих...

Женька замолчала. А я сидел, ждал продолжения, теряясь в догадках, что же оно такое будет «в-третьих»?

Ничего я не понял. Знал только то, что Женька к своим восемнадцати годам перечитала из маминой – Лидии Васильевны – библиотеки всего, наверное, Мопассана, Флобера и что-то из Бальзака. А я – по шесть раз – всего Гайдара, трижды – приключенческую «Зори падают в серпни» («Звёзды падают в августе») – не помню, какого автора, и «Алитет уходит в горы» Тихона Сёмушкина – раз двадцать. В этом между нею и мной была большая, огромная даже разница. Как между классицизмом и неореализмом. Или ампиrom? Или барокко? Ну, в общем, где-то так.

Как часто бывает в тёплую пору года, вдруг внезапно, непредсказуемо, откуда ни возьмись, налетают ветер и гроза, ветер улетает, дождик утихает, и опять синеют небеса. Но домой-то пора, как бы ни было интересно слушать Бориса Ильича, с ходу, без напряжения, влившегося в нашу с Женькой дружбу.

Мы топали по раскисшим тропкам погоста, зная назубок, где нужно обойти загородки семейных погребений, где проскользнуть меж похилившимися от старости крестами ветхих надгробий, где ускорить шаг, минуя совсем свежие холмики – пока без памятников. Теперь уже не вспомнить – то ли земля принимала тогда наших пацанов, доставленных известным «грузом двести» из Афганистана, то ли земляков, головы сложивших в первую ли чеченскую, во вторую ли чеченскую далеко от родного края...

Шли молча и лишь на выходе из кладбища, отряхиваясь, приводя себя в порядок, Борис Ильич, весело тряхнув головой, предложил: «Ну что, умники и умницы, играем в города?» И понеслось:

– Москва.

– Анапа.

– Андижан.

– Алушта!

– Какая Алушта? Тебе теперь на «н» надо... Дядя Боря, не подсказывать!

Правда, за такой игрой ни времени, ни дороги не замечаешь, одно удовольствие – мозги чуток напрягать и не последним дебилом себя чувствовать. Приключение случилось, когда мы поравнялись с теми тремя безлюдными вроде бы хатками, под шевченковскими соломенными крышами, где если кто и обитал, судя по разговорам досужих кумушек, то всякая нечистая гопота, псельское дно, отбросы общества.

Оторвавшись от плетня, пьяно покачиваясь, на дружную нашу троицу и пошли два рослых амбала, подсвистываемые оставшимся на КП третьим – я узнал его, мерзкого типа по уличной кличке Свиня. Именно так: не свинья, а Свиня – преследователь всех мелких школьников и взрослых девиц, шарахавшихся от него при каждой встрече, как от наваждения. А кто захочет строить отношения с уголовником, отбывавшим сроки за грабёж и изнасилования?

– Слышь, дрибузня, а ну стой! Стой, кому говорят! – рывкал, сипло отрываясь, белобрый ураган, чистый альбинос с белёсыми ресницами и часто помаргивающими, правда поросячьими, узко прорезанными глазёнками.

– Стоять, тля, кому сказано! – вторил альбиносу полная ему противоположность – такой же громоздкий, но черноволосый увалень, в полинявшей тельняшке, с выпирающими, будто шары гантелей, мускулами.

Я дрогнул. Что было делать? Куда драпать? И далеко ли убежишь при съёжившейся, ко мне прижавшейся Женьке и при маленьком, скрюченном в три погибели дяде Боре с его искалеченными пальцами на обеих руках? Что хотят от нас эти выродки? Спазмы душили горло, обволакивали, как скотчем, не давая и слова вымолвить... Чем утешались, конечно же, оба нападающих. Но я ушам своим не поверил, услышав вдруг совершенно спокойный, без надрыва – какой-то новый, стальной, скрипучий, неузнаваемый голос Бориса Ильича:

– Вы чё, обеднели, бакланы? Курнуть нечего? Ну-ка, ты, кличь сюда балабоса, базарить малость будем...

Остолбенели не только мы с Женькой. Остолбенели от чистопородной лагерной фени и те два «баклана», с изумлением переглядывавшихся между собой. Шли они за поживой на робких кроликов, на мирных карасей, готовых облажаться и запросить пощады при первом же к ним приближении, а напоролись – ты гляди, на кого? И что он там в кармане держит, чем пощёлкивает этот «телигент» очкастый? Хрен его знает, может, у него волына в кармане. Браунинг? Перешмалает, как пить дать...

Мы с Женькой, знающие из блатного мира лишь семь блатных аккордов на гитаре, выученных у костра в пионерском лагере «Ленинская искра», ошалели от водопада никогда не слышанной прежде лексики, чуя за ней, грозной, не обещающей ничего хорошего «балабосу» и его приспешникам, наше спасение, избавление от напасти, от беды, от грозящей расправы.

Свиня, ни слова не говоря, въехал локтем в сопатку блондину, рубанул, не достав сопатки, в плечо отклонившегося от его удара «матроса». И зашипел, как гюрза, на своих приспешников, вытянувшихся пред атаманом в струнку:

– Борзота швиная, гопники зачуханные, вы чё, Магадана не узнали?

И, повернувшись к Магадану, вмиг выросшему в наших глазах до высоты Эльбруса, Свиня, от страха перестав косить глазами, забормотал свои извинения, приглашая на хату замять скандал, выпить да закусить.

– Не-не. Бог навстречу! В другой раз, – милостиво отпустил грехи налёточикам дядя Боря, щёлкнув напоследок курком браунинга, тем самым давая понять, что снимает боевой ход, обращая пистолет в холостое положение.

Уже во дворе старого нашего сруба, именуемого домом на Пролетарке, мы попадали с Женькой в истерическом смехе на траву, увидев дяди Борин грозный «пистолет»: знакомый нам латунный портсигар с теми же знакомыми инициалами «А.Б.» и с «курком»-защёлочкой.

– А что там главный их кричал про какую-то байку, кружева? – вспоминала недавнюю сцену Женька.

– «Байки кружевные», – поправил её дядя Боря, покрутив перед нами блистающий никелем и хромом старинный хронометр на цепочке. – Это на сленге уличная шпана так часы серебряные называет. Видишь, зрение этим уркам дано хорошее, они, как коршуны, и кинулись издалека на цель. Но и мы – не промах, снайперы! – вызвав новый взрыв смеха, приобнял за плечи меня и Женьку наш старший друг и брат.

Классный был тогда преподан мне урок – один и на всю жизнь. Матёрый мужской урок по теме: «Не верь, не бойся, не проси»... На свете давно уже нет Бориса Ильича, а я всё помню, вплоть до цвета нашей одежды, кепок и обуви, словно стычка происходила не сто лет назад, а вчера, на пустынной Полюнковской улице, в устье Тополянского шляха. Спасибо тебе, Магадан!

Когда Лидия Васильевна стала женой Бориса Ильича, а Женька охотно поменяла девичью свою фамилию Закутайло на более звучную, этакую артистичную – Блинер, они уговорили главу семейства записать свои воспоминания о страшной лагерной поре и передать их в городской музей. Поддерживал дамский напор известный нам адвокат дядя Шура Босенко.

– Послушайте, Борис Ильич, – вкрадчиво льстил Магадану опытный старорежимный стряпчий, – я, знаете ли, писатель никакой, но читатель – каких поискать! Хлынул сейчас водопад эковских спогад (воспоминаний) – в «Огонёк», «Новый мир», «Октябрь», в газеты, в книги. И шо? – приглаживал три волоска на лысине дядя Шура. – А то, шо брехни там вагон и маленькая тележка. Тот от рака сам излечился в лагере, тот начальству лагерному рот на построении затыкал, тот вообще ходил по зоне гоголем... А у вас – правда. Я читал черновики – кровь стынет. Надо всю эту историю лихолетья – достоверную, красноречивую – доводить до молодёжи, а то она скоро начнёт думать, что пионерский лагерь и лагерь исправительно-трудовой, как он тогда назывался, – одно и то же. С подъёмом флага, вожатыми и песнями «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы – пионеры, дети рабочих...»

Лидия Васильевна притащила с работы печатную машинку и вечерами долбила на ней всеми пальцами сама, а по воскресеньям, когда супруги долго-долго не выползали на свет божий из будуара (о ненасытности и понятной неукротимости Магадана с некоторой долей зависти везде шептались жёны и вдовы улицы Пролетарской), одним пальчиком по клавишам «Эрики» осторожно тюкала Женька. Читать черновики нам с ней разрешалось.

«Был обыкновенный рабочий день. Адрес: УСВИТА (Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей) НКВД СССР. Юглаг ЮГПУ

(Южное Горнопромышленное управление), прииск Горная Ларюковская, впоследствии прииск «Горный», 386-й километр Колымского шоссе.

Режим: в пять часов подъём, в шесть – развод, с двенадцати до часу дня – обед, в семь вечера – ужин, не выполняющих норму – назад, в забой до десяти-одиннадцати вечера. Температура – минус 40–45 градусов (в те дни).

Руки уже промороженные, с синими раздутыми пальцами. Везём по отвалу короб – 700 кг пустой руды, «торфа», часов в семь вечера вдруг вдоль распадка синий прожекторный луч – стала хорошо видна дорожка, можно объезжать или отбрасывать камешки. Луч погулял и исчез, следом за ним – красный луч, яркий, затем один за другим синий и красный. Это – северное сияние, первое увиденное мною. Потом видел их много разных, такого – больше ни разу.

23 января. Я – в конном забое, правлю отвал, не успеваю – руки-то уже непослушные, мат, крик, зато 8-часовой рабочий день – лошадям больше работать нельзя.

24 января. Снова в своей бригаде. После обеда снял рукавицу, гляжу – на левой руке ногти на среднем и безымянном пальцах отстают (руки потеют, рукавицы ватные, из старых телогреек, пальцы мёрзнут всё время, перестали мёрзнуть – значит, замёрзли, потеряли чувствительность, а я этого не знал, не мёрзнут – ну и хорошо).

Пошёл в лагерь, в медпункт. На вахте опрос: Ф.И.О., год рождения, статья, срок, номер барака.

Пришёл в медпункт. Ираида Павловна велела перевязать, сказала: «Ноготки-то мы снимем» (они уже сами отваливались). Оттуда – в барак, в тепло, на нары – спать. Только задремал – бежит дневальный: «Иди на вахту» – а там зачитали: «За самовольный уход из забоя заключить в штрафной изолятор с выходом на работу сроком на пять суток». И пошёл я «на лечение» в «крикушник» (карцер). Первую ночь спал на нарах. Тесно, но не смертельно, холодно, трёмся друг о друга.

25 января. Утром, натошак, под конвоем в забой. Ни кайла, ни лопаты в руках не удержать, весь день мотался по забою: подметал дорожку для короба, помогал поднимать короб, не давал замёрзнуть другим (как сядешь – угреешься и начинаешь засыпать и незаметно для себя замёрзнешь – имел личный опыт в пешем походе от Магадана до прииска).

Спал в бараке – конвоирам сказали, что я работал. За день ни один человек не замёрз – я топтался по забою, расталкивал замерзающих, ведь принцип такой: конвоир может застрелить («попытка к бегству»), это его право, а если кто-либо замёрзнет, значит, конвоир недоглядел.

26 января. Работать не мог, топтался по забою, остановиться нельзя: бушлат и телогрейка на одну пуговицу только застёгнуты, штаны на проволочке, чуть только остановишься – мороз лезет вкруговую. Пальцы как чужие, пуговиц не чувствуют. Сукровица в пузырьках на пальцах замерзает, боль дикая, слёзы на щеках застывают. К вечеру не то шесть, не то восемь человек замёрзли. Если б не мотался – был бы я с ними. Мороз за 45 градусов – дыхание с шуршанием, и синий дымок изо рта, как от махорки, но, слава Богу, без ветра. Помогал укладывать замерзающих на сани и затаскивать их в медпункт.

Запомнил: маленький, изящный архитектор Жерве из Ленинграда, в забое острил украинец Гриценко (или Грищенко), тоже небольшого роста. У этого, когда начинал отгаивать у печки на полу, хлынула чёрная кровь из носа. Увидев, что я греюсь у печки, санитар (блатной) «любезно» проводил меня до «кондея» (то же, что и «крикушник» – карцер). Эту ночь спал сидя с края нар – все лежачие места были заняты. Левая нога на весу, правой

опираюсь на земляной пол. К утру нога примёрзла, спустя дней четыре-пять большой палец ноги стал мокнуть...

Борис Ильич свои воспоминания писал ночью, а утром листок, выправленный руками Лидии Васильевны, ложился к машинке, на край стола. 8 марта 1993 года утром наш дом разбудил пронзительный вопль Жени: «Папа (она впервые назвала его папой) умер...»

Перед похоронами мы втроём разбирали скудный архив Бориса Ильича. Его портрет, нарисованный художником-заключённым для помещения на Доску почёта передовиков трудового соревнования отдельного лагерного пункта центральных авторемонтных мастерских селения Спорный. Карандашный рисунок на тонком листке размером 25,7 сантиметра на 19,3 сантиметра. С левой стороны портрета надпись: «Бригадир Блинер, выработка 157 процентов», на обороте: «Лето 1943 г. Спорный. ОЛПЦАРМ п/я 261/48». Книга Твардовского «Василий Тёркин», изданная в Магадане в 1943 году со штампом на титульной странице и надписью: «Библиотека пос Спорный». Три «паспортные» фотокарточки с уголком каждая. Ещё одна – лагерная, где он без головного убора, коротко остриженный, в телогрейке, в очках... Справка Белорусской прокуратуры от марта 1963 года, где скудным юридическим языком начертано, что дело Блинера Бориса Ильича прекращено, и решением Верховного Суда БССР он реабилитирован. Тетрадка-черновик, озаглавленная: «Даты. Встречи». И вырезка из газеты «Известия» № 278 от 26 декабря 1992 года.

Заплаканная Женька прочитала её, потом передала мне. «Забери. На память»:

«КНЯЗЬ СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ ПОГИБ ПОД ВЛАДИВОСТОКОМ

Уважаемые известицы!

В вашем № 211 от 23.9.92 г. прочёл статью А. Кривопалова о дочери Гучкова «Кто она, Вера Трейл-Гучкова»? В ней немалое место занимает имя князя Святополка-Мирского. В тексте статьи есть слова «Гучкова считала, что погиб он... то ли в Сибири, то ли под Алма-Атой».

Посылаю вам отрывок из моих воспоминаний, написанных в 1991 году. Первая (и единственная) встреча с князем состоялась у меня в пересыльном лагере «Вторая речка» в нескольких километрах от Владивостока.

«В те же дни между бараками расхаживал целыми днями высокий, тощий мужчина – чёрный, крючконосый, в очках. Одет в длинное пальто, жёлтое, в крупную чёрную клетку. Одежда явно не наша. Оказалось, князь Святополк-Мирский. Преподавал в Англии русскую литературу, уговорили его вернуться, а после того, как привёз в Союз свою библиотеку, его самого привезли на «Вторую речку». Раз в неделю он в своём бараке читал лекции по истории русской литературы. Я слушал о Пушкине. Это – ноябрь 1937 года.

О нём же – февраль 1937 года. Я на 317-м километре Колымского шоссе. Обход «Голандина». Я на штрафном пайке. Помогаю Борье-нова-

ру напилить дров, натаскать с Оротукана (речка) несколько мешков льда. Мне за это пайка хлеба 200 г. и миска баланды (сверх 6-й категории). Пилим дрова, а он мне: «Вот ты в очках и вообще интеллигент, а пилишь здорово, хотя и пальцев нет, а вот на Мяките (285-й километр, центр Транслага) со мной один «троцкий» (т.е. 58-я статья) пилил, так он толком за пилу не знал, как взяться. «Я, — говорит, — пилу эту в руках не держал». Я ему: «А фамилию помнишь?». Он: «Мирский». Я: «Высокий, чёрный, нос крючком?» — «Точно он, в очках. Его на лёгкую работу прислали в столовой помогать». — «Он князь Святополк-Мирский. Где он теперь?» О себе. Блинер Борис Ильич, 1914 года рождения. «Забрали» в ноябре 1936 года, привезли на Колыму в ноябре 1937-го, выпустили «на материк» в ноябре 1947 года Б.И. Блинер. Сумы. (В повести это город Песельск — по названию реки Псёл. — Авт.).

Вот и вся история. Воспоминания заняли несколько минут. Пересказ другу моему, Диме, — каких-то полчаса. Описание — не один десяток страниц. Только главное не в этом. Главное в другом: моя встреча с Женей Блинер в курортном городе Ставропольского края состоялась или нет?

А пусть решает друг мой — читатель. Мало ли, что автор — «продумАн», как говорила Катя. А вы сами что думаете? Как решите — так и будет.



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ЭПОХА БЕТХОВЕНА

К 250-летию со дня рождения

Время Бетховена – это в основном завершающий этап эпохи Просвещения что хронологически можно обозначить как *рубеж XIX века*. Это время, когда то, что касается музыкального искусства, почти «монополюсно» сконцентрировало в себе творчество великого композитора.

В общеисторическом плане облик этой грандиозной эпохи определили два крупнейших события – Великая французская революция и наполеоновские войны.

Первое из этих событий имеет все основания именоваться с большой буквы, как **Великая французская революция**, поскольку она оказала колоссальное влияние на весь европейский миропорядок. Но не будем забывать, что этому предшествовала своеобразная и весьма существенная «артподготовка», задолго до того грохотавшая за океаном.

Имеется в виду Война за независимость в Северной Америке (1775–1783), которая стала первой буржуазной революцией на далёком континенте. Здесь в 1776 году было образовано новое государство – Соединённые Штаты Америки, и тогда же провозглашена Декларация независимости, в 1787-м утверждена Конституция, а в 1791-м под давлением народных масс вступили в силу принятые ещё в 1789 году поправки к ней, провозглашавшие основные демократические свободы.

Из Франции с неослабевающим вниманием и нарастающим сочувствием следили за происходящим в североамериканских штатах, и основополагающие положения названных выше документов перешли впоследствии в программные тексты Француз-

-
- Александр Иванович Демченко – доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик) Российской и Европейской академий естествознания, заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и почётного звания «Основатель научной школы», главный редактор журнала «Манускрипт» и член редакционной коллегии ряда российских и зарубежных журналов, лауреат премии имени Д. Д. Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха, почётный гражданин города Саратова.

ской революции (обращает на себя внимание и совпадение ряда отдельных дат).

Можно напомнить, что в Париже началом народного восстания против королевской власти явился штурм Бастилии в 1789 году. Тогда же была принята Декларация прав человека и гражданина, провозгласившая свободу личности, свободу совести, слова и печати, равенство граждан перед законом, право на сопротивление угнетению и объявившая неприкосновенной частную собственность.

Результатом следующего восстания (1792 год) стало ниспровержение монархии и учреждение республиканской формы правления. В 1793-м был казнён король Людовик XVI, и новое восстание привело к установлению леворадикальной якобинской диктатуры (вожди якобинцев – М. Робеспьер, Ж. Марат, Ж. Дантон, Л. Сен-Жюст). В 1794-м эта диктатура была низвергнута, а государственный переворот, произошедший в 1799 году, знаменовал окончание революции.

В сравнении с предыдущими буржуазными революциями (Нидерланды, Англия, Северная Америка) именно Великая французская приобрела всемирно-историческое значение и стала знаменем борьбы против феодально-абсолютистских порядков для целого ряда других стран. И именно тогда были сформулированы идеи демократического мироустройства, во многом актуальные до сих пор.

Незримой параллелью к происходившему во Франции явилось возникшее в России тех лет либерально-демократическое течение. Наиболее отчётливо оно было представлено в антикрепостнической публицистике Николая Новикова (в 1792 году по приказу Екатерины II заключён в Шлиссельбургскую крепость), в сатирических комедиях Дениса Фонвизина и в раннем творчестве Ивана Крылова, который, прежде чем обратиться к басенному жанру, дал образцы открытого критицизма в памфлетах начала 1790-х годов. Кульминацией российского либерализма стало, как известно, сделанное Александром Радищевым, и его обличительный пафос наиболее полное выражение получил в знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву» – написана в 1800-м, и в том же году её автор был сослан в Сибирь. Таковы те далёкие ростки, которые вылились впоследствии в восстание декабристов.

Другим грандиозным историческим событием рубежа XIX столетия явились **наполеоновские войны**. Приходится признать: в сущности, впервые это была самая настоящая *мировая война*. И хотя она практически ограничилась масштабами Европы (не считая военных действий Франции на Ближнем Востоке), следует учитывать тот факт, что в те времена представления о мировом сообществе сводились собственно к европейскому континенту, и на всём континенте развернулись национально-освободительные движения против наполеоновского нашествия.

Преддверием наполеоновских войн стали начиная с 1805 года оборонительные меры, предпринятые в ответ на интервенцию ряда европейских монархий (Австрия, Пруссия, Великобритания, Нидерланды, Испания и др.) против революционной Франции. Собственно французские завоевания начались с Итальянской кампании 1796–1797 годов и Египетской экспедиции 1798–1801.

С 1800-го в результате блистательных побед французского оружия произошло огромное территориальное расширение империи, фактически включавшей, кроме Великобритании, всю Западную и Центральную Европу. Одной из важных причин успеха в этих войнах было то, что в завоёванных странах активно вводились прогрессивные по своей сути новые буржуазные отношения.

Однако со временем наполеоновские войны всё более превращались в чисто захватнические. Впервые это обнаружилось в 1808 году в Испании, народ которой поднялся против завоевателей. И с катастрофическими последствиями для Французской империи это подтвердилось в походе 1812 года на Россию, который сам Наполеон признал позднее своей фатальной ошибкой.

Далёким прогнозом этой выдающейся победы русского оружия был Итальянский поход А. Суворова 1799 года, которому сопутствовали успехи русского флота в Средиземноморском походе Ф. Ушакова. Уже тогда действия русской армии привели к освобождению Италии от французского господства (в 1800-м она была вновь завоёвана Наполеоном).

Возвращаясь к Отечественной войне 1812 года, мы подчеркнём, что именно она явилась кульминацией европейской военной эпопеи рубежа XIX века и впервые обозначила полномасштабный выход России в ранг великой державы. После окончательного разгрома захватчиков при Березинё боевые действия были перенесены за пределы России.

Русская армия составила основное ядро, вокруг которого группировались войска других участников антинаполеоновской коалиции. Заграничные походы русской армии 1813–1814 годов завершились взятием Парижа и падением империи Наполеона I, в результате чего народы Европы были освобождены от чужестранного владычества.

При всём том приходится признать, что именно на рубеже XIX столетия французская нация, пройдя полосу революции 1789–1799 годов и наполеоновских войн 1796–1814 (с «постлюдией» Ста дней и битвы при Ватерлоо в 1815-м), пережила «звёздный час» своей социально-политической истории. И именно в социально-политической сфере Франция выдвинула одну из четырёх ключевых фигур истории этого времени.

Разумеется, это **Наполеон I** (Наполеон Бонапарт, 1769–1821) – полководец и государственный деятель, император Франции в 1804–1814 и в марте-июне 1815 года. Он выдвинулся в период революции – двадцати пяти лет достиг чина бригадного генерала, став затем командующим армией. В 1799-м совершил государственный переворот и вскоре сосредоточил в своих руках всю полноту власти. После вступления в 1814 году войск антифранцузской коалиции в Париж отрёкся от престола и был сослан на остров Эльба. Вновь стал императором в 1815-м (так называемые *Сто дней*) и после поражения при Ватерлоо вторично отрёкся от престола. Последние годы жизни провёл пленником на острове Св. Елены.

Как выдающийся полководец, Наполеон I, опираясь на возникшие в первые годы революции плодотворные начинания в военном деле и предоставленные обновлённой страной возможности, сумел создать «Великую армию» с её колоссальными для того времени вооружёнными массами и максимальной технической оснащённостью, всемерно добиваясь её высокой боевой подготовленности и всемерной дисциплины. Его успехи лидера нации в немалой степени базировались на редкой способности находить и выдвигать талантливых людей, в том числе из низших слоёв общества, и на умело построенной системе поощрения.

Он до совершенства довёл мастерство стратегии и манёвренной тактики. Нередко сражаясь против численно превосходящего противника, Наполеон стремился к разъединению его сил и к уничтожению их по частям, созда-

вал превосходство сил своей армии на решающих направлениях, всегда стремился благодаря скорости движений овладеть инициативой. Примечательно высказывание У. Черчилля – представителя страны, с которой у этого полководца были непрерывные распри: *«Я не выношу, когда сравнивают Наполеона с Гитлером. Я бы оскорбил память о великом императоре и воине, сравнив его с мелким партийным функционером и мясником»*.

Воспитанный на передовых идеях Просвещения, Наполеон с энтузиазмом воспринял Французскую революцию и, установив впоследствии личную диктатуру, несомненно способствовал утверждению и развитию основополагающих завоеваний нового буржуазного миропорядка. Экономическая политика Наполеона была направлена на развитие торговли и особенно промышленности, в которой он видел важнейшее средство укрепления мощи государства. При его личном участии был составлен действующий до настоящего времени Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс Наполеона), определяющий правовые нормы буржуазного общества.

Как государственный деятель, Наполеон I стремился к утверждению аналогичных принципов и на завоёванных территориях, проводя на них прогрессивные реформы, что на фоне рутины феодально-абсолютистских режимов зачастую обеспечивало ему поддержку больших масс населения Европы. Ещё раз сошлёмся на У. Черчилля, который считал, что именно благодаря Наполеону Европа восприняла идеи Французской революции.

Блистательные победы *«гения войны»* и его превращение в повелителя Европы, достигшего за десять лет беспрецедентного могущества, создавали почву для возникновения всякого рода легенд. Человек огромной одарённости, исключительной работоспособности, сильного ума и непреклонной воли, он в пору своего высшего взлёта являлся олицетворением могучего потенциала восходящего класса буржуазии.

Помимо Наполеона, другими ключевыми фигурами эпохи рубежа XIX столетия должны быть признаны представляющие Германию Гегель (философия), Гёте (литературное творчество) и Бетховен (музыкальное искусство).

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) – философ. Всю жизнь преподавал, являясь последние пятнадцать лет профессором философии в университетах Гейдельберга и Берлина. Основные труды: *«Феноменология духа»* (1807), *«Наука логики»* (1812–1815), *«Энциклопедия философских наук»* (1817), а также лекции по философии истории, эстетике, философии религии.

Наследуя традиции Г. Лессинга, И. Гердера, И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Гегель завершил становление немецкой классической философии с характерным для неё углублённым анализом духовной жизни и стремлением к построению завершённой научной системы. Его мировоззрение складывалось под влиянием идей и событий Великой французской революции и отразило основные противоречия буржуазного прогресса, подводя определённые итоги и в том отношении, что вся немецкая классическая философия являлась своеобразным теоретическим осмыслением этой революции.

На основе объективного идеализма Гегель создал систематическую теорию диалектики, которую рассматривал как путь к отысканию истины и как подлинно адекватный философский метод. Её центральное понятие – *развитие* как характеристика деятельности абсолюта, который в качестве мирово-

го духа дифференцируется на «субъективный дух» (существование индивида), «объективный дух» (право, мораль и нравственность, подразумевающая семью, гражданское общество, государство) и «абсолютный дух» (искусство, религия и философия как формы самосознания духа). Примечательно, что «доверенными лицами» мирового духа Гегель считал великих людей, воплощающих смысл эпохи – в их числе он называл Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона.

С феноменом абсолюта связаны понятия «абсолютной идеи» и «абсолютного знания». Первое, по его словам, *«это совокупность категорий, которые являются условием формирования мира и человеческой истории»*, то есть то, что охватывает всё мироздание и все аспекты человеческой жизни. Второе – совокупность всех знаний, накопленных человечеством (наука, нравственность, религия, искусство, политико-правовые системы), что в конечном итоге устремлено к осмыслению тех форм и законов, которые управляют всем процессом духовного развития.

Путь этого развития представляет собой постепенное выявление творческой силы «мирового разума». В данном ряду закономерно сменяющих друг друга ступеней развития современную себе эпоху философ рассматривал как время перехода к той формации, в которой явственно проступали черты буржуазного общества с его правовыми и нравственными принципами.

Центральное место в диалектике Гегеля занимает учение о *противоречии* как внутреннем источнике и необходимом условии развития. Противоречие описывается в виде триады: тезис (исходный момент), антитезис (переход в противоположность, отрицание), синтез противоположностей в новом единстве (отрицание отрицания и тем самым снятие противоречия).

Таким образом, категорию противоречия недостаточно понимать в виде антиномии – это единство взаимоисключающих и в то же время взаимопредполагающих друг друга противоположностей. Формулируя вытекающий отсюда закон единства и борьбы противоположностей, философ всюду находил напряжённую диалектику, процесс постоянного отрицания каждого достигнутого состояния следующим вызревающим в его недрах состоянием.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1842) – основоположник немецкой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель. В 1770 году стал участником движения «Буря и натиска» и два десятилетия спустя, при достаточной сдержанности отношения к Великой французской революции, после одного из её успехов прозорливо заметил: *«С этого дня начинается новая эпоха всемирной истории»*.

Как мыслитель Гёте восходил к созвучным Гегелю прозрениям относительно теории развития и принципов диалектики, рассматриваемой преимущественно в антиномиях добра и зла, созидания и разрушения.

Если трое других из великих личностей рубежа XIX века оказались, в сущности, ровесниками (Наполеон родился в 1769 году, Гегель и Бетховен в 1770-м), то Гёте был старше их на два десятилетия. И если судьбоносный для себя период они пережили в основном в 1790–1800-е годы, то он опередил их, пройдя нечто аналогичное в 1770–1780-е.

На данном раннем этапе творчества он был не только связан с литературным движением «Буря и натиск», но и стал его несомненным лидером. А движение это отличалось той настроенностью, которая по многим своим признакам предвосхищала дух, идеи и чувства, характерные для времени Великой французской революции.

Стремление возвеличить человека, подвигнуть его на служение высоким целям, неприятие закосневшего уклада жизни и максимализм социально-

нравственных позиций определили характерный для той поры пафос гордой независимости духа и бунтарских умонастроений. И произведения Гёте особенно ярко выразили суть этого движения.

Наиболее притягательной для штюрмеров являлась драма, и он первым дал её типичный образец в трагедии «Гёц фон Берлихинген» (1771). Излюбленным жанром эпохи Просвещения был эпистолярный жанр, и его лучшим примером стал роман «Страдания юного Вертера» (1774).

Помимо множества стихотворений, среди других примечательных произведений той поры – драмы «Клавиго» (1774), «Стелла» (1775), «Эгмонт» (1775–1787). В них со всей очевидностью заявили о себе энтузиазм молодой поры жизни, эмоциональная напряжённость, бурное кипение открытых чувств, их свежесть и непосредственность со свойственной всему этому раскрепощённостью художественного выражения, что отражало радикализм жизненных позиций.

Кстати сказать, французский перевод «Вертера» стал настольной книгой семнадцатилетнего Наполеона. Как он утверждал позже, этот роман был прочитан им семь раз. И когда, завоевав Германию, император Франции оказался в местах, где жил Гёте, его настоятельным желанием было повидать высокочтимого автора, что и произошло. Так что надо ли говорить, какое воздействие оказал на него этот «бестселлер» конца XVIII века.

Переходя к последнему из великих представителей времени рубежа XIX века, каким является **Людвиг ван Бетховен** (1770–1827), начнём с сопоставлений по степени духовного родства.

Наполеон и Бетховен. Обоих отличали могучая харизма, исключительная масштабность начинаний, титанизм натуры, отданность стихии жизненной борьбы с её захватывающим темпераментом и героическим накалом.

Примечательна в данном отношении битва с постигшей его глухотой. Казалось бы, большого удара музыканту злосчастный рок нанести не мог. Но композитор продолжал создавать шедевр за шедевром. Лозунгом его жизни стало, по знаменитым словам, стремление «схватить судьбу за глотку», и это ему удалось.

Бетховен был истинным стратегом музыкального действия и властителем дум и душ. К примеру, те, кому довелось быть свидетелем его импровизаций на фортепиано, оказывались в состоянии транса, настолько неотразимо покоряющей силой отличалась его фантазия. Как Наполеон безраздельно господствовал в политическом мире 1800-х годов, так и Бетховен тех лет властвовал в мире музыки (и, пожалуй, в искусстве в целом), став в некотором роде некоронованным «императором искусств».

До поры до времени Бетховен испытывал восхищение перед деяниями Наполеона и его исходным республиканизмом. Третью симфонию, это своё первое подлинно грандиозное творение со столь симптоматичным заголовком «*Eroica*» он посвятил великому полководцу, но, когда узнал, что тот узурпировал власть и объявил себя императором, в бешенстве разорвал страницу рукописи с посвящением, бросив негодующую реплику: «*И этот – чело-век!*», вложив в неё всё своё презрение к слабостям людского тщеславия и самовозвеличения.

Гегель и Бетховен. Диалектический принцип единства и борьбы противоположностей (тезис – антитезис – синтез), который в искусстве музыкальной композиции уже активно разрабатывали его непосредственные предше-

ственники, Бетховен довёл до высшего совершенства, а фактор развития стал «абсолютом» его художественного мира.

В анналы истории искусств он вошёл как величайший художник-мыслитель с характерной для него неукоснительной логикой архитектурных построений и погружением в глубины интеллектуальной жизни человеческого духа. Но, в отличие от умозрительных абстракций Гегеля, рефлексии в музыке Бетховена всегда пронизаны пульсацией живого человеческого чувства.

Гёте и Бетховен. Оба титана немецкого искусства по многим линиям обнаруживали близость творческих устремлений, питали друг к другу глубокое взаимное уважение, внутренне сознавая себя вершителями национальной художественной культуры.

Композитор неоднократно обращался к произведениям поэта, создав несколько шедевров на его тексты. Об отношении Гёте к Бетховену красноречиво свидетельствует следующий факт: автор трагедии «Эгмонт» категорически настаивал на том, чтобы её постановки осуществлялись только с написанной к ней музыкой Бетховена.

Главное отличие двух великих современников состояло, пожалуй, в их жизненной позиции: компромиссность поведения первого и подчёркнутое чувство собственного достоинства, демонстративная независимость второго. Показателен известный эпизод их совместной прогулки, когда они встретили австрийского императора в окружении свиты: Гёте остановился, пребывая в глубоком поклоне, а Бетховен прошёл сквозь толпу придворных с гордо поднятой головой, едва прикоснувшись к шляпе.

Об этом случае, происшедшем в 1812 году, подробно рассказано в одном из писем Бетховена к Беттине Брентано: *«По дороге к себе домой мы встретили вчера всю семью императора. Гёте высвободил руку, за которую я держал его, и встал с краю дороги – что я ему ни говорил, я не мог заставить его сделать шаг вперёд. Тогда я надвинул шляпу на лоб, застегнул на все пуговицы сюртук и, заложив руки за спину, прошёл прямо сквозь толпу. Князя и придворная камарилья выстроились шпалерами, герцог Рудольф снял передо мною шляпу, императрица приветствовала меня первой. Эти-то господа знают меня. Видеть, как вся эта процессия продефилировала мимо Гёте, было для меня подлинной забавой. Он стоял у обочины, сняв шляпу, склонившись».*

Позже было доказано, что это письмо, опубликованное в 1839 году, оказалось подделкой Беттины (хотя и по следам действительно происшедшего случая), но Бетховена хотели видеть именно таким – таким он во многом и был, поскольку не раз высказывал полное небрежение к царственным особам, считая, что история всё поставит на свои места.

Приведённые выше сопоставления позволяют утверждать, что Бетховен как личность и как художник вобрал всё самое характерное для времени рубежа XIX столетия, в том числе наиболее ярко отобразив в художественной форме суть центральных исторических событий тех лет, какими были Великая французская революция и наполеоновские войны.

Вот что даёт достаточные основания именовать это время *эпохой Бетховена*. Убедить в этом способен и краткий обзор художественного творчества 1790–1800-х годов с частичными выходами на «предикт» 1780-х и «постикт» 1810-х.

Литературное творчество, представленное прозой (А. Радищев и Н. Карамзин в России), поэзией (Р. Бёрнс, М. Шенье) и особенно значительно драматургией (Ф. Шиллер, И. Гёте, П. Бомарше, В. Альфьери),

выдвинуло едва ли не на передний план различные явления предромантизма (Ф. и А. Шлегели, Л. Тик, И. Гёльдерлин, Ф. Новалис, Г. Клейст в Германии, У. Водсворт, С. Кольридж, Р. Саути в Британии).

Архитектура проходила на данном этапе завершающую фазу классицизма и исходную стадию формирования стиля ампир (К. Леду и Ж. Шальгрэн во Франции, О. Бове, И. Воронихин, А. Захаров, Ж. Тома де Томон в России).

В живописи основной вклад внесли Ф. Гойя, Ж. Давид, Ж. Энгр, А. Гро, В. Боровиковский, У. Блейк, в скульптуре – Ж. Гудон, Э. Фальконе, А. Канова, Б. Торвальдсен, М. Козловский. И. Мартос.

Музыкальное искусство, помимо позднего творчества Й. Гайдна и В. Моцарта, достаточно широко было представлено именами композиторов революционной Франции (Э. Мегюль, Ф. Госсек, Л. Керубини, Ж. Лесюёр).

Этот чисто фактологический перечень имён дополним фрагментарной картиной ведущих содержательно-смысловых линий художественного творчества рубежа XIX века.

Рассматривая эпоху Просвещения в целом (середина XVIII–начало XIX века), исследователи нередко акцентируют такие её качества, как свет, гармоничность, жизнелюбие. Действительно, всё это было очень важным для облика данной исторической эпохи (стоит напомнить её ходовое обозначение на французском языке: *siucle des lumiers – век света*). Но существовали в жизни тех десятилетий и совсем иные грани, связанные с напряжённым осмыслением проблемных сторон бытия, с его противоречиями и конфликтами. И эти грани выдвинулись на передний план как определяющие именно на рубеже XIX столетия.

В рамках единого исторического времени на данном этапе происходили весьма ощутимые, даже кардинальные перемены, а в искусстве всё ощутимее нарастали предромантические черты.

И характерно, что в то время заметно изменился внешний облик человека, в том числе даже то, как он стал одеваться и какую стал носить при-



Франсуа Жераф. Госпожа Кочубей



Джорж Опи. Мисс Фрэнсис Виникомб

чёску. Всё сказанное не замедлило сказаться на портретном жанре. Начнём с женского портрета.

Вот, скажем, принадлежащая кисти *Франсуа Жерафа* «Госпожа Кочубей» («Портрет М. В. Кочубей», около 1809). Известный французский художник запечатлел в нашей соотечественнице сочетание как будто бы противоположных свойств.

В портретируемой хорошо чувствуются грация и прелесть очаровательной женственности, но в точёных чертах лица читаются твёрдость характера, волевой настрой, а в глазах светится острота ума.

Отметим и новизну ракурса. Фигура показана сбоку, с разворотом головы, что опять-таки при обрисованной задумчивости настроения передаёт внутреннюю решимость, готовность к действию.

Кроме того, ощутимо ещё одно качество: при всей эlegantности модели – подчеркнутая естественность и простота.

Или, к примеру, «Мисс Фрэнсис Виникомб» *Джорджа Опи* (1796). Примечательно, что и этот портрет, принадлежащий кисти малоизвестного английского художника, даёт настроение, очень характерное для рубежа XIX века.

Сразу же бросаются в глаза перемены в подходе к пейзажному фону. Прежде в нём господствовали исходящие от природного окружения мягкость, умиротворённость, золотистый свет (можно вспомнить, допустим, известнейший портрет М. И. Лопухиной работы В. Боровиковского).

Здесь иное: сурово-сумрачное, почти грозное небо, тревожная взвихренность пейзажа – такой фон становится с конца XVIII столетия довольно типичным. И он отвечает облику изображённой молодой женщины с написанным на её лице выражением смелости, решимости.

Опять-таки обратим внимание на её позу: энергичное движение руки, натягивающей перчатку – в этом просматривается та действенно-героическая нота, которая оказалась едва ли не определяющей для данного исторического этапа, который нередко с достаточным основанием именуют *бетховенским*.

Перейдём к мужскому портрету. Подобно тому, как у дам отходят в прошлое пышно взбитые причёски, так и мужчины на рубеже XIX века отбрасывают парики. Эта деталь по-своему отмечала происходившее повсеместно утверждение таких качеств, как естественность и простота.

И почти всегда чувствуется возникшая склонность передать состояние волевой устремлённости. Всё отмеченное присутствует в приводимых ниже автопортретах двух выдающихся живописцев того времени, какими были *Жан Огюст Доминик Энгр* (Франция) и *Франсиско Хосе де Гойя* (Испания).

Энгр подаёт себя в облике якобинца, то есть как представителя радикального крыла политической жизни времён Французской революции. Разворот головы и всей фигуры, заострённые черты лица, горящие глаза фанатика, обуреваемого гражданскими страстями, характеризуют неистовый темперамент «экстремала» рубежа XIX века.

В автопортрете-офорте Гойи художник разительно напоминает облик Бетховена тех же десятилетий. Такой же высокий цилиндр, который носил и великий композитор, грива вклокоченных волос, сумрачный взгляд, характерная поза (плотно запахнувшись в сюртук) – во всём этом чувствуются подчеркнутая независимость, холодок отчуждения. Очевидно, невольно сказала близость их судьбы: оба оглохли, что привело к замкнутости, порой доходящей до мизантропии.



Огюст Энгр. Автопортрет



Франсиско Гойя. Автопортрет (офорт)

Главное в содержании искусства рубежа XIX можно определить понятием *героика*. Причём многое в ней было связано с атмосферой военных столкновений, с духом батальности.

Вот почему в портретном жанре на важнейшие позиции выдвигается фигура человека войны. В числе самых ярких образцов – картина *Антуана Гро* «Генерал Бонапарт на Аркольском мосту» (1796). Арколе – селение в Италии, около которого французские войска под командованием Наполеона нанесли поражение австрийской армии.

Гро впечатляюще идеализировал наружность Наполеона, за что и был произведён в статус придворного живописца французского императора. Разумеется, великий полководец был далеко не таким, но Гро замечательно передал то, что хотели видеть в Наполеоне: бесстрашие, смелый порыв, всепобеждающая героика.

И уже приобретший к этому времени широкую известность Бонапарт предстаёт на полотне в романтизированном облике: красивый, высокий молодой генерал с развевающимся знаменем и клинком, воплощение отваги и боевой решимости. Фигура выписана на фоне пожарищ – атмосферу баталлий с соответствующим азартом воинского дерзания Гро воспроизводил превосходно.

В военном искусстве эта эпоха, наряду с Наполеоном, выдвинула большое число талантливых полководцев. Особенно в России, где «непобедимый» Бонапарт потерпел сокрушительное поражение.

Вот почему английский живописец *Джордж Доу* по заказу русского правительства выполнил свыше 300 романтически приподнятых портретов участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813–1814 годов (наиболее значительные из этих портретов составили большую галерею в петербургском Эрмитаже).

Один из портретируемых – русский боевой генерал **Александр Петрович Ермолов**. Его фигура подана со спины, в резком развороте головы в про-



Антуан Гро. Генерал Бонапарт
на Аркольском мосту



Джордж Доу.
Портрет А. П. Ермолова

филь, что делает портретируемого олицетворением суровой силы, мужества, воли и доблести.

А. Пушкин в своих путевых записках «Путешествие в Арзрум» отмечает интересный факт: в 1829 году он сделал крюк в 200 вёрст, дабы повидать Ермолова, жившего в деревне близ Орла. В пушкинской словесной зарисовке есть и такой штрих: *«Когда он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, написанный Довом».*

Стремление времени к героике побуждало к соответствующей трансформации принципов классицизма, который был важнейшим художественным направлением эпохи Просвещения. На рубеже XIX века возникает его разновидность, получившая название *героический классицизм*.

Главой этого направления во французской живописи стал **Жак Луи Давид**. Герои его картин – исторические личности, которые прославились служением родине. Один из якобинцев назвал Давида художником, *«гений которого приблизил революцию»* (имелась в виду Французская революция). Первой работой подобного рода стала у него **«Клятва Горациев»** (1784).

Картина выполнена в согласии с античным преданием: отец благословляет трёх братьев на ратный подвиг во славу Рима; они должны встретиться в поединке с тремя братьями, выставленными неприятелем, а все так или иначе связаны между собой родственными узами – отсюда реакция женщин, ведь в схватке могут погибнуть их братья и мужья.

Но если не знать этого сюжета, изображение прочитывается как контраст мужества и слабости. И мужество, олицетворяемое центральной группой персонажей-мужчин (выражение решимости, смелого порыва), всемерно высвечено слабостью женщин, находящихся в полуобморочном состоянии. Выполненная с театральной яркостью, картина воспринимается как призыв к самоотверженной борьбе.

Помимо разработки античного мотива, о классицистском характере произведения говорят одеяния античного покроя, архитектурный фон (хотя он скорее ренессансный, но для эпохи Просвещения это тоже прекрасное далёкое прошлое), а также подчёркнутая ясность, чёткость рисунка и цветового решения.



Жак Луи Давид. Клятва Горациев

Произведения подобного рода убеждают в том, что борьба идей и вообще жизненная борьба достигала тогда очень высокого накала. Этот накал страстей, как и обобщённое выражение самих идей своё высшее воплощение получили в музыке Бетховена.

Драматизм и героика исключительной интенсивности – вот что скрывалось под покровом солнечного сияния «эпохи света». И когда эти подспудные силы смыкались с тем, что шло от людских масс, когда они приобретали общенародный размах, тогда в искусстве рождался высший художественный сплав – *героико-драматический эпос* как концентрированный синтез важнейших свойств искусства рубежа XIX столетия.

В присущих этому синтезу могучих образах, в мощи и грандиозности художественных форм фиксировалось то, что вся Европа пришла в движение, главным катализатором которого были наполеоновские войны – именно они определили тогда иной масштаб жизни человечества. Их дыхание наполнило многое в искусстве качественно новым содержанием.

Красноречивое свидетельство тому – резкий поворот в творчестве *Николая Кафамзина*. Глава русского сентиментализма, автор «Бедной Лизы»

пишет в 1803 году (год создания Третьей симфонии Бетховена) историческую повесть **«Марфа-Посадница»**. В её основу положен реальный исторический факт – покорение вольного Новгорода Иваном III.

Несмотря на трагический финал, это рассказ о величии человека, о твёрдости его духа. Посительницей столь высокой настроенности становится Марфа Борецкая, гордо и стоически завершившая свою судьбу на эшафоте – там же, где она бросила вдохновенный клич и подняла новгородцев на битву за свободу города-республики.

Вот какой видит автор Марфу, когда она поднимается на помост, чтобы обратиться к новгородцам в ответ на требование царя Ивана III подчиниться Москве.

Она всходит на железные ступени, тихо и величаво взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь на бледном лице её... Но вскоре осенённый горестию взор блеснул огнём, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала...

Обращает на себя внимание используемая писателем лексика: **«собрание граждан»** – это от Французской революции, **«взор блеснул огнём»** – бетховенская нота, а позже прозвучит фраза **«язвы России»** – я использую терминологию более позднего времени, так как во второй половине XV века (время действия повести) понятия *Россия* ещё не существовало. Введение подобных выражений говорит о совершенно явной актуализации исторической тематики.

«...И Марфа вещала...» Она взывает к разуму царя, стремится убедить его в бессмысленности насилия и братоубийственной войны. И опять-таки обратим внимание на манеру и дух её речи.

Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь московский истреблением врагов христианства, а не друзей и братьев земли Русской!

Царствуй с мудростью и славою; залечи глубокие язвы России; сделай подданных своих и наших братьев счастливыми – и если когда-нибудь соединённые твои княжества превзойдут славою Новгород; если мы позабудем благоденствию твоего народа; если Всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижениями, тогда придём в царственный град Москву и скажем тебе: «Владей нами! Мы уже не умеем править собою!..»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идёт мимо нас сей печальный жребий! Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твоё пылает любовью к отечеству, когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Именно после этой повести, где Карамзин обрёл высокую историческую тему и характерный строй высказывания, он обратился к созданию главного своего труда – **«История Государства Российского»**.

Теперь обратимся к двум разноплановым работам **Михаила Козловского**, выполненным в свойственной ему классицистской манере, подчинённой устремлениям героико-драматического эпоса.



Михаил Козловский
Самсон, раздирающий пасть льва



Михаил Козловский
Памятник А. В. Суворову

Большой каскад фонтанов Петергофа украшен скульптурами, и центральной из них является «**Самсон, раздирающий пасть льва**» (1800–1802). Могучая фигура библейского титана подаётся в мощном развороте героического деяния (драматическая схватка с диким зверем).

Статуя пронизана неукротимой энергией, в ней запечатлена всё преодолевающая воля – такое впечатление достигается благодаря исключительно энергичной лепке фигуры. Великолепие скульптуры усиливается благодаря декоративному эффекту, достигаемому применением позолоты, что дополняется сиянием струй и брызг воды.

Создавая **памятник А. В. Суворову** в Петербурге (1799–1801), Козловский, подобно упоминавшемуся выше Антуану Гро с его портретами Наполеона, в изображении лица и фигуры прославленного полководца исходит из идеальных представлений (как известно, Суворов был маленького роста и довольно тщедушным).

Кроме того, он драпирует его в полуантично-полусредневековое одеяние, что дополнено шлемом и боевыми доспехами, так что в целом складывается образ могучего воителя легендарных времён.

Героическая символика усиливается и благодаря тому, что скульптура поставлена на чрезвычайно высокий постамент в форме цилиндра, и это придаёт ей подчёркнутую монументальность. Но при всей монументальности фигура полна движения и стремительной энергии (общий пружинящий ритм монумента и в особенности – решительный взмах правой руки, держащей меч).

Своего рода монументом, освящающим высокие исторические деяния, могло стать и здание. В числе таких сооружений в первую очередь следу-

ет назвать **Адмиралтейство** в Петербурге (строилось с 1806 года) – главное детище *Андреяна Захарова*.

Поскольку в строгую гладь стен органично включается пластика, то в некотором роде соавторами А. Захарова выступили скульпторы Ф. Щедрин, В. Дёмут-Малиновский, С. Пименов, А. Теребенёв. Но основную ценность, конечно же, составляет само здание, которое является центром огромной площади (она выступает в функции общественного форума города) и становится как бы камертоном для величественных архитектурных ансамблей северной столицы.

В свою очередь, главным в данном сооружении является взметнувшаяся ввысь башня. Взятое в целом, это величественное здание напрямую резонирует находящемуся на другом берегу Невы Петропавловскому собору (сооружение эпохи барокко), ощутимо отличаясь от него большей гармоничностью и классичностью.



Андреян Захаров. Адмиралтейство

Это соответствие знаковых построек северной столицы подкрепляется тем, что обе они увенчаны шпилем-иглой, а шпиль Адмиралтейства символизировал мощь русского флота и стал эмблемой Петербурга.

Только что названные художественные шедевры приближают нас к ещё одной метаморфозе классицизма, которая вылилась на рубеже XIX века в *стиль ампир*. Это касалось главным образом архитектуры, приобретающей торжественно-триумфальный характер и подчас гиперболизированно монументальный масштаб, отвечая прямому переводу понятия – *императорский стиль*.

Он зародился во Франции, и в числе его наиболее примечательных образцов – выполненная по проекту *Жана-Франсуа Шальгрена Триумфальная арка в Париже* (воздвигалась с 1806 года). Как помним, тип такого монумента впервые получил распространение в античной архитектуре во времена триумфов императорского Рима.

Подобные устремления возникли во Франции как бы по аналогии с забытой традицией и с целью прославления побед армии Наполеона. Соответственно в декоре таких сооружений в изобилии были представлены воинские атрибуты и батальные реликвии.

Обращает на себя внимание почти неперемнная черта стиля ампир – исключительная тяжеловесность и подчас гипертрофия пропорций (в данном случае ощутима явная несоразмерность грузной верхней части триумфальной арки остальному).

Обращает на себя внимание почти неперемнная черта стиля ампир – исключительная тяжеловесность и подчас гипертрофия пропорций (в данном случае ощутима явная несоразмерность грузной верхней части триумфальной арки остальному).

Черты рассматриваемого стиля наблюдались и в изобразительном искусстве. Одна из самых очевидных иллюстраций тому – картина *Жана-Огю-*

ста Энгра «Наполеон на императорском троне» (1806). И по замыслу («...на императорском троне»), и по исполнению перед нами типичнейший ампир. Причём в той его форме, когда он мог приобретать сугубо парадный и даже помпезный характер.

Гипертрофия изображения в равной степени касается и избыточности аксессуаров (пышное великолепие бархата, ковровой ткани и т.д.), и собственно императорского величия портретируемого (властная поза надменного владыки Европы).

При желании в этой блистательной работе Энгра можно почувствовать и определённый подтекст: в отмеченной выше избыточности улавливается намёк на внешнюю мишуру, недостойную подлинно великого человека (выше отмечалось публично выраженное Бетховеном открытое неприятие подобного).

Однако следует признать, что черты пышного, импозантного ампира появлялись и в некоторых произведениях самого Бетховена (таков его Пятый фортепианный концерт, который не случайно назвался «Императорским»).

Тем не менее, даже учитывая некоторые «издержки» исторического этапа рубежа XIX столетия, необходимо констатировать: то был совершенно особенный, незабываемый, великий час человечества.

Его значимость в художественной сфере более всего была подтверждена феноменом музыки *Бетховена*, отобразившей движение огромных людских масс, стихию суровых жизненных схваток, грозную атмосферу времени. Одним из ярчайших свидетельств этого является его *Пятая симфония* (1808).

Постоянные отсылки к музыке великого композитора, возникавшие по ходу намеченного выше общехудожественного контекста, были призваны подтвердить, что он являлся центральной фигурой искусства своего времени. И как для гражданской истории рубеж XIX века – в определённом роде наполеоновская эпоха, так и для художественной истории это время – во многом бетховенская эпоха.



Жан Шальзрен.
Триумфальная арка в Париже



Жан-Огюст Энгр.
Наполеон на императорском троне



Елизавета
МАРТЫНОВА

«Выбор есть всегда...»

Екатерина Федорчук. Трибунал. Роман. — М.: изд-во «Никея», 2021

Книга эта меня потрясла, это одна из тех книг, которые читаются сразу, запоминаются и остаются в нас. Интересна она не только выбранной темой (необычной для нынешнего времени), а прежде всего своей серьёзностью и глубиной. Не могу сказать, что досконально знаю современную прозу, но в том, что читаю в книгах и журналах, ощущаю уход в бытоописание, в мелкие какие-то вещи, где подробности не становятся деталями, вижу увлечение самим описанием. И самое важное: у авторов, как правило, нет идеи той, ради которой стоило бы начинать писать прозу. Даже если у этого автора (прозаика) есть дар и умение писать.

А ведь основное в прозе — что сказать. Как сказать — это уже потом. Проза требует мыслей и мыслей, говорил Александр Сергеевич Пушкин. *«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат».*

Конечно, он имел в виду не отдельные «мысли», а то главное, ради чего прозаика и стоит писать, а публике — читать, и вчитываться, и понимать. Он как раз и имел в виду то, что прозаик, равно как и поэт, только по-другому, пишет о жизни и смерти, о любви и ненависти. О том, как устроен мир и как к нему относится человек. О человеке и Боге. О проблеме веры — о том, как трудно человеку поверить.

Екатерина Федорчук в своём романе сразу сосредоточивается на главном. На своей идее. Её герои живут на пределе, в такой критической, пограничной ситуации, когда обнаруживаются человеческие возможности, когда человек решает для себя самые главные проблемы.

Герой книги отец Михаил Платанов делает свой выбор, говорит проповедь, посвящённую убийству Николая Романова,

и прекрасно понимает, что за этим может последовать. Выбор нормального, искреннего, совестливого человека. И, как священник, он не мог этого не сделать.

«— Я всегда делаю то, что велят мне мои долг и совесть. Для меня было невозможно не выразить в тот миг свои чувства, и я сказал об этом пастве...»

«...И эти люди не ведают, что творят, но действуют по Божью попущению. Они поставили нас перед страшным выбором: земная жизнь или Христос. Пусть сейчас каждый решает за себя. Я свой выбор сделал».

Любовная линия (какой же роман без любви) необычна тем, что два человека из разных «стангов» испытывают друг к другу симпатию — и эта линия тоже подчинена основной мысли — нравственного выбора: **«Выбор есть всегда...»**

Да, человек действительно постоянно находится в состоянии этого нравственного выбора. И автор книги показывает, как это происходит в ситуации трагической и в то же время обыденной (образ следователя как образ Смерти).

И этот выбор мужества, и его противостояние беззаконию нового трибунала, собственно, и создают напряжённый сюжет. Их, Михаила Платанова и главного обвинителя Хацкелиева, диалоги перед трибуналом совершенно потрясающие, живые, насыщенные напряжённой эмоциональностью — этих людей словно видишь перед собой.

«— Мне кажется, или вы меня на что-то провоцируете?»

— Провоцирую, — согласился следователь. — Хотел раскрутить вас на чистосердечное признание и, может быть, даже исплотать для вас помилование. Видите, я с вами откровенен.

— Помилование в обмен на что? — прямо спросил Платанов — его не обманула мнимая искренность следователя.

— Да ни на что, — ответил Роман Давидович. — Гражданин Платанов, я вижу, что вы человек умный и порядочный. Вижу, что вы искренне заблуждаетесь, и поверьте, ваше мужество, ваша стойкость... Нам нужны такие люди, как вы. У нас... да вы сами видите. Пьянство, разбой, вспышки насилия, воровство. Полное попрание закона. Революция в опасности, и не от Деникина она исходит, а от наших же товарищей по партии. Приличные люди отвернулись от нас. Руки нам не подают. Я бы и сам себе сейчас руки не подал... Но если я уйду из этого кабинета, из этого города, из этой страны... Кто придёт вместо меня? Может быть, кто-то ещё худший?

— Вы думаете?

— Итак, вы согласны сотрудничать со следствием?

— Я никогда не отказывался ни от какого сотрудничества.

— Тогда назовите ваших сообщников и облегчите свою участь...»

Интересно, что главный обвинитель видит в отце Михаиле врага, которого можно уважать за мужество. От его слов веет, без преувеличения, мотивами трагедий Шекспира и греческих трагедий: рок, невозможность отказа от вражды.

«Я уважаю стойкость отца Михаила в убеждениях, и смелость, и глупую какую-то даже принципиальность в непринципиальных вопросах... Я уважаю его как врага, с которым мне нет места на одной земле.

Который хочет уничтожить то, что мне дороже всего на свете: моё право на бунт! Моё право на месть! Моё право на ненависть!»

Мне нравится, что в романе есть дыхание времени, но передано оно не описательно, так сказать, краеведчески, а через речь героев, их мысли, их поступки. Но прежде всего — через речь. Она у каждого из них индивидуальна, но ненарочита, и вписывается в авторский стиль, строгий и лаконичный, как раз таки и предающий авторскую мысль, идею.

Это опять же редкое по нынешним временам качество прозаика: уметь строить речь, показывать через неё героев и время, трагическое время, так, чтобы мы, читатели, его увидели. А мы — увидели. Ощущение времени передано с точки зрения разных героев, всё изображённое

в романе пропущено через их сознание, через их душу.

Мало сказать, что роман кинематографичен. Роман похож, нет, не на сценарий — на сам фильм, живой и динамичный. Написано так, что читаешь на одном дыхании. На сайтах, где можно прочитать книгу, многие увлекательность романа отмечали как одно из несомненных достоинств. Сюжет держит и не отпускает, чувствуется, что самому автору писать это было интересно, что его волнуют описываемые события и люди.

Екатерину Федорчук интересует духовный опыт этих людей — они действительно проходят через то, через что христиане два тысячелетия назад проходили, да и позже. Сами персонажи, которые появляются там: мученики, предатели, свидетели, которые ничего толком не знают и не поняли, палачи — все эти невольные роли напоминают нам снова и снова библейский сюжет. (Не зря Арон, который станет потом Романом Давыдовичем, в романе читает в Евангелии эпизод, как книжники и первосвященники привели Иисуса на суд.) От него просто никуда и не деться. Человек по сути своей не меняется. Всё, что есть у него, — это только его выбор: кем он будет, на чьей стороне. Третьего, промежуточного какого-то, видимо, в данной ситуации героям романа не дано.

О нравственном выборе говорят в романе многие герои.

«— Как сказать, — задумался отец Варфоломей, — ведь и умереть можно по-разному. Можно с клеймом предателя. Как Иуда. Знаешь, кто такой Иуда? А можно — как герой, спасая свой народ или хотя бы одного человека. Или весь мир. Как Иисус».

Мы сталкиваемся с борьбой добра и зла в чистом виде. Зло, как обычно, замаскировано благими намерениями. Но Екатерина Федорчук не делает из них карикатурных, картонных злодеев — все герои действительно живые люди, и недостатки и достоинства у них у всех есть. Всё дело — в их нравственном выборе. И в конечном счёте побеждает тот, кто твёрдо стоит на позициях веры.

Я хорошо помню, как Екатерина размышляла (это было года два назад, кажется), с какой точки зрения этот роман писать. И что это не стоит писать от лица отца Михаила — будет слишком прямолинейно.

Позицию, конечно, можно было бы выбрать любую, настолько насыщен и интересен сам материал. Но автору

романа нужен был в качестве основного героя, скрепляющего весь роман, человек сложный, умный, сомневающийся. В принципе, это *булгаковский* прием: показать ситуацию противостояния добра и зла с точки зрения человека заблуждающегося. Тут и трагизм, и без иронии и гротеска не обойтись (если вспомнить кошмарный сон-видение Хацкелиева, например). Собственно, вся обстановка прихода новой советской власти в романе – это сплошной гротеск.

Но читателю всегда интересно, откуда взялся герой, занимающий основное место в романе, Роман Давыдович Хацкелиев; был ли он в реальности, насколько он собирательный тип, или он и все остальные герои как-то замаскированы, придуманы. Понятно, разумеется, что герой в произведении и в реальности – это две большие разницы, но всё же важно соотношение исторически достоверных сведений и вымысла. Понятно, что мысли прототипа не прочитаешь, но их можно художественно выстроить, прочитав документы, записки, стенограммы и т.д.

Об этом Екатерина Федорчук говорит в своём интервью.

«– Всё, что касается главного героя – священника (в романе его зовут отец Михаил Платанов), я оставила практически неизменным. Изменения коснулись второстепенных героев. Самым неожиданным для меня самой моментом оказалось то, что в центре повествования вдруг оказался антагонист – председатель следственного комитета. В моём тексте этого героя зовут Роман Хацкелиев. Именно его глазами показана вся история.»

То, что роман основан на реальных свидетельствах, – это замечательно. Очень нужный роман, ведь современный человек, даже верующий, редко задумывается об истории церкви. Для этого нужно быть «внутри» предмета, специально долго и кропотливо заниматься им. Тем более, я думаю, книг такого плана и содержания мало написано. Она важна тем, что читатель получает художественное, а не просто документальное свидетельство нашей истории, нашей памяти.



**Нина
КОРОВКИНА**

ОЧЕРКИ ЧАСТНОЙ ИСТОРИИ

ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛКИ

Более полувека прошло с того времени, которое обозначили словом «оттепель». Всё чаще этот отрезок истории страны стал подвергаться идеализации и лакировке. Пора нам, юностью вышедшим из того времени, заняться воспоминаниями. А то скоро всё пойдёт под сахарную пудру и ламинат, а под этими слоями консервантов неразличимыми станут разных величин детали, из которых складывается любая эпоха.

Мы, рождённые в конце 40-х годов, своей свежей детской памятью фрагментарно фиксировали эпизоды частной и общественной жизни середины прошлого века, но это действительно только отрывки, причём уже в дымке прошлого времени. Вроде пожелтевших и утративших чёткость фотографий. Несмотря на размытость, этими кусочками давно следует заполнить мозаику ушедшего, чтобы у внуков осталась картина в подлиннике, без искусственных заполнителей, без некомпетентных комментариев.

Четыре года войны отбросили экономику страны на десятилетия назад. Вернулась разруха. И всё надо начинать с нуля. Те, кому довелось строить свой дом или капитально ремонтировать квартиру, знают, как трудно совершать это многослойное дело. А тут – огромная страна. Негде жить, нечего есть, не во что одеться...

Интересно, нынешний человек, уже освобождённый от идеологии, но так и не пришедший к Богу, униженный бесправностью, неравенством и бедностью, смог бы выстоять в послевоенные годы? В моей голове отрицательный ответ. Впрочем, о молодёжи не могу судить. А наши деды и отцы словно со стержнем внутри были. Пересилив войну, кто на фронте, кто в не менее тяжёлом тылу, они получили сокровенное знание о главном и второстепенном. Их существование проходило как бы в стороне от бытовых трудностей, они всегда помнили, что выжили. Жизнь – единственная настоящая ценность, разминивать её на мелочь в виде узко материальных благ стремился совсем не каждый. В те времена ведь как: хочешь есть сладко – вертись между статьями закона. Мелко для души, опасно для тела.

-
- Коровкина Нина Васильевна родилась и живёт в Саратове. Окончила в 70-х годах институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Специальность – искусствовед, художественный критик. Публиковалась как прозаик в журнале «Волга–XXI век».

Безусловно, идеологическое воспитание в нашей советской стране было на первом месте, и специалисты в этом деле были высококлассные. Я не знаю, какими рычагами кроме карающих органов, а также средств пропаганды и цензуры они владели, наверняка их было множество. Потому что эффект был мощный. Сейчас трудно представить, что убийца может стать идолом тех, чьих близких он лишил жизни. Но ведь именно это и произошло! Это чувство вины перед предками за собственную слепоту грызёт.

Оправдываться незнанием на том свете будем. И, конечно, это будет полуправдой. Пусть не знали, но разве не догадывались?! Многие понимали, кто виноват, да расправы боялись... Одиночные выступления против существующих порядков вели к потере собственной жизни, а массовые протесты предполагали хоть какую-то первичную агитационную работу, но она была невозможна. Если ты нечаянно узнавал, что сосед инакомыслит (а тебе уже в детстве внушили: кто не с нами, тот против нас), то ты был обязан донести это своё знание в соответствующие органы. Среди оболваненных идеологией находились и идеалисты, и убеждённые коммунисты – и они доносили... Но в окружении моих родителей и родителей моих друзей все предпочитали молчать. Или говорить шёпотом, предварительно оглянувшись, нет ли кого постороннего. Мы, дети, жили как бы вне этого страха, но иногда, попадая в круг закрытых взрослых тем, чувствовали их холод и опасность.

В таких непростых обстоятельствах, если их постоянно принимать в расчёт, существовать нормально можно было только при одном условии: вынести все страхи, доносы, беззакония за скобки собственной жизни, цenia лишь жизнь. И жили. Со вкусом. Если по причине послевоенной разрухи невозможно было обеспечить самих себя и своё окружение ярким, красивым антуражем, значит, яркость как признак радости жизни должна быть там, где никто не сможет её убрать: в чувствах и эмоциях. Ах, как сильно и мощно всё переживалось в те времена! Словно усиленно компенсировался недостаток положительных эмоций за длинные годы войны, за долгие годы привыкания к социалистическому стилю жизни...

Серая, бытовая часть жизни текла незаметно. Решая проблемы, мы ужасно стеснялись собственной бедности, пряча её приметы от близких и дальних. Чувство было такое, что только ты один такой неудачник, а у других «всё в ажуре» (так тогда говорили, а нынче заменили выражением «всё в шоколаде»). Подмечать, что и другие люди существуют в похожих затруднениях, не хотелось. Вообще, о неудобствах бедности мы мало думали, полагая их ничтожными, преодолимыми... По-настоящему позорным считалось нарушение кодекса чести: порядочности, взаимовыручки, помощи. Эти понятия прививались незаметно, с младенчества, от родителей. И шло это воспитание, как я думаю, по инерции из недалеко ещё ушедших дореволюционных устоев православной семьи. Впрочем, инерция – затухающая сила.

Мои родители – из среднего слоя, самого мощного по численности. Его называли во все времена мещанским: при царизме это название предполагало социальный статус, а в советские времена – уровень культуры. Невидимые идеологи, повелители умов средствами пропаганды обязывали презирать «мещанство» во всех его проявлениях: от глиняных кошек-копилек в лубочном стиле до потребительского отношения к окружающему миру. Как это делалось? Карами. Исключениями из рядов: пионеров, комсомольцев, партии. Выбыванием из очередей на жильё, детские сады, санатории и прочее. Насмешкой, ядовитой статьёй в газете, сатирическим журналом «Крокодил», имевшим огромную популярность в народе, передачами о нравственности по радио, идеологически выдержанными фильмами. Этих приёмов было мно-

жество. Из нас лепили строителей коммунизма. Что это такое – не мог сказать никто. На плакатах всех величин и предназначений изображали некие условные лица рабочих и крестьян, так, чтобы у этих улыбающихся персонажей полностью отсутствовали какие-либо человеческие эмоции. Они были идеальными выразителями идеальных отношений. Практически бесполох. Практически бесчувственных. Других картинок на улицах нашего детства мы не видели. Подсознательно каждый чувствовал безнадежность и утопический характер навязываемого нам образа жизни и мыслей. За свои немалые уже годы я так ни разу и не встретила человека, искренне убежденного в правоте научного коммунизма. Партийные функционеры, в лучшем случае, были прирожденными вожаками, в худшем – приспособленцами. (Это было такое слово, обозначающее людей, стремящихся к власти любыми путями.)

Вот так нам жилось внутри самих себя: с несочетаемостью собственного самосознания и навязываемого общественного воспитания. Потому и казался особо ценным и цельным окружающий нас предметный мир.

50-е годы. Нашей офицерской семье повезло жить в местах, не затронутых войной: Сибирь, Грузия, Азербайджан, Красный Яр, Камышин... Географический центр любого населённого пункта в России, он же и административный, он же и торговый, он же, в меру возможностей, и архитектурно-парадный. 2–3-этажные кирпичные здания, выстроенные ещё в царские времена, с индивидуальным, неброским и в то же время стильным декором по фасадам. Улочки, тянущиеся сюда от самых окраин, сплошь жилые дома дореволюционной постройки, деревянные, в два-три окна, серые, некрашенные. Хлипкие заборы, почти всегда сооружённые из случайных, неодинаковых палок, реек, дощечек. Вот калитки выглядели поосновательней: доски пригнаны друг к другу, сбоку врезано металлическое кольцо-щечолда – это для дневного использования, а с внутренней стороны прилажен деревянный брусок-засов, запиравший калитку на ночь. Зачем эти запоры были нужны, непонятно, через иной забор ничего не стоило просто перемахнуть или пролезть в щель. А ещё на окнах были ставни с железными штырями длиной на всю толщину стены. Поздно вечером ставни закрывали, штыри вставляли в специально просверленные отверстия, концы штырей входили внутрь дома, где их закрепляли металлическими клиньями. Мой дом – моя крепость.

Надо сказать, многие дома при весьма незатейливом заборе имели богато украшенный фасад. Деревянная резьба вокруг фронтона и на наличниках окон порой была такая кружевная, что у художественных натур, оказавшихся рядом, вызывала временный столбняк. Что ни говори, а народными ремёслами Русь всегда славилась. Но строительство дома, украшение его – работа творческая и дорогостоящая, на ограждение дома потенциалов этих, как правило, уже не хватало, к отделке фасадов возвращались редко, только по необходимости. Потому несолидность штакетников и скособоченность построек в последующие годы была как бы нормой.

А посреди улицы лениво лежала дорога в ухабах, образованных ещё с дождливой осени и полноводной весны (асфальтировать их стали много позже). Ухабы летом были покрыты тонкой серой пылью, которая шелкови-сто просачивалась между пальцами босых ног; бурьяны лебеды и лопухов, занимавшие остальное пространство улиц, к началу осени достигали иногда высоты человеческого роста. И только тропинки, проложенные необъяснимо криво, сложно, говорили, что жизнь людей продолжается.

Зато какие на этих улицах и в этих домиках шли события, а потом подробные их в народе обсуждения! Рождения, свадьбы, разводы, измены, любовные истории, драки, смерти, выяснения соседских взаимоотноше-

ний – всему раз и навсегда припечатывали общественную оценку и сохраняли её в памяти неизменной навсегда. Эта жизнь на виду, как на подмостках, произвольно заставляла каждое событие протекать с аффектацией, со слегка усиленной долей драматизма. Чтоб даже до райка доходило.

Скорее всего, такие обобществлённые личностные отношения были у русских испокон. Ну а как иначе, если маленькие дома не в силах долго скрывать бурные страсти. А семьи большие. А страсти тоже немаленькие. И, чтобы каждый нюанс этих чувств получал правильную судейскую оценку, все подробности любых инцидентов должны иметь как можно больше приносящих заседателей.

Совсем отдельно в жизни людей послевоенного времени стоят праздники. У русского народа слово «праздник» всегда сопрягалось с понятием «вместе со всем миром». Радостные торжества мелкого масштаба вроде семейных событий, конечно, тоже имели место быть. Но они не шли ни в какое сравнение со всесоюзными: 1 Мая, Днём Октябрьской социалистической революции, Днём Победы и Новым годом.

Столы выносили из домов и выстраивали вдоль улицы. (К шестидесятым годам праздношующие компании уже расслоились и собирались по очереди на своих дворовых территориях.) Накрывали столы тем, что у кого было: отварная картошка, квашеная капуста, винегреты, жареная речная рыба, солёные помидоры, огурцы, арбузы мочёные яблоки и тёрн, сало с чесноком, пироги с картошкой, капустой, тыквой... Самогонки и водки, так называемой «белоголовки», было вволю: за столами сидели тогда ещё очень молодые наши отцы, уже с фронта приученные к алкоголю. Детей кормили отдельно, и попрошайничать у столов взрослых даже малышам было неприлично. Нас кормили перед застольем так, чтоб не стояли за плечами родителей.

Начиналось всё тостами «миру – мир», коллективными воспоминаниями о недавней войне, затем беседы полегоньку сбивались по интересам, плавно затихал пафос речей, темы воспоминаний становились горше... В какой-то абсолютно точный момент настроения наступал черёд песни. Ох, как они пели, наши родители!.. Словно приговорённые, которым разрешили исполнить последнее желание. Я слёзы видела у многих. Пели всё, что предлагал очередной, стихийно явленный запевала: от советских задушевных, вроде «Подмосковных вечеров», до древних, народных, чуть ли не былинных (находились знатоки и таких «сказаний»). В книжных магазинах тех лет было множество «Песенников», предвестников караоке. В них, правда, треть объёма занимали слова кантат типа «Партия – наш рулевой» и патриотических песен («Дан приказ: ему – на запад...», «Орлёнок» и т.п.), но зато и советской лирики было немало. Тут тебе и «Сормовская лирическая», и «Одинокая гармонь», и «Самара-городок», а иногда даже печатали переводные тексты зарубежных песен из западных фильмов. В основном из репертуара сильно популярной Клавдии Шульженко, имеющей в голосе богатейшие русские интонации, но совершенно не владеющей обертонами южно-американского вокала (а её так и тянуло к песням знаменитой аргентинской актрисы Долиты Торрес).

Музыкальная часть длилась гораздо дольше, чем торжественная – по несколько часов наш талантливый русский народ удовлетворял свою извечную потребность мощного и красивого хорового пения, выплёскивая наболевшее, потаённое, так или иначе проявлявшееся в старинных, исторических, социальных, драматических и любовных темах...

Но уличные праздники случались редко: два-три раза в год. А будни – они изо дня в день... Надо ходить на работу. По восемь часов в сутки.

А если дольше, то за отдельную плату. При двух обязательных выходных в неделю. И с ежегодным отпуском на двадцать четыре рабочих дня. Все эти правила были изложены письменно в специальном кодексе трудового законодательства (КЗОТ). И каждый начальник отдела кадров обязан был строго наблюдать и соблюдать буквальное выполнение этих законов. За нарушение их предусматривалось несколько мер наказания: от строгого выговора с записью в трудовую книжку (попробуй потом с такой записью найти приличное место работы!) до заключения в местах лишения свободы. А ещё был выговор по партийной линии – чуть менее страшный, чем арест. Надо сказать, все руководящие должности – от самого незначительного до директора – занимали ТОЛЬКО члены партии.

В те времена она была одна – КПСС (коммунистическая партия Советского Союза). На ключевые посты назначения могли давать только комитеты партии. Определяли туда не по уровню образования и опыта, а по партийному стажу. И очень часто руководителем предприятия, учреждения оказывался человек, вообще не знакомый с профилем данного производства. В этих людях ценилось одно качество: добиваться выполнения плана к строго оговорённому сроку.

Для выполнения планов определяли отрезки времени: кварталы, пятилетки. Достижения в этих планах доносили до ушей народа пафосно, всегда сухим, официальным языком, выработанным и, я бы сказала, специально изобретённым. Язык этот был предельно казённый, какие-либо бытовые слова или интонации строго выкорчёвывались их текстов докладов. Тексты любого содержания и объёма должны были быть заранее заготовлены и откорректированы вышестоящими руководителями и только после этого уже зачитаны в мир. Выслушать от начала до конца эти «отчёты» удавалось немногим. Спать тянуло почти с первых слов. Прямо гипноз... А ведь этим языком написаны были и школьные, и институтские учебники. Мы, выпускники ВСЕХ вузов страны, зубрили (борясь со сном и скепсисом) «диамат», «истмат» и «научный коммунизм», сдавали госэкзамены по этому предмету, предварительно на первых курсах «изучая» философские труды основоположников марксизма-ленинизма – Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина (перечисляю специально для внуков, они эти имена в головах не держат) и иже с ними...

Но до институтов нам ещё далеко. В детские сады редко кто ходил: их было так мало, что детство проходило только на улицах с друзьями. Уличные наши компании чаще всего были смешанными по возрасту. Тут и совсем маленькие, 3–5-летние дети, и подростки 11–12 лет. Шумные и почти всегда активно перемещающиеся в пространстве родной улицы, днём мы играли всегда в подвижные игры. И каких только затей не было! «Казачьи-разбойники», «гуси-лебеди», прятки, «штандр», догонялки, «классики», скакалки... К вечеру, устав от беготни, усаживались в рядок на чьей-либо скамейке (но какой бы длинной она ни была, её не хватало, поэтому рядом всегда лежали старые куски брёвен, перевернутые дырявые вёдра и прочие подходящие «сиденья»). И тут уже начинался обмен знаниями и опытом, приобретённым либо методом подслушивания взрослых бесед, либо путём собственного опыта, практически первого в жизни на том или ином направлении, причём нередко приправленного отцовским ремнём. Или уж, на худой конец, сидячие игры вроде «брехливого телефончика», «садовника», «златого крыльца». Подростки, уже высокомерно поглядывая на «мелюзгу», только изредка включались в детские посиделки. Они собирались стайками на облюбованных местах: лавочка, в старых развалинах, на удобных взгор-

ках, главное – подальше от людей иных, чем они, возрастов, вели свои эмоциональные беседы, споры, потасовки, замирения, выяснение взаимоотношений... Расходились затемно, неохотно, только после материнского крика: «Валя (Коля, Лида, Таня), домой!»

Учились по району проживания, то есть все друзья – в одной школе. У детей довоенных годов рождения – раздельное обучение – отголосок из времён дореволюционных гимназий и институтов благородных девиц (моих сверстников, рождённых после войны, это миновало). Всю жизнь я наблюдала за уродливыми последствиями такого разделения по полу. XIX век – век сложного дворянского этикета. Века церемоний и тысяч табу. В их число входила и строго регламентированная система раздельного обучения девочек и мальчиков, подразумевающая дистанцию полов и в дальнейшей жизни. Потому в разных учебных заведениях преподаваемые дисциплины были очень различны. А советские дети, для которых была разработана общая система среднего образования, будучи отгорожены стенами «раздельных» школ, по сути, получали только лишь ограничение в общении. Повзрослев, очень многие из них так и остались на всю жизнь замкнутыми и застенчивыми в присутствии представительниц противоположного пола. А нередко – и бес семейными. И это при том, что трудовая деятельность советского человека не предусматривала разделения трудовых коллективов по половому признаку.

Мое поколение – шестидесятники. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Ну, на первую ступень «человека будущего» мы вступали с гордостью и энтузиазмом: в октябрята принимали в 8–9 лет. Мы это воспринимали как приглашение сделать первый шаг из детства во взрослую жизнь, хотя далее звёздочек на груди дело не пошло. Пионерство – это уже 4–8-й классы. В этом возрасте закладывается понятие коллектива, ощущение себя его частью. Для этого отрезка активной подростковой жизни атрибутика и символика очень важны. Пионерские линейки, знамёна, барабан, горн, красные галстуки, «салюты» ладонью по середине лба, так похожие на военное приветствие – всё было новым, почти взрослым, с командами, ответственностью, звучностью, отдававшей эхом в пробуждающихся к взрослости и гражданственности молодых душах...

Пожалуй, пионерство было счастливым временем жизни. Ты уже не ребёнок, полностью подчинённый авторитету взрослых, а уже личность, с неуверенно пока проявляющимся чувством собственного сознания, пока изредка, пока пробно вступаешь в полемику со взрослыми. А те, откровенно ухмыляющиеся твоей храбрости, ещё пока позволяют тебе быть дерзким. Потому что это забавно. Это попозже, в возрасте, когда управлять своими эмоциями становится почти невозможно, а опыт пререкания с родителями и учителями уже накоплен, получаешь такие шишки и затрещины от жизни и от раздражённых нашим юным и глупым нахальством взрослых оппонентов, какие делают тебя либо борцом, либо закомплексованным слабаком.

Именно в этот период у нас появляются пристрастия и враги. Потому что весь мир пока чёрно-белый, а все чувства предельно искренни и однобоки. Но и друзья, тех, что до последнего часа, заводят в эти же годы.

В 14–16 лет всех нас «пригласили» в комсомол. Приглашение имело форму обязанности. Этот коммунистический союз молодежи был необходимой дистанцией на пути к взрослой и состоявшейся жизни: в сумме документов, собираемых для поступления в следующие после школы учебные заведения, комсомольский билет был обязателен. Немногим удавалось без последствий миновать принадлежность к этой организации. Только неуспевающие в учёбе и неблагонадёжные в поведении подростки с затаённым удовлетво-

рением оказывались «неохваченными» уставом ВЛКСМ. Но они словно сами себя выносили за границы текущей жизни, заранее определяя своё скромное место в обществе.

Если пионерство в детях порождало стремление к активности, будь то общественная жизнь, или учёба, или просто дружеские взаимоотношения, то комсомол, кроме ежемесячных взносов по 2 копейки и скучных собраний, более ни к каким действиям нас, шестидесятников, не притягивал. Конечно, секретарям комсомольских ячеек приходилось отчитываться в Комитете ВЛКСМ за якобы проделанную некую работу, но и они, и функционеры Комитета удовлетворялись письменными отчётами. Так трудно создаваемый в 20-е годы комсомол, его энтузиазм и надежды через сорок лет совершенно потонули в формализме и «обязаловщине». Протокольная жизнь и расплывчатый порядок – враги юности.

Регламентированные условия существования обязательно порождают себе антипод. Потому наша жизнь вне партийного ока протекала ярко и активно.

Интернет сделал молодых инертными. Уже не нужно рыться в библиотеках и научных залах в поисках нужной информации, её парой кликов находишь, не вставая с места. Ты в халате, рядом в тарелке вкусности. Можно даже не вспоминать о расчёске и орфографии. Да, собственно, и информацию «из инета» без угрызений самолюбия и стыда уже, не читая, но чуть изменив, вставляешь в якобы свои тексты, в свои якобы научные труды...

А мы – читали! Художественную литературу – и классиков, и современников: прозу, поэзию, специальную профильную литературу по интересующим вопросам. Записывались в библиотеки, да не в одну: не там, так в другой найдётся нужная книга! Интересно было всё: космос (в 1957 году – первый спутник Земли, в 1961-м – полёт Гагарина), научная фантастика, всемирная история (в школе об этом мало!), история мировых культур, биографии великих, теория изобразительных искусств, философия, телевидение, военное дело, история авиации, спортивные достижения, медицина, физика, химия, научные достижения... А ещё и Куба! Там в 59-м произошла революция. Всеми их событиями интересовались как своими, пели очень популярную мелодию: «Куба – любовь моя!..». Темперамент песенного ритма невольно связывали с дерзостью маленького островка, под носом Америки взбунтовавшегося и отстаивавшего свою самостоятельность! Ах, как это совпадало с собственными нарастающими силами юности, с энтузиазмом познания мира, с уверенностью, что обязательно впишемся в значительность и энергичность изменений этого мира. Тогда реализовать это без помощи «вспомогательных сил» было нетрудно, требовались только собственное упорство и активная работоспособность. Все, кто хотел, поступили туда, куда стремились, а если не туда, то это означало только одно: не очень-то и стремились. И уж совсем редкой была ситуация «в силу непреодолимых обстоятельств». Но это я опять убежала вперёд. (Всё время сбиваюсь на тему «в наше время было лучше», впрочем, все мемуары, одни откровенней, другие тоньше, но имеют в виду именно это.)

В каждой школе были кружки самодеятельности. Вокальный, танцевальный, иногда драматический. И обязательный хор. После уроков директор лично стоял в дверях и волевым взглядом отправлял всех в вестибюль. Там уже каждый знал своё место. Малыши образовывали первый ряд, те, кто повыше, – второй, а позади тем же манером вставали на скамейки старшеклассники. Чтобы не разбегались, хор сторожили либо директор, либо завуч. Руководил хором учитель пения, как правило, баянист, т.к. пианино было редким инструментом для провинциальных школ. Разучивали в основном патрио-

тические песни типа «Ленин всегда с тобой». Детских песен было мало, а те, что сочинялись, были тоже патриотическими: «Марш энтузиастов», «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Тропинка школьная», «Коричневая пуговка»... К праздникам, 7 ноября и 1 мая, между школьными хорами устраивали конкурсы в городском драмтеатре. В общем, это была наша малая лепта в обязательном «строительстве коммунизма». Относились мы все к этому без бунтарства, понимая, что общественный вклад требуется от каждого. Он словно кирпичик в стене, который держит устойчивость этой стены.

Зато остальные секции выбирай какие хочешь! Авиамодельный, судомодельный, радиотехнический, кройки и шитья, кукольный, живописи, танцев, сольного пения – эти кружки все были в Доме пионеров, а ещё существовали городские дома культуры, с очень сильными самодеятельными коллективами, где тоже можно было получить вполне профессиональные уроки сценических видов искусств.

В нашем маленьком Камышине была большая детская спортивная школа: лёгкая атлетика, художественная гимнастика, волейбол, баскетбол – и никаких платных отделений! Коммерческая форма обучения детей в советских условиях касалась только музыкальной школы. Но и там плата была мизерная, а многодетным семьям и вовсе предложено было бесплатное образование.

Не существовало и таких видов преподавания, как репетиторство по школьным предметам. Ребёнок плохо усвоил урок – учитель после уроков (без дополнительной оплаты дополнительных часов) растолковывает бесплодному. Если отставание носит хронический характер, к «двоечнику» прикрепляют «отличника» или «хорошиста», который делом чести считает дотянуть лодыря хотя бы до твёрдой тройки.

Но лентящих учиться детей было мало. Каждый знал: за двойки в таблице можно остаться на второй (и даже третий!) год. А это – позор и пренебрежение, то есть заниженная оценка личности в глазах окружающих. В нас ведь культивировали прорастание в значительность, индивидуальность, т.е. в единственную и неповторимую личность. В это сейчас трудно поверить, памятуя, что программа школьного обучения была общая на весь Советский Союз. Но это было! И об этом свидетельствует повзрослевшее (постаревшее уже) талантливое поколение моих сверстников. Не было никаких «профильных» классов, специализированных гимназий, лицеев. Была научно разработанная система образования с жёсткой сеткой оценок знаний, с эффективным методом государственных экзаменов, когда детям при подготовке приходилось по-настоящему учить предмет. Впрочем, ещё фраза-другая – и переключусь на критику нынешнего образования. А это не моя задача.

Ах, как мы относились к учителям! Они были высшими существами. Нас, школьников, нередко приводило в замешательство наличие у них семей или мысль, что они испытывают человеческие потребности... Они знали всё на свете. Их слово было непререкаемым, их отметка была справедливой. Никому в голову не приходило, что преподаватель может быть необъективным. Любимчики, если они и были, никак не выделялись. Из прошлой системы воспитания была унаследована дистанция во взаимоотношениях учителя и ученика.

Надо сказать, что просчёты в школьной подготовке всё-таки были. Но их очень оперативно исправляли, не затягивая пересмотр программ на годы и годы, как, например, современную проблему ЕГЭ. Решило высшее руководство в конце 50-х годов в комплект к аттестату зрелости приложить и свидетельство о приобретённой в школьные годы какой-либо полезной, чаще всего рабочей специальности. Все, кто предпочитал учёбе трудовую деятельность,

после 8-го класса шли на производство. Страна наша жила, активно пульсируя. Заводы, фабрики, цеха, колхозы, совхозы, учреждения – всё наполнялось интенсивной работой, где непрерывно требовались новые кадры. Можно стать рабочим, пройдя короткий путь к мастерству, будучи приставленным на месяц-другой к умелому специалисту. Профессионально-технических училищ (ПТУ) было не особо много в те годы (они проросли позже, в 70-х), и там уже готовили средние руководящие звенья, проще сказать, мастеров.

В 9-й класс шли те, кого тянуло к высшему образованию. Но далеко не все могли сразу после экзаменов поступить в вуз. Недобрав нужных баллов, абитуриенты грустно откладывали свои планы на будущее лето. Год-другой следовало поработать. Вот ради такого случая или иной жизненной ситуации и предусматривалось производственное обучение. Каждая школа заключала договоры с предприятиями, которые в течение трёх лет обязывались терпеливо 2 раза в неделю обучать старшеклассников оговорённым специальностям. В нашей 12-й школе, например, парни проходили практику в пассажирском автохозяйстве, обучаясь шофёрскому делу, а девушки стояли за прилавками магазинов продовольственных и промышленных товаров. Причём первая половина занятий была теоретической. Таким образом, вместо 10-летки мы провели в стенах родных школ один лишний год.

Через несколько лет этот проект показал свою бесполезность. На моей памяти никто из сверстников не воспользовался удостоверениями о приобретённых специальностях. Кто не прошёл по конкурсу в институт, тот нашёл себе работу по душе. Полученная в школе профессия надоела всем ещё в процессе овладения ею. Министерство образования, не откладывая проблему в долгий ящик, отменила и 11-й год обучения, и производственную практику. Тем самым обрекло сразу два выпуска школьников 10-х и 11-х классов на одновременное окончание школы. Случилось это в 1966 году. Мой класс был 11-м. Туго всем нам пришлось в то лето... Однако в высшие и средне-специальные учебные заведения поступили почти все. Школьная подготовка оказалась солидной базой.

Время переоценки событий внутри страны: смерть Сталина, разоблачение культа личности, хрущёвская «оттепель» – всё это мы пропустили без особого внимания по причине малого возраста. Подробности мы узнавали из слегка рассекреченных правительственных документов спустя уже 30–40 лет...

Наша точка отсчёта взросления и осмысления происходящего началась с невероятной силы планетарного события – первого в мире полёта человека в космос 12 апреля 1961 года. То обстоятельство, что им стал наш советский космонавт Юрий Гагарин, вызвало восторг от собственной причастности к удивительному и единственному в мире государству, провозгласившему равенство, отменившему эксплуатацию труда одного человека другим и установившему в своей Конституции такое справедливое решение проблем, что нам начало казаться, что мы, наша страна, так колоссальны и вечны, что можно и потерпеть невозможную теорию коммунизма, снисходя к заигравшимся или запутавшимся теоретикам.

Документальные кадры встречи Гагарина после полёта, где в стихийных толпах эмоции зашкалены до верхней планки ликования, для истории России бесценны не только историчностью момента, но и редчайшими эпизодами всеобщей народной радости, которыми так обеднено человечество, а Россия в частности. Только и было ещё раз. Но мощнее – Победа в Великой Отечественной. Но там радость вперемешку с горем. А здесь – счастье в чистом виде.

Нынче трудно вспомнить и понять причину той нашей массовой радости, слишком много обмана и разочарования пережито народом с тех пор. Больше уже так масштабно и всенародно, наверное, не сумеем..

Но совсем из памяти не уходит ярко вспыхнувшая тогда надежда, что наступила новая эра. И космическая в том числе, но главное – эра справедливой и счастливой жизни. Народ перестал оглядываться, обсуждая политику или экономику или рассказывая в голос анекдоты, созвучные 58-й статье. Поверили в будущее детей.

А дети – это мы, юные шестидесятники. Взахлёб читающие преступный совсем недавно самиздат, если таковой попадался в нашей глубокой провинции, а если нет, то литературу, бережно спрятанную преданными русской литературе тишайшими и законопослушными городскими библиотекарями, а нынче, пока ещё выборочно, полулегально выпущенную на волю их-под-складских замков..

Эта радость освобождения от страха, словно иносказательно выразившаяся в полётах в космос, в бескрайность, совпала с нашим проклёвыванием во взрослую жизнь. Мы тогда не ходили – мы летали. Такое ощущение почти постоянного парения слегка над земной поверхностью... Эта лёгкая эйфория пребывала в наших душах и телах постоянно, и даже физическая усталость не могла её победить.

Работа подпольных идеологов над молодыми душами в 60-х годах подошла к завершающей стадии. Именно нам больше всех было падать в 90-х. Прямо в наших душах, не запомнивших тяжёлых годов послевоенного выживания, как на чистом листе бумаги нарисовали птицу счастья и сказали: летите. Мы и полетели, почти вслепую, ничего уже не видя за крыльями обещаний.

70-десятники, раздражаясь от нахлынувшей аллергии, уже не могли следовать за нами. Они нас слегка не любили. Потому что их бездумно пичкали мерзостью: химией на полях, детскими яслями и садами с чужими и бездушными воспитательницами, пустыми к тому времени речами правителей, крестьянским беспаспортным рабством, очередями, дефицитом и запретами на всё. Это у них там, в 70-х цензура проторно гуляла по рукописям, как Пушкину не снилось, выдавливая лучших за границы территории государства. Мы жалели детей и с ужасом взирали на происходящее. Не умея им помочь. За десять-пятнадцать лет нас превратили в беззубых идеалистов.

80-десятники и иже с ними уже вообще не поддаются нашему пониманию. Мы с ними словно с разных планет.

А я опять, как заезженная пластинка, возвращаюсь к нашему яркому времени ранней юности. Как мы проводили свободное время и каким оно было? Самая большая разница между нами и молодыми 21-го века – взгляд на коллектив. Поколение моих внуков – индивидуалисты. Это им подарок за страсти к компьютерам и телефонам. Подарок от врага рода человеческого – себялюбия. Недавно наблюдала такую сцену. Пока ещё не пара, это чувствуется, но уже прибитые друг к другу интересом, совсем юные, лет по 16, сидят в автобусе, смотрят внимательно каждый в свой телефон и по очереди посмеиваются. Вглядываясь в непонятные мне их реакции, сообразила наконец: это они, прижавшись плечом к плечу, переписываются. Автобус полупустой, говори о чём хочешь – никто не услышит, а они не умеют. Им удобней вот так, эсэмэсками, восхищаясь собственным умом и его остротой... Несчастные дети..

У нас уроки шли во вторую смену, с утра – младшие классы, 7–8 уроков в день, к вечеру голова, набитая знаниями, уже требовала отдыха. Голодные – в этом возрасте кто когда был сыт, а буфет для старшеклассников не предусматривался, – мы хохочущей толпой покидали школьный двор.

Некоторое время шли все вместе, растекались незаметно по своим улицам, но расставание это было неохотным. Нам хорошо было всем вместе. При любом состоянии организма. Потому и праздники, и выходные проводили всем классом. Или своей компанией. Или хотя бы в толпе.

Такая отличительная особенность была у шестидесятников-провинциалов... Город моей юности – Камышин владел потрясающе притягательными местами для стихийных народных гуляний: городской парк и центральные улицы – Пролетарская, Советская, Октябрьская. Это для больших гуляний – вечерних, воскресных. А для дневных групповых – питомник.

Слово «питомник» для горожан имеет особое значение. По территории города проходила граница зоны полупустыни, и каждодневные сухие ветра мучили людей острыми и сильными ударами песка в лица. Мы ходили практически вслепую, едва приоткрывая глаза. Несмотря на близость большой и малой рек, летнюю жару у нас называли пеклом.

Поэтому городские власти ещё в дореволюционное время постановили заложить на южной стороне Камышина питомник деревьев – лёгкие города. Вскоре он уже занимал огромную территорию и выглядел как настоящий лес. Но ему трудно было выживать в условиях, близких к катастрофическим, потому и требовал постоянной человеческой помощи. Мудрость городского правительства всех ступеней состояла в том, что оно совместило эту помощь с охраной здоровья города и с воспитанием трудовых навыков школьников. Быть может, в этой программе была ещё предусмотрена цель воспитания любви к малой родине. Все направления были выполнены наилучшим образом. Камышане всех поколений преданы своему городу. Куда бы нас жизнь потом ни поселила, Камышин остаётся в сердцах самым любимым местом на карте мира, а питомник – собственноручным творением. Но это лирическое отступление.

В расписание занятий всех школьников Советского Союза были помещены обязательные ОПТ – уроки общественно полезного труда. Два раза в неделю мы проводили эти занятия на улицах: подметали, красили, копали, сгребали листья, а главное – сажали молодые деревца. Нынешняя молодёжь родного Камышина, видите, как зелен наш город? Это мы в отрочестве его таким делали!

Работы в питомнике там были самыми разнообразными: от переборки семян до ухода за молодняком. Вот и вырастили свою часть пригородного леса, как это делали и до нас, и после.

Поэтому, полагая питомник своим личным подшефным местом, не нанеся никакого, Боже упаси, ущерба, по воскресеньям всем классом, уже без учителей, отправлялись туда зимой с лыжами, а в остальные времена года – с мячом. Это было обычным досугом. Да и кому не хотелось погулять по лесной красоте? Мы, юные и беззаботные, шумной толпой бродили, смеясь и рассуждая на все доступные лады...

Наша заряженная юностью энергия не имела усталости. После похода в питомник, выполнив дома обычные родительские поручения, по воскресным вечерам молодой народ отправлялся гулять в парк. Он в Камышине небольшой. Всего одна аллея для гуляния, правда, широкая и извилистая. Деревья, старые, густые и красивые, с обеих сторон обрамляли эту поспанную мелким гравием дорожку. Она шла от ворот парка, огибала старинный фонтан, минуя летнюю эстраду и лавочки для немногочисленных зрителей, слегка растекалась около симметрично расположенных гипсовых скульптур в виде групп людей с отрезами тканей, смотрящих вдаль, вела дальше, к танцевальной веранде, и обратно.

Камышин очень резко разделён пополам Камышинкой, но и не только ею. Четыре громадные, даже по меркам прошлой страны, ткацкие фабрики выстроены были на левом берегу этой речки. Грандиозные масштабы производства потребовали и огромных человеческих ресурсов. Со всей страны к текстильному комбинату стали съезжаться из малых городов и деревень СССР девушки, прослышавшие об общежитиях для ткачих, а также о наличии в городе военного училища.

В этой новой половине города построили и свой кинотеатр, и свой дворец культуры, и посадили свой пока хлипкий парк, но девушки всего комбината предпочитали для прогулок старый город, куда выходили и курсанты. Девушек было раз в десять больше, они все были молоды, красивы, и у будущих военных глаза разбегались в разные стороны. Но, надо сказать, как ни сильны были соблазны, выпускники-лейтенанты предпочитали отправляться к своему первому месту службы с жёнами – выпускницами медучилища. В городе тогда было три училища: это военно-строительное, медучилище и так называемый «ТЕХМЕХ», по меркам следующего десятилетия – ПТУ с сельскохозяйственным набором специальностей.

Потому что население Камышина было большей частью молодым, а парк маленьким, по прогулочной аллее все ходили шеренгами шириной в аллею, то есть очень плотно. Шли «под ручку» по парковому кольцу, глаза на поток, идущий в обратном направлении. Найти своих знакомых в огромном людской реке было непросто. Но никому в голову не приходило оставить это бесполезное закольцованное движение. Оно служило эрзацем зрелищ и эмоций того, что пришло вскоре уже ко всему человечеству – телевидения.

В провинции 60-х телевидения не было. Да и в областных городах тоже далеко не сразу в квартирах появились «Рекорды» и «КВНы». Мне было лет 9, когда, приехав в гости в Волгоград, увидела впервые это чудо технического прогресса. А вместе с ним и второе чудное обстоятельство, которое уже ни при каких условиях нынче не встретишь: к вечеру в комнату моих родственников без стука, без каких-либо особых извинений начали заходить соседи не только из этого дома, но и из соседних. (Правда, все они, дома эти, были одноэтажными, но многоквартирными, а многоквартирными, назывались Жактовскими и зачастую территориально объединялись общим забором.) У каждого в руках – стул. Соседи рассаживались напротив телевизора, хозяйка почти торжественно включала волшебный ящик – и на его экране появлялась серо-бело-чёрная замысловатая геометрия. Это заставка такая была в годы советского телевидения. Потом возникала Светлана Жильцова – одна из первых дикторов того времени. Её облик, костюм, причёска – все впитывалось с жадным любопытством соседками (на следующий день подробно обсудится и возьмётся на вооружение). Диктор озвучивала программу вечерних передач, куда обязательно входили и новости страны, и научно-познавательные короткометражки, и, наконец, художественный фильм. Односерийный. (О сериалах тогда и слухом не слышали!) Только по его окончании, затемно все тихонько расходились по своим жилищам... Люди готовы были смотреть абсолютно все передачи: научно-познавательные, информационно-политические, сельскохозяйственные... Такая магия исходила из этого ящика! Казалось, что это – дверца в удивительный, незнакомый, затягивающий мир, и держат её открытой специально для каждого...

Следует хоть коротко написать о нашем скудном быте, о старых, потрёпанных временем предметах этого быта. Старых потому, что никто ничего нового в свои жилища не приобретал, кроме особых случаев необходимой замены. Всё буквально было ветхим: столы, табуретки, шкафы, стулья,

комоды, кухонная утварь, инвентарь... Никого это не смущало, потому что к этим вещам отношение было узкопотребительское. Бедность не позволяла мыслям о красоте интерьеров бесполезно заводитьсь в головах. Именно скудость жилищных средств помогала нашим матерям создавать в доме уют с фантазией, ограниченной эстетикой и доступными средствами. Вязанные крючком кружевные скатерти на обшарпанные столы, крахмальные салфетки на убогие тумбочки, картинки из журналов в самодельных рамках на стены, накидки на подушки, вышивки по всем свободным пространствам стен и мебели, копеечные вазочки для живых и бумажных цветов или крашенных перьев... Некоторые рукодельницы из обычных поздравительных открыток шивали особым швом затейливые шкатулки для разной домашней мелочи. Ветхие, уже не пригодные к носке платья или бельё рвались на тонкие верёвки, и из них крючком вязали круглые коврики, очень нужные и удобные вещи в домах с печным отоплением. Газ по домам провели в следующем десятилетии. Поэтому в каждом дворе были сараи с заготовками дров и угля. Каждый год эти заготовки для семей были большой и выматывающей проблемой, после сложного решения которой появлялось чувство огромного облегчения... Печь как образ домашнего уюта поэтично воспринимается с экранов только людьми, не знавшими забот по обслуживанию этих «очагов». Одно только невероятно сложное и трудоёмкое дело выгребания остывшего, спёкшегося угля по утрам в кровь разбивало пальцы рук... Днём печь топится. А на ночь вытяжку надо открывать, иначе до смерти угорят все. Зимы были лютые. Нередко и до 40-градусных морозов доходило. За ночь в домах выстуживало так, что коврик на ледяном полу у кровати оказывался не лишней деталью.

Небогатая наша прошлая жизнь складывалась из того, что предлагалось торговлей. Это сейчас, находясь в XXI веке, мы определяем товарный ассортимент тех лет как скудный. А тогда всё казалось нормой. Конечно, были времена неурожайные, а может, не всё и не всегда умело охватывалось планами пятилеток. В такие годы прилавки выглядели скудно, но это ни в какое сравнение не идёт с голодными годами горбачёвского и ельцинского правлений. Вот когда продуктовые магазины по-настоящему были пустыми, полки голыми, а люди голодными.

Ну да, конфеты «Пилот» или «Чио-чио-сан», или «Весна» 60-х годов были каменными, потому что их мало покупали из-за дороговизны (3 рубля 50 копеек), так как кислая начинка была покрыта слоем натурального шоколада. Зато слипшиеся «Подушечки» и так называемая «Молочная плитка», карамельки «Лимонные», «Фруктово-ягодный букет» были дешёвы, а главное – необыкновенно вкусны... Пряники «Мятные», печенье «К чаю», «Юбилейное» – можно вспомнить совсем не малый ассортимент кондитерских изделий...

Необходимые продукты были всегда: мука, макаронные изделия, крупы, соль, сахар, масла растительные (подсолнечное, горчичное) и животные, сало и маргарины, тогда очень популярные в домашнем обиходе. Надо сказать, химии тогда в продуктах не было, её для еды ещё не изобрели, но существовали ГОСТы – государственные стандарты товаров, нарушение которых специалистам грозило тюрьмой и конфискацией имущества. ГОСТы эти были жёсткими не только в соблюдении процентных составляющих продукта, но и цен. Цены были едиными на всей территории СССР, за исключением районов Крайнего Севера!

И ХЛЕБ! Ах, какой это был хлеб! Его очень трудно было донести домой целым, не обкусав по краям, такой он был ароматный и вкусный! Даже сыто-

му человеку было не устоять! Больше уж никогда такого не было. Потому что зерно не то. Его теперь на изуродованных полях выращивают. Его селекциями измучили, забыв сохранить образец...

Впрочем, эта беда произошла теперь со всеми продуктами. Камышин с дальних времён – территория необыкновенно сахарных и сочных арбузов. Была. Сейчас их тоже выращивают, изменив Богом данную сущность. Нынче арбузы должны иметь в первую очередь не вкус, а товарный вид, климатическую и транспортную выносливость...

Но вернусь к продуктовому обеспечению. Да, в магазинах, которые только-только начали называть новеньким словом «Гастроном», в мясных отделах почти никогда не было мяса. Говядину и свинину покупали на рынке: была разрешена частная и совхозная продажа мяса, овощей, молочных продуктов. Ну не справлялось государство, узаконившее торговлю вообще делом государственным, с проблемами питания в огромной стране. Некоторые политики-историки полагают: если бы вопросы снабжения народа решал сам народ в своих хозяйствах, коммунистическая власть, возможно, сохранилась бы доныне... Им, конечно, видней, но, полагаю, случись такое сразу после НЭПа, Советы не продержались бы и пятилетки...

А какие были колбасы! «Докторская», «Отдельная», «Любительская» – это варёные. Их рецепт утрачен, потому что свинина и телятина как значительная составляющая часть почти полностью вытеснены заменителями, сбрызнутыми ароматизаторами. Твердо- и сырокопчёные – «Краковская», «Полтавская», «Армавирская» – невероятно вкусные и дорогие (Зрубля 80 копеек), были исключительно из сырого копчёного или вяленого мяса и кусочков сала. Нас, девяти-, одиннадцатиклассниц, приходивших два раза в неделю в продуктовые магазины на производственную практику, заведующие гастрономическими отделами отправляли в подсобное помещение, давали в руки тряпки, пропитанные подсолнечным маслом. Мы протирали батонны твёрдых колбас, удаляя с их поверхностей белую плесень. Говорят, она совершенно безвредна для организма, но вид давно уже лежалого товара портила.

А из твёрдых сыров имелись лишь «Голландский», «Костромской» и «Российский». Их тоже не жаловали за дороговизну, предпочитая плавленые сырки «Дружба» и «Городской». В пресловутую брежневскую эпоху они производились из натурального молока.

Надо сказать, реклама в оформлении витрин была либо примитивна, либо вообще отсутствовала. В застеклённых прилавках продукты в ассортименте помещали в небольшие ёмкости или просто выкладывали на жестяные подносы, снабжая самодельными ценниками. В некоторых существовавших ещё с дореволюционных времён магазинах позади продавцов в верхней части стен тянулись полки, заставленные всё теми же стеклянными посудинами с образцами товара, а в нижней – находились глубокие лари для хранения этого товара. Очереди в продуктовых магазинах были неизбежным обстоятельством, потому что каждый покупатель обслуживался индивидуально, причём дважды отстояв сначала в кассу за чеком на выбранный товар, а после – к прилавку за самим товаром, который нужно было ещё и взвесить. Оконные витрины в продуктовых магазинах заполнялись муляжами только в больших «Гастрономах», да и то лишь в областных городах. А в нашей провинциальной торговле окна как выставки использовались только в так называемых магазинах промтоваров.

Бедные времена помнят слово «толкучка». У толкучки были разные варианты названий в зависимости от места существования. Например, столичные

«блошинные рынки». Камышинская «толкучка» – это территория городского базара, за исключением специализированных павильонов (молоко, мясо) и овощных рядов, в воскресные дни предельно заполненная частной торговлей. Длинными змеями, во множестве рядов расположенными, извивалась по утоптанному полю тогдашняя «комиссионка». Каждый камышанин, углядевший в своём домашнем хозяйстве ненужную вещь, зачастую просто хлам, нёс её в базарный день на «толкучку». На земле, плотно к соседней, расстилалась тряпка, символизирующая занятую территорию, на неё выкладывалось всё, что может пригодиться другим. Хозяин товара никому ничего не навязывал. Он просто стоял перед своей «торговой точкой» и отвечал на вопросы о продаваемом предмете.

Ах, какие раритеты можно было увидеть на базаре! Нет, художественных произведений на толкучку не выносили, но старинная эпоха со своими стилями и пристрастиями, со своей культурой, слегка стесняясь вынужденной этой демонстрации, загадочно притягивала и впечатляла... Пластинки с шипящими записями Шаляпина, Паниной, Неждановой, Пирогова продавались в старых рваных конвертах за 5 копеек, тусклые брошки с частично утраченными камушками, камей с изображениями непонятно чьих профилей, явно укороченные временем нитки бус, скукоженные ридикюльчики, обшарпанные расписные шкатулочки, дешёвые перстенёчки... А рядом старые подшитые валенки, ржавые инструменты, платки лёгкие и шерстяные, клетчатые, с кистями, в цветах... Пуговицы в коробке из-под чая разномастные и облезлые, состриженные со старой одежды; ссохшиеся туфельки, модные лет 100 назад, юбки, платья из незнакомых уже тканей, резко отдающие нафталином, подстаканники из никому тогда не интересного и почерневшего серебра, одиночные ложки и вилки, костюмы, пальто непонятно какого времени и фасона – всё это регулярно выносилось на продажу, значит, всё это и покупалось. Нам, юным и заносчивым, ничего этого не было нужно, но сила молодого любопытства гнала по воскресным утрам на толкучку, невзирая ни на какие морозы.

Любоваться в Камышине было на что. Архитектура! Я уже говорила, в те времена асфальтом были покрыты в городе только центральные дороги и тротуары. Да и тот был разбитым, состоящим из островков между пылью и песком. Осенью вода была по щиколотку. Иногда на Октябрьской выкладывали дощатые тротуары, но они были неудобными, раскачивались под ногами, угрожая проломиться под тобой и окатить грязью до макушки. Мы предпочитали резвыми скачками перемещаться по выступающим пяткам асфальта. Это было похоже на спортивные состязания: немного рискованно, немного весело, и никогда не знаешь, чем закончится...

Камышин, сохранивший свой облик на целое столетие, демонстрировал нам, ещё неискушённым экскурсантам, лучшие образцы русской городской провинциальной архитектуры. Послевоенная бедность страны сыграла положительную роль в консервации особняков в своём первоначальном виде. Центр застраивался в 19 веке, скорее всего по общему, весьма талантливому проекту. Здания в два этажа гармонично переключались друг с другом в стиле, декоре. Не было ни одного фасада, повторявшего своим оформлением стены соседних домов. Уникальные объёмы, гнутые линии и шпили кровель, чешуйчатые или шахматные покрытия обязательного тёмного цвета над обязательно белыми стенами зданий – всё это на фоне красоты в любую погоду камышинского неба давало эффект изысканности. Дореволюционные владельцы этих строений, будучи по большей части купцами, видимо, перед началом строительства своего жилища успевали приобрести художественный

вкус, вразрез идущий с сутью профессионального и социального стремления этого сословия выделиться. Их особняки, составившие центр города, неброскими своими индивидуальными особенностями и соподчинялись друг другу, и гармонично противостояли соседям в своей неповторимости.

И совсем немного – о транспорте. В нашем маленьком городе было целых два автопредприятия – ПТХА (пассажирско-транспортное) и колонна 15/14. У каждого – свой небогатый парк машин, свои сферы обслуживания. Городские автобусы (ЗИС-154, а чуть позже – львовские ЛАЗы) просто раздувались в боках, когда перевозили горожан к их местам работы. Большая часть населения трудилась на хлопчатобумажном комбинате, состоявшем из четырёх огромных текстильных фабрик, вокруг которых по левому берегу Камышинки образовалась вторая половина города. Пешком не дойдёшь, а транспорт того времени приходилось брать штурмом. Хорошо было тем, кто жил недалеко от конечных остановок автобусов. В общем, городского транспорта очень сильно не хватало во все годы советской власти. И в столицах, и в провинции.

Труженики-грузовики ГАЗ-51, чаще всего полуторки, в основном работали на сельское хозяйство Камышинского района, а такси в виде «побед», «москвичей» и «волг» (ГАЗ-21) вообще редко посещали тихие наши улицы. Частных автомобилей были единицы, поэтому мы, молодёжь, беспрепятственно пересекали дороги в любом месте в любое время, а уж к вечеру, возвращаясь с учёбы домой, предпочитали середину дороги, словно набирая разбег для будущих жизненных вершин...

В той беззаботной поре наши неспешные марши после уроков проходили в направлении запада: школы – в восточной части города, а родные дома – это там, где небо с землёй сходится в небывалой больше нигде красоте. Городок наш в дневное время с ветрами всегда дружит, но к вечеру все они затихают с неперменным обещанием утром возобновить свои игры. Само обещание выглядит то тёмно-розовым, то нежно-красным разливом облаков на горизонте, с золотым контуром по причудливым краям. Налюбоваться досыта этой красотой невозможно. Эти шири и дали открытого на весь купол камышинского неба словно вливали в нас надежду, что всё у каждого из нас сложится как мечтается! Какими были наивными и доверчивыми! Открытые, охотно готовые к шутке, в ссорах отходчивые, в уважении к достойным почтительные, в горе и радости естественно-эмоциональные, с реакциями любимых родителями детей... Эта характеристика не от ностальгии, ретуширующей истину. Собственно, все жители тех лет были такими. И пролетарии с крестьянством обитали хоть и небогато, но бестревожно. Память это тоже сохранила.



Светлана
ДУРНОВА

«МАЙ ОДЕЛ ТОПОЛЯ В СЕРЕБРО...»

*К 110-летию со дня рождения
саратовского поэта Бориса Озёрного.*

...Из всех времён года он больше всего любил весну.

*Люблю я март!
В дыханье строгом,
Прорвавшись вдруг через метель,
Он к нам является итогом
Больших и малых зимних дел.
Шумит в лесу,
Поёт у лога,
Гудит у рек, ломая льды...
И остаётся так немного
До первой влажной борозды.*

Рождённый в марте 1911 года (12-го числа по старому стилю, 25-го – по новому) Борис Фёдорович Дурнов-Озёрный после окончания Великой Отечественной войны сроднился ещё с одним заветным весенним днём – 2 мая. Именно 2 мая родные и самые близкие друзья поздравляли его с днём рождения. Надо сказать, что этот поэтический миф сразу укоренился. «*И бои я помню, как начало новой биографии своей*», – писал Б. Озёрный в одном из стихотворений военного цикла. А новая биография предполагает и новую дату рождения. Это, во-первых. Но были в биографической истории поэта и «во-вторых», и «в-третьих», и «в-четвёртых», определивших его выбор, его отсчёт времени.

2 мая – составная часть советского Первомая, лозунги которого – Весна, Мир, Труд, Дружба народов – одухотворяли своеобразный ритм послевоенной жизни Бориса Озёрного. Возглав-

-
- Светлана Борисовна Дурнова – член Союза журналистов России. Главная тема её публикаций – жизнь и творчество саратовских писателей 1940–1950-х годов (составление сборника «Родине. Саратовские писатели-фронтовики о войне», 2015), в том числе саратовского поэта-фронтовика Б. Ф. Озёрного: многочисленные публикации в журнале «Волга–XXI век» (2011–2019 гг.), составление сборника к столетию со дня рождения поэта «Избранная лирика» (2011), издание книги «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне» (2020), посвящённой 75-летию Великой Победы.

ля писательскую организацию Саратова в 1945–1947 и в 1951–1957 гг., он многое делает для её развития, помогает становлению новых имён, переводит на русский язык стихи своих друзей – азербайджанских, калмыцких, белорусских, грузинских поэтов. Активно участвует в Днях советской национальной литературы, проводимых в разных городах Саратовской области и страны. Чаще всего эти встречи проходили именно в мае. А за Первомайскими праздниками следовали не менее дорогие для него День печати и День радио. К ним Борис Фёдорович Озёрный тоже имел непосредственное отношение. До войны он активно сотрудничал с саратовскими молодёжными газетами «Сталинские ребята», «Молодой сталинец» и «Комсомолец», работал редактором детских передач на Саратовском облрадио. Именно отсюда он ушёл добровольцем на фронт – в составе Саратовского отдельного батальона политработников.

Политуправлением Калининского фронта был послан в редакцию красноармейской газеты «Вперёд за Родину» (об этом периоде его жизни я писала недавно в журнале «Волга–XXI век», № 5–6 2020 – «Победа будет за нами!»).

И, наконец, венчает торжественную эстафету майских праздников 9 Мая – День Победы, главный день всех красных дней календаря страны.

*Была весна.
В садах цвела сирень.
И я запомнил
В тот весенний день
Всё торжество
Победного конца.
На крыльях радости
Неслась над миром весть
В далёкие моря и океаны.
Все слушали в то утро
Левитана,
По-воински отдав Солдату
Честь!
Конец войне!*

Многие стихи Бориса Озёрного из цикла «Письма с фронта» проникнуты гордостью солдата-победителя, радостью Великой Победы, рождения нового, созидательного дня. В 1944 году на фронте Борис Фёдорович тяжело заболел, лечился в военном санатории, а затем в госпитале в Иванове. «Вчера осматривал меня авторитетный профессор, – сообщал Б. Ф. Озёрный в письме к матери и жене 30 июля 1944 г. – С лёгкими дело стало обстоять лучше, но горло продолжает болеть по-прежнему. Дней через 10 профессор будет делать операцию. Обещает, что через 3–4 недели горло он поправит. Я верю и ему, и в него, т.к. он, особенно в области горла, творит чудеса». Операция прошла успешно, но предстояла ещё одна по возвращении из Иванова в Саратов. Надо ли говорить, как изматывала его эта болезнь. Особенно тяжело переносил он март, когда природа не помогала, а только обостряла все его недомогания. Но наступал май, и поэт забывал про болезни, да и они отступали.

Спасала Волга, его Муза, его любимая река. Она высвобождалась ото льда, ласково звала на свои просторы. Сколько нежных, трепетных стихотворений посвятил ей поэт!

*В предвечернем дымчатом просторе
Дышат липы, шелестя листвою.
Расцветают огненные зори
Над раздольной песенной рекою.*

*Выйдешь в сад – встречает сад приветом,
Манит вдаль прохладой бурный стрележень,
И усыпан берег мягким цветом,
Вешним цветом вишен и черешен.*

Борис Озёрный был ещё и заядлым рыбаком. И когда в мае готовил свою лодку-моторку к скорому путешествию по Волге, вдыхая весенний ветер, полный ласковой неги и радостной надежды, он оживал в предвкушении новых рыбалок и ночёвок у костра, встреч с друзьями-волгарами.

*Хорошо в такую пору встать
У воды и малость помечтать,
Посмотреть с высокого обрыва,
Как в ярах в сиянье огнемом
Проплывают мимо круч изриво
Звёзды, словно рыбы, косяком.*

«Простой пейзаж с рекой и облаками» – любимая тема поэта на отдыхе. Здесь, на берегу реки, «в затоне, окаймлённом тальником», было о чём подумать, о чём помечтать.

*Кругом покой – ни шороха, ни звука,
Маячит бледный месяц за рекой,
Горит костёр, и пахнут ветры юга
Весенним чабрецом и резедой.*

А как по-разному, глубоко и многообразно определяет поэт саму Волгу. Она у него «раздольная» и «песенная», «великая» и «родная». Она – «красавица», и деревья по берегам её разливов – будто живые. Вот, например, в стихотворении «Из последнего рейса» плывёт лирический герой с рыбаками на баркасе и видит такую картину:

*И рябины, как женщины,
Долго нам машут платками,
И берёзы бегут
На последний,
Прощальный гудок.*

Некоторые его строки из стихов о Волге звучат как афоризмы: «Если жизнь наша – песня, то здесь этой песни начало...», «Ой, любви, ой, дороги волжские плёсы», «Не уедешь с Волги, не уйдёшь», «Не могу от Волги оторваться – я привык к певучим берегам», «Волга – сторона моя родная» – и много ещё других строф – точных, тонких, запоминающихся.

Под впечатлением от упоительного созерцания красоты и величия любимой реки, от незабываемых встреч поэта с волгарами-рыбаками, плотогонами, речниками, от рыбалок, которыми он был увлечён всерьёз и надолго, рождались его стихи. В 1951 году он даже написал занимательную «Книгу

хорошего улова», ставшую отличным пособием для начинающих любителей-рыболовов.

«Желание написать книгу о Волге, её фауне и любительских способах ловли рыбы зародилось у меня на рыбалках. Ловля удочкой доставляет неповторимое удовольствие. Нигде человек не может отдохнуть так хорошо, как на рыбалке. Утренние зори, чудесные пейзажи, пенье птиц, чёрные августовские ночи, отражение звёзд в потемневшей реке, отблеск костра, а у костра рассказы бывалых людей – особенно интересны и памятны», – этими словами открывал автор «Книгу хорошего улова», своеобразную поэму в прозе о ловле рыбы на «старой Волге».

Борис Озёрный – проникновенный лирик по складу своей души, по самой строчечной сути. Его лучшие стихи отличают откровенность, теплота, искренняя поэтическая интонация, прозрачность словесного рисунка – такую профессиональную оценку стихам Бориса Озёрного даёт доктор филологических наук, профессор СГУ Александр Иванович Ванюков. И он же отмечает: *«Но лирическая природа поэтического творчества Озёрного – понятие не отвлечённое, не статичное, а живое, динамичное, развивающееся явление».*

В мае 1958 года ничто не предвещало беды. Напротив, Борис Фёдорович Озёрный в составе саратовской делегации встречает Первомай на Красной площади. В стихотворении «Москва видна издалека» он писал:

*Я жил в Баку, в горах Тибета,
Я много ездил по стране,
А столичный город вечным светом
Путь озарял повсюду мне.*

*И вот посланником народа,
С друзьями радости деля,
Май пятьдесят восьмого года
Встречаю, стоя у Кремля.*

*Живой поток передо мною
Под сенью праздничных знамён –
И цвет садов, и шум прибоя,
И зори – в шестви колонн...*

Цвет садов, шум прибоя, волжские зори, рассветы, закаты – всё это померкнет, исчезнет для него как-то неожиданно, сразу и навсегда в октябре того же воспетою им 1958 года.

Остались книги его стихов: «Рубежи», «У крутых берегов», «Волга – песня моя», «За ветрами быстрокрыльми», «Звёзды светят в пути», «Новый день», «Голосом сердца», «Иришкина книжка», изданные в Саратове, Астрахани, Москве. В 2011 году в Саратове выходит книга стихов Бориса Озёрного «Избранная лирика» – к 100-летию со дня его рождения. Совсем недавно, в мае 2020-го, – «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне», приуроченная к 75-летию Великой Победы.

И вот ещё что: в краеведческой литературе о Борисе Фёдоровиче Озёрном прочно укоренились две даты дня его рождения: 25 марта¹ и 2 мая 1911 года. Ну что ж! Значит, так тому и быть...

¹ На обложке журнала опубликована репродукция картины Бориса Боброва «Март», подаренная Борису Озёрному в 1951 году, в день сорокалетия поэта.

*Кто-то стукнул тихонько в окно...
«Кто?» – спросил я. В ответ мне – ни слова.
Посмотрю за окошко – темно,
А как сяду за стол, кто-то снова
Начинает стучаться в окно.*

*Я не знаю совсем, кто бы мог
В поздний час беспокоить людей –
Может, путник в дороге продрог
И свернул, увидав огонёк,
Может быть, кто-нибудь из друзей?*

*Выхожу. Никого. Тишина.
В Волге плещется звёзд отраженье.
Догадался: ведь это весна
Барабанит мне в створки окна
Расцветающей веткой сирени.*

*Май одел тополя в серебро,
Ветер гонит унынье и скуку.
Что ж, бросай под скамейку перо,
Новый день на повестке бюро,
Подчиняйся весеннему стуку!*

*И айда из квартиры! Пора
На простор!
В полный взмах!
Что есть мочи!
Ой, добро – паруса под ветра,
Ой, добро – коротать у костра
Беспокойные синие ночи.*



**Виктор
ПОДРЕЗОВ**

ВОЛЖСКИЙ УТЁС

«Стелющейся походкой крадущегося барса на арену выходит Иван Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского», – примерно так описывали журналисты выход атлета, обладателя грозной силы. Это о его мышцах писал известный художник Николай Кравченко: «...гармоничная мускулатура, не искусственно выработанная, а данная Матерью-природой. Мускулатура хищного зверя – упругая, эластичная, стальная. Это Заикин».

За его кошачью, мягкую походку и манеру выходить на арену в Америке его называли «Волжский тигр» и «Волжский лев», в Европе – «Русский медведь» и «Русский Самсон». Затем, когда узнали получше, афишировали как самого сильного человека на земном шаре. Окончательный отзыв зарубежной прессы: «Заикин – это Шаляпин русских мускулов!». За Иваном Заикиным закрепился артистический псевдоним «Король железа».

А в России арбитрам воздуха не хватало, чтобы выговорить полностью весь его рекламный титул. «Краса и гордость русского спорта, волжский богатырь, непобедимый борец, чемпион мира, король железа, капитан Воздушного флота – Иван Заикин!» Звание капитана Воздушного флота было официально ему присвоено «за заслуги в развитии авиации и выдающиеся полёты».

А сам Иван Михайлович лукаво посмеивался: «Я простой русский мужик, бурлак Иван с Волги». И действительно он был потомственным бурлаком – бурлаками были его отец и дед. Его отца, Михаила Зиновьевича, уважительно называли «усилок, старшина», был он знаменитым на Волге кулачным бойцом, не знавшим соперников.

С молодых ногтей Иван Михайлович развивал свою мускулатуру. Но не гантельной гимнастикой в атлетических кабинетах. С ранних лет хлебнул горя – спасаясь от нужды и голода, был поводырём слепого, работал сначала подпаском, затем пастухом. Словно чёрная тень висела над ним и преследовала неотступно. Так уж сложилось, что с самого детства его жизнь поневоле была непрерывной игрой со смертью, которая сторожила его

-
- Подрезов Виктор Фёдорович родился в 1948 году в селе Отрадное Таврического района Восточно-Казахстанской области. Автор публикаций по истории атлетики и силовых видов спорта не только в местной и республиканской прессе: «Sport-KZ», «PROСпорт», «Караван-Регион», журнале «Нива», но и в российских изданиях: «Тюменская правда», журнале «Спортивная жизнь России», «Алтай», альманахах «Богатыри», «Братина», «Сихотэ-Алинь». Всего свыше 150 публикаций. Член Союза писателей России, член ВКО литобъединения «Звено Алтая».

не спуская глаз. Из четырнадцати детей знаменитого на Волге кулачного бойца в живых осталось только двое: Иван и его сестра. Все остальные стали жертвами эпидемий, нужды и голода.

С пятнадцати лет Иван работал лодочником на перевозе через реку Самару. Работая вёслами, отлично развив свою мускулатуру, и отец взял его в артель грузчиков. И пошёл Иван грузить баржи и пароходы на всех волжских пристанях. Тянул бурлацкую ямку в низовьях Волги. Тяжело приходилось – трещали от натуги спина и ноги, но сила его росла не по дням, а по часам. Иногда развлекались по праздникам бурлаки и крючники борьбой на поясах или «в обхват».

Скоро никто не мог выстоять против Ивана. Семнадцатилетним паренёком его вытолкнули грузчики на арену против опытного профессионального борца Снежкина. Поднатужился Иван, поднял Снежкина и бросил на обе лопатки.

Такой талант невозможно было не заметить. Купец К. И. Меркурьев (у разных авторов он то нефтепромышленник, то пароходчик) содержал в Царицыне тяжёлоатлетическую арену. Он и предложил Ивану поступить к нему в контору сторожем и рассыльным, зато Иван с 1902 года бесплатно обучался борьбе и атлетике у опытных тренеров.

В 1904 году на арене Атлетического общества в Петербурге Заикин становится чемпионом России в поднятии тяжестей среди любителей. Завоёвана первая золотая медаль. По этому случаю на доске объявлений конторы Меркурьева появилось распоряжение: «Впредь рассыльного Ваньку именовать Иваном Михайловичем».

Заикину исполнилось 24 года, в нём ждёт своего часа не разбуженная ещё сила. Но опытные атлеты уже обратили на него своё внимание. Его познакомили с Поддубным, который ищет себе партнёра для тренировок. Заикин становится его учеником и напарником. «Он изрядно наломал мне бока, но эта наука не прошла даром», – вспоминал он позже. За короткое время Заикин делает огромные успехи в борьбе, став борцом высокого класса. Поддубный предсказывает ему большое будущее и напутствует на самостоятельные выступления в качестве профессионала.

С 1905 года Заикин выступает как атлет и борец, заключив в Нижнем Новгороде выгодный контракт с Никитиным сроком на шесть лет. Всю свою жизнь он с благодарностью вспоминал Акима Александровича: «Цирк Никитина сделал из меня всесторонне развитого тяжелоатлета, а не просто борца, знающего только одно дело – борьбу». Силовые номера в исполнении Заикина имели громадный успех, занимая порою половину цирковой программы. Поразительно – он доводил публику до неистовства, казалось бы, самыми грубыми аттракционами brutальной атлетики.



Иван Михайлович Заикин

«Цирк того и гляди рухнет от аплодисментов, крика, восторженного топанья ног. На улице нельзя показаться. На каждом шагу кланяются мне почитатели. Голова кружится от успеха. Мне кажется, что не только люди, но и дома кивают крышами, когда я иду». (Заикин. «На арене и в воздухе»).

Возможно, секрет его ошеломляющего успеха раскроют театральные и цирковые рецензенты того времени. «...Он настоящий, подлинный артист, а не только волжский богатырь, сильный и могучий. Ему так же необходимо вдохновение, как артисту, который на сцене творит образ... Из довольно грубого искусства борьбы он создаёт эстетическое зрелище».

В 1905 году в московском летнем саду «Аквариум» состоялся большой чемпионат. Заикин проиграл Поддубному, победил немцев Гебере, Нацке, Нечке, чемпиона Америки Хенглера за шесть минут. Сделал две ничьих с очень серьёзными противниками – французским чемпионом Эмилем Верве и победителем парижского чемпионата мира 1900 года Лораном Бокеруа.

А через год в Ростове Заикин побеждает и Лорана Бокеруа, и чемпиона Европы сербского гиганта Антонича.

Эпически величественным получился традиционный парижский чемпионат 1908 года – по силе духа, проявленной призёрами чемпионата, и по накалу троянских страстей со стороны их соперников. (Именно про этот чемпионат кинематографисты сподобились снять вульгарнейшую пародию – страшно неловко за них становится во время просмотра.) В театре Казино-де-Пари борцовская элита всего мира оспаривала титул сильнейшего. Прибыл стальной венгр Чая Янош, постоянно повышавший свой уровень благодаря аскетическому режиму. Сильный грек Караман, работавший жёстко, как паровая машина. Из турок – Пенгаль и Махмут. Дьявольски ловкий японец Оно Окигару и чёрный исполин Анастас Англио. Французы Эмабль де ля Кальметт и Эжен де Пари, немец Оскар Шнейдер. И ещё свыше трёх десятков сильнейших борцов.

Чемпион мира итальянец Джованни Райцевич безусловно был классным борцом. Но чемпионская гордость и достоинство превратились в уродливую спесь и заносчивость. Перед схваткой с Заикиным пообещал репортёрам, что уложит Ивана в первые же десять минут – ему, чемпиону мира, Заикин не соперник! При этом совершенно наплеватьски отнёсся к тому, что будут задеты честь и самолюбие русского борца.

И вот выход на арену – долго не смолкают восторженные крики многочисленных итальянцев, заполнивших первые ряды и всю ложу своего посольства. Смуглый, бронзовый красавец Райцевич спесиво смотрит на статного русоволосого Заикина. Каждый из них по-своему красив, но кто окажется сильнее?

Райцевич сразу же бросается в атаку. Но быстро захлебнулась эта атака – железные руки «Короля железа» перехватывают инициативу. Стремительным приёмом сбивает чемпиона с ног и переводит в партер. Переворачивает его и старается дожать, а Райцевич изо всех сил стремится уползти за спасительный край ковра – он совсем рядом. Свисток судьбы прерывает их старания, когда Райцевич уже прижат, но на краю ковра. Момент спорный, но Иван не протестует. Схватка продолжается на середине ковра. Сбита спесь с Райцевича – уходит в глухую оборону, ему лишь бы дотянуть до конца схватки, до ничьей. Но Иван не даёт ему такой возможности: точный красивый бросок – и прямо напротив ложи итальянского посольства распластана на лопатках гордость Италии. Время всей схватки – пять минут!

Тридцать дней продолжался чемпионат, считавшийся самым престижным из всех, поскольку был организован Парижским спортивным обществом

и «Спортивным Журналом» Франции, и ни о какой театрализации борьбы там не могло быть и речи. Каждая схватка шла «на бур», и продержаться до конца чемпионата было тяжело чрезвычайно.

И вот наступил финал. Парижане толпами повалили смотреть на такое чудо природы, как Григорий Кащеев – борец ростом в 218 см. Он произвёл настоящий фурор своей фигурой и медвежьей силищей и принёс чемпионату колоссальные сборы. Всего за два года Кащеев создал себе мировое имя и стал знаменит в Европе. К концу чемпионата ученик Заикина сокрушил всех иностранных чемпионов при одной ничьей с Кальметтом и одном проигрыше своему наставнику. А в финале шесть изнурительно долгих часов мучительной борьбы понадобилось Поддубному, чтобы сломить силу титана. Неудобным противником оказался для него Кащеев, но силой духа Поддубный превосходил всех. (Как видим, ни про какие поддавки здесь не было и речи.) В итоге – при двух проигрышах Заикину и Поддубному и ничьей с Кальметтом – Кащеев получает IV приз – медаль и денежную премию.

С совершенно аналогичным раскладом побед и поражений Эмаблю присуждают III приз. (На чемпионате мира по французской борьбе именно в Париже только одно призовое место из четырёх досталось французам.) Огненный гасконец Эмабль де ля Кальметт показал на ковре головокружильную скорость и сумасшедший темп. Тяжеловато было за ним поспевать великану Грише.

Всех победил Заикин, проиграв только одному Поддубному. Получил второй приз – серебряную ленту весом в целый пуд и звание чемпиона мира. «Когда Иван Заикин приехал в Париж, его знала только Россия. Теперь, когда он покидает Париж, его знает весь мир», – писали в парижской прессе. Звание чемпиона мира Заикин получает ещё дважды в других чемпионатах. А сейчас многих ошеломил его успех.

Впервые в Одессе на ипподроме поднималась на аэроплане французская баронесса де ля Рош – но не выше нескольких саженей. Иван неосторожно усмехнулся: «А я бы штопором ввинтился в облака!» Все одесские репортёры, присутствовавшие при полёте, взяли это на карандаш, и назавтра была готова сенсация: Заикин собирается заняться авиацией.

Некоторый опыт полёта у Ивана уже был. Вместе с Уточкиным летали на ветхом воздушном шаре пана Древницкого – полёт закончился тем, что шар упал в море вместе с пассажирами. Опять же вместе с Уточкиным, повинувшись спортивному азарту, участвовал в велогонках и мотогонках (при весе в семь пудов!) Хотя его только в 23 года обучил грамоте задушевный друг Александр Куприн, но Иван, как видим, увлекался и техническими видами спорта, не чураясь прогресса.

Раззадорили его репортёры. И со всем размахом своей широкой натуры устремился Иван за облака. Заложил в банке свои драгоценности, серебряную ленту в 21 фунт весом и 30 золотых медалей за пять тысяч франков. Купцам Пташниковым отдал купчую крепость на всё своё имение в Симбирской губернии. Нужно было и аэроплан изготовить, и лётному делу обучиться. Летаящая этажерка фирмы братьев Фарман стоила тогда 35 тысяч франков. (По дороге в Париж вдоволь наслушался насмешек и от братьев Пташниковых, и от знаменитого акробата Соснина, и от болгарского чемпиона Николы Петрова: настолько безумной казалась им эта затея.)

Прибыл в Мурманск, в лётную школу Анри Фармана, где обучались и русские офицеры: Ефимов, Костин, Вольнский, Мациевич. Как только был готов его аэроплан, не имея самостоятельного опыта полётов, поднялся в воздух. До этого лишь раз Фарман прокатил его в качестве пассажира.

Провёл в воздухе больше часа, сделал несколько больших кругов над Муромом. Когда пришла пора идти на посадку, неописуемый восторг, когда сердце поёт, а дыхание захватывает, сменился чувством страха. Сумел взять себя в руки и совершить мягкую посадку. Такое мог сделать только бесконечно смелый человек, одарённый от природы даже не большими способностями, а скорее великим талантом.

Первый пробный полёт на родной земле Заикин совершил в Харькове в субботу утром. Но к назначенному на воскресенье времени поднялся сильный ветер. Невзирая на протесты старого генерала и комиссии, Заикин не стал отменять полёт – на трибунах ипподрома собралось множество зрителей. Но когда поднялся в воздух, сильный порыв ветра ударил в правое крыло, и аэроплан рухнул вниз, вдребезги разбившись о землю.

Но главное – Заикин жив. По-прежнему кипит энергия, по-прежнему неуёмны его азарт и страсть к полётам. И хотя ещё не рассчитался с кредиторами за первый аэроплан – в долгах как в репьях! – но пользуется в народе не только громкой славой, но и безграничным доверием. И ровно через неделю, уже на новом аэроплане, сработанном харьковскими умельцами, тешит собравшуюся на ипподроме публику игрой с тучами – то прячется за тучи, то выныривает из-за них.

Воронеж остался светлым воспоминанием. Тепло встретили спортсмены и товарищи по гастролям, дрессировщик Александр Дуров. Ещё одна радость – встреча с Шалапиным. «Здравствуй, волжский водохлёб!» – «Здравствуй, бурло зелёные глаза!» – так присказками приветствовали друг друга два волгара, два старых друга. И полёты были особенно удачными. Ипподром со всех сторон был окружён тысячной толпой. Заикин поднялся в воздух вместе с Дуровым. Затем прокатил его жену – оба были счастливы. На другой день, чтобы привлечь на ипподром побольше публики, перед трибунами выполнял аттракцион – гнул домостроительную двутавровую балку.

Хотя большинство воронежцев предпочитало наблюдать за полётами с городских крыш, всё же успех был огромным – к вечеру каждого дня Заикин набирал целый воз букетов.

В Белокаменной большие препятствия полётам Уточкина, а затем Заикина создавал руководитель аэроклуба фон Мекк. Но полётами Заикина заинтересовался Великий князь Михаил Александрович, моментально устранивший все препятствия. Всё же аэроклуб выдвинул новые условия: облететь вокруг Москвы и над Воробьёвыми горами и подняться на высоту не менее 1000 метров.

Поднявшись с ипподрома на Ходынке, Заикин набрал высоту, пролетел на высоте 700 метров над Воробьёвыми горами. Поднялся ещё выше, облетел всю Москву и направился к ипподрому. Вдруг мотор заглох – вода, попавшая в бензин, на большой высоте заледенела и препятствовала подаче бензина. Несколько попыток – контакт, газ! – оказались бесплодны, пропеллер не работает, машина уменьшает скорость...

Стало жутко – вновь коснулось его леденящее дыхание смерти. Вспомнился разбившийся накануне капитан Мацевич. Но не растерялся, снизился под отлогим углом, и даже удалось посадить аэроплан в ста метрах от трибун.

«Браво, богатырь! Честь и слава! На такую высоту ни один авиатор в Москве не поднимался!» – так поздравляли его Великий князь и главнокомандующий Плеве.

Но в кинематографе уже показывали небольшую хронику «Полёт и падение Заикина» – об аварии в Харькове.

Гастрольные полёты в Одессе. Хотя Заикин всегда был здесь любимцем публики, на ипподроме народу жидковато. Все зеваки на крышах и на дорогах. Погода была прекрасной, лёгкий ветерок не мешал полёту. Успешно прокатил на биплане банкира Анатру, затем редактора Навротского. Публика вокруг ипподрома стоит стеной. Заметим: вокруг – разве заставишь шельмеца-одессита заплатить за билет, ведь аэроплан всё равно поднимется высоко в воздух и созерцать его можно будет, даже фланируя по бульвару.

В Одессе погода переменчива – ветер с моря усилился. Долго колебался Иван Михайлович, но всё же поднялся в воздух, захватив Александра Куприна, которому это было давно обещано.

Вдруг с моря налетел шторм. Аэроплан и так не поднялся высоко, а тут совсем начал терять высоту и летел низко над городом. Срочно стали возвращаться. Ветром несло на еврейское кладбище, перед которым теснилось около трёх тысяч человек – шла религиозная церемония. Аэроплан своим пропеллером и крыльями мог устроить страшную мясорубку. Заикин принял решение: пожертвовать собой, своим другом и аэропланом. Круто повернул влево. Машина врезалась в землю левым крылом в двадцати метрах от толпы. Страшный треск и звон в момент удара. Куприна вышвырнуло из сиденья на десять метров от самолёта. Заикина тоже выбросило и придавило обломками аэроплана. Куприн первым поднялся на ноги, а Заикин не сразу пришёл в себя. Повредил ногу и ключицу, но главное – оба чудом остались живы. Чуть позже Куприн сказал: «Молодец, Ваня, что не поднялся, повернул влево, а не то сколько бы невинных убил!»

Комментарий одесского журналиста Горелика: «В день смерти титана мировой литературы Льва Толстого мы чуть было не потеряли другого великого русского писателя и великого русского богатыря, которые в критический момент решили пожертвовать собой ради спасения совершенно чуждых им людей. На такое благородство способен только русский человек!»

После аварии собрались в номере гостиницы. Французы-механики, нанятые Заикиным, поражались тому, что Заикину удалось дважды уцелеть при крушении аэроплана – обычно при падении пилот разбивался насмерть. Механик Жорж заявил: «Вы дважды пережили собственную смерть, мсье!»

Александр Иванович Куприн был предельно категоричен: «Хватит с тебя, Ваня. Полетал, показал народу достижения ума человеческого, и хватит. Дай мне слово, что больше летать не будешь. Я хочу видеть тебя на земле». Пришлось дать слово.

Ушло время авиаторов-частников, покорявших небо на свой страх и риск. Хотя в 1912 году во всей российской армии насчитывалось всего 30 пилотов.

А Заикин снова вернулся к беспокойной жизни силового актёра – снова гастроли, цирк, арена, борьба. Нелегко пришлось вначале – за два года авиации ослаб, потерял пуд веса, здоровье пошатнулось, и травмы, полученные во время аварий, тоже не пошли на пользу. Если до увлечения авиацией Заикин побеждал всех, проигрывая только одному борцу в мире – своему учителю Поддубному, то теперь у него случались проигрыши и другим королям востка – Шемякину, Булю. А в 1920 году эмигрировал за границу из Владивостока. Куприн и Шаляпин, лучшие друзья Заикина, не приняли кровавого потока революции и гражданской войны, и он потянулся за ними в эмиграцию. И замелькали города и страны, и повсюду целые галереи поверженных соперников.

Фанфары побед сопутствовали ему в Париже, Вене, Бухаресте, Варшаве. А вот поездка в Америку в 1925 году скорее всего оказалась ошибкой. Куприн не зря предупреждал его: «Америка – страна жулья, там борются

как мясники». В 45 лет Заикин рискнул своей репутацией непобедимого чемпиона и виртуозного техника французской борьбы. В заокеанских гастролях, переключившись на вольно-американскую борьбу, победил американского чемпиона Экво Комара, чемпиона Германии Карла Гекеншмитта.

Грандиозные борцовские матчи состоялись в Гаване. Здесь Заикин встретился с Владеком Збышко. Перед схваткой объявил публике через переводчика, что в Нью-Йорке Збышко повредил ему ухо и он вынужден был отказаться от борьбы. Продемонстрировал зрителям свой чемпионский пояс, заявив, что в случае проигрыша отдаст его Збышко или любому другому борцу.

Сразу после начала схватки, без всяких разведок, стремительная, энергичная атака Заикина – и вскоре Збышко намертво припечатан лопатками к ковру. Чемпионский пояс в 21 фунт серебра с множеством золотых медалей – у многих слюнки потекли на такую приманку. Ещё целую очередь борцов – двадцать «охотников» одного за другим переложил Заикин. А вот одну из схваток пришлось остановить: Заикин получил сильное рассечение брови, открылось кровотечение. Здесь как чёртик из табакерки вынырнул весьма услужливый Владек Цыганевич: «Господин Заикин, позвольте я вам помогу». И смазал рану какой-то мазью. Как оказалось позже, медным купоросом, который попал в глаза. Заикин был ослеплён, поднялась высокая температура. Збышко скрылся. Два года Заикин оставался слепым, пережил несколько операций, истратил все сбережения для того, чтобы вылечиться.

Как только встал на ноги, вновь замелькали страны и города, вновь выступления, силовые трюки, борьба. В Париже радостная встреча с Куприным, который писал: «Мы знаем и ценим в этом колоссе широкую и добрую душу, верность в дружбе... Всегда после долгой разлуки смотрели с новым удивлением на это огромное, ладное и поворотливое тело, на это славное лицо, сквозь открытую простоту которого лучится беззлобное лукавство...»

Затем Заикин надолго осел в Румынии, с 1928 года проживал в Кишинёве. Видимо, поубавилось охоты странствовать и потянуло поближе к Родине. В 1930 году на гастролях в Хынчешты Заикин выполнял смертельный номер «Живой мост» из репертуара брутальной атлетики. По доскам, уложенным на его груди, один за другим проезжали автомобили. Когда на помост въехал третий автомобиль с десятком пассажиров, раздался громкий треск. Проломив доски, автомобиль передними колёсами сильно ушиб голову и левую руку Заикина. Его спасло то, что в последний момент он изо всех сил напряг мышцы, удерживая доски помоста. Выручила и вмиг подскочившая борцовская группа, освободившая его.

Это был ещё один звонок с того света. Хотел отказаться Иван Михайлович от выполнения смертельных номеров, но ничего из этого не получилось. Не только директора цирков, сама жизнь препятствовала этому. Чтобы делать большие сборы, нужно было щекотать нервы публике смертельными номерами. А кто ещё мог выполнять их в Румынии? В конце концов на гастролях в Плоешти случилось неизбежное. Зрители забывали дышать, когда Заикин пропускал через себя пожарные машины с пассажирами. Громоздкие, огромные автомобили один за другим проезжали по помосту, который удерживал на себе лежащий на арене человек. Проехали три машины подряд. От шофёров требовался максимум осторожности и внимания. Со своей задачей они справлялись неплохо...

А четвёртая машина сорвалась с места преждевременно и с разгона буквально протаранила Заикина передними колёсами. (В своё время много говорили, что это было покушение, подстроенное борцами-конкурентами.) Залитого кровью, в тяжёлом бессознательном состоянии его увезли в больницу.

После осмотра врачи вынесли свой приговор. По всему миру газеты вышли с сенсационными шапками о гибели чемпиона мира.

Рано схоронили доктора и газетчики волжского богатыря! Железный организм Короля железа оказался сильнее смерти! Правда, на несколько лет оказался инвалидом и ходил с тросточкой. Стало тяжело сводить концы с концами – нелёгкие были времена и в Румынии, не отличавшейся особым благополучием.

И вновь на ногах Иван Михайлович. Пока пошатнувшееся здоровье не позволяет ему участвовать в чемпионатах французской борьбы. Он набирает трупшу для поясной борьбы – она полегче – и гастролирует по всей Румынии. Но вскоре отправляется в турне по Болгарии. Вот отклик прессы: «На улицах Софии появилась знакомая всему миру могучая фигура И. М. Заикина. Легко неся свою семипудовую тяжесть, ходил он по улице столицы Болгарии, возбуждая общее любопытство. Потом в цирке Добрича с треском ломал телеграфные столбы, гнул рельсы и с неторопливой ладностью, спокойно клал на лопатки старых и молодых».

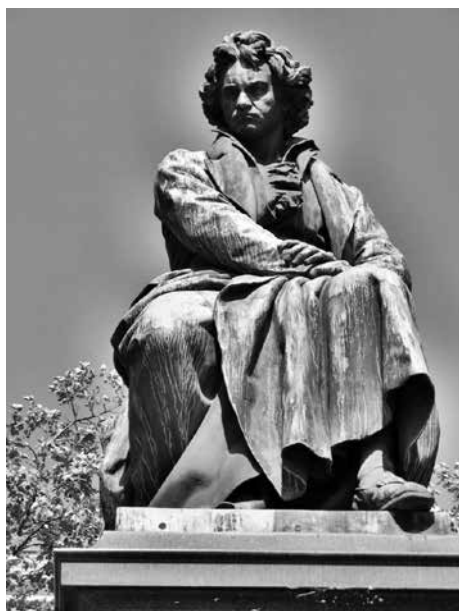
Ему уже минуло 54 года. Нет былого здоровья, но при нём огромный опыт борьбы и железные мышцы. Хотя тяжело становится состязаться с молодыми борцами, но пока крушит всех, оправдывая титул чемпиона мира. В 1934 году в Кишинёве завоёвывает первенство в большом чемпионате. В Риге на международном чемпионате вновь блеснул своим мастерством и силой. Главной интригой чемпионата стало желание публики узнать – продержится ли старый лев до финала? Кто из молодых борцов сможет победить чемпиона мира? Чех Варва или молодой и сильный фаворит чемпионата Ян Лескинович? А к Заикину словно вернулась молодость, вспыхнули вдохновение и жажда победы. Всех побросал на лопатки, убедив скептиков в силе своего неувядающего таланта.

Немало было и чёрных дней в последний период его жизни, во времена лихолетья. При фашистах был момент, когда его жизнь вновь повисла на волоске. Кто-то из борцов сделал клеветнический донос. Спасли его собственная добрая слава и общественность, горой вставшая за него. Хотя он уже не бросал вызов судьбе, но так уж случилось, что вся его жизнь была непрерывной игрой со смертью. Но, как кряж родных Жигулей, он выстоял под всеми ураганами жизни и ударами судьбы, вопреки самой смерти, неотступно ходившей за ним по пятам.

В 1940 году советские войска заняли Бессарабию. На берегу Дуная к передовому отряду краснофлотцев подошёл могучий старик. Стал спрашивать земляков с Волги. Но когда назвался Заикиным, ему не поверили – многие читали в газетах некролог о его гибели. Он не стал ни спорить, ни лезть в карман за документами. Лишь указал на штабель столбов для телеграфной линии. «А ну-ка, положите мне на плечи вон тот телеграфный столб. А теперь подойдите ещё десять человек. Все вместе с обеих сторон давите его книзу! Давай! Дружнее!»

Полвзвода краснофлотцев кряхтят и тужатся, стараясь переломить бревно об его плечи. Седобородый гигант стоит не шелохнувшись под их усилиями, несокрушимый как волжский утёс. Только гремит над берегом его голос: «Надай! Ещё сильнее!»

С громким треском столб разломился пополам. Вот теперь признали земляки «Ивана с Волги» – Ивана Михайловича Заикина, богатыря земли русской.



*Каспар фон Цумбуи
Памятник Бетховену в Вене. 1880 г.*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – В. В. Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Е. С. Данилова.

Дизайн и вёрстка – Л. В. Баранова.

Корректор – Е. Н. Березина.

Подписано в печать 20 апреля 2021 года.

Дата выхода в свет 30 апреля 2021 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/20041

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес издателя: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 72-10-06.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс: П4923

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

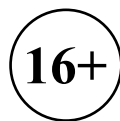
Бумага типографская. Печать цифровая.

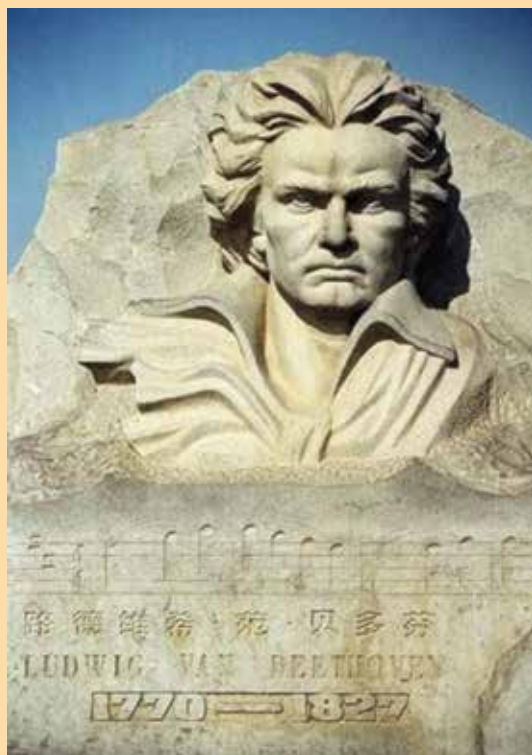
Тираж 100 экз.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2021.

© «Волга–XXI век», 2021.





Личжун Сюй.
Памятник Бетховену в Циндао (Китай).
2000 г.



Франческо Джерас.
Памятник Бетховену в Неаполе. 1895 г.



Картина Бориса Боброва «Март» (1951 год),
подаренная поэту Борису Озёрному

